

К 1441 307

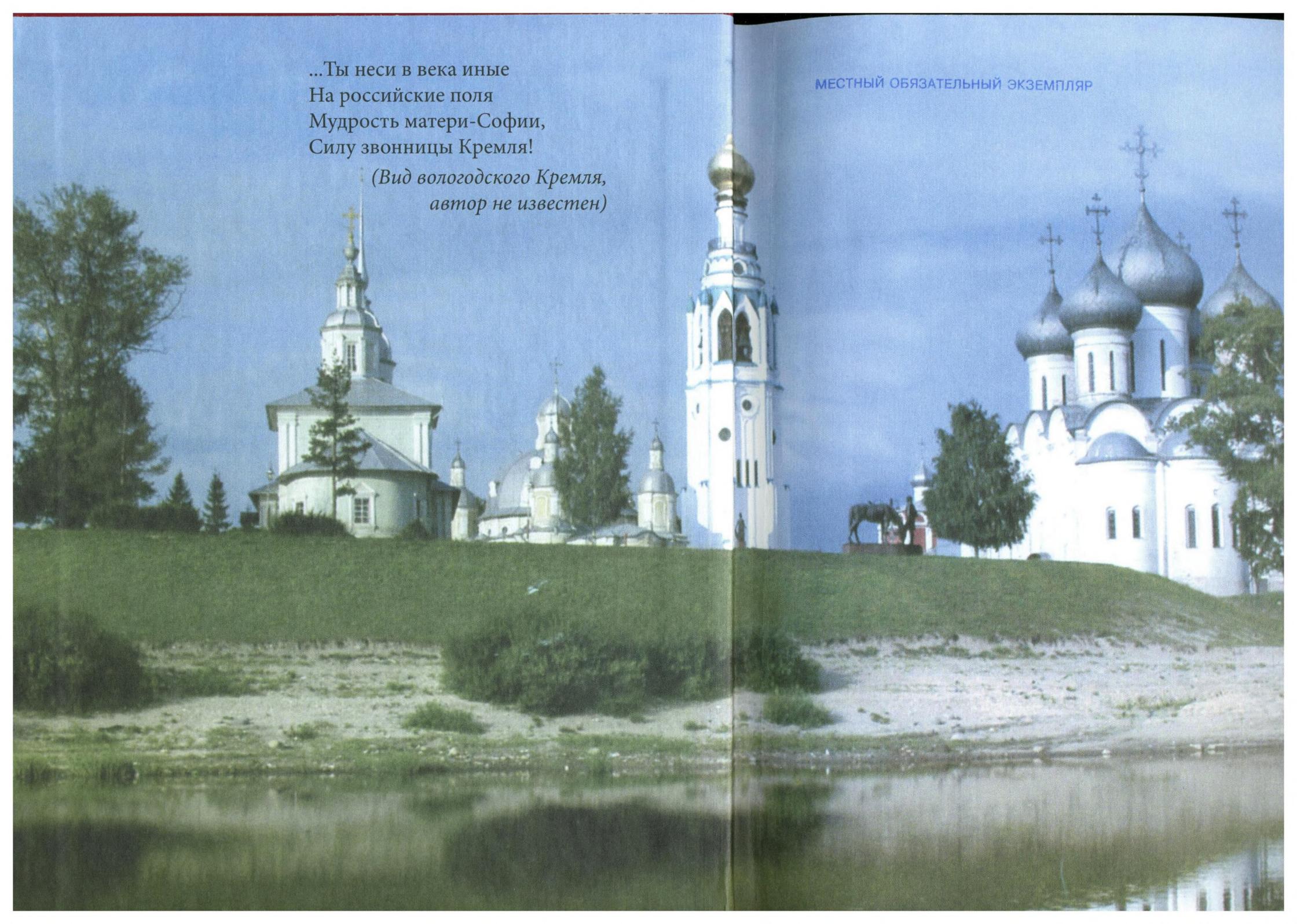
Мануил
Свистунов

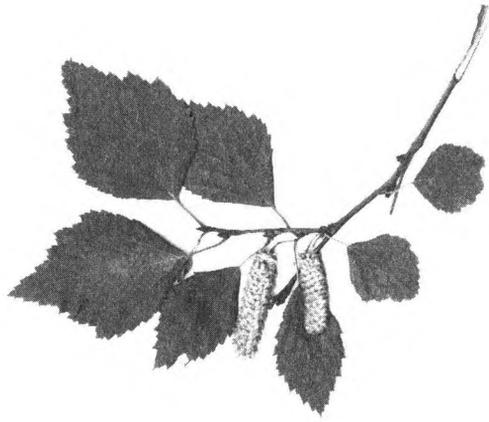
На ладони
изначальной...

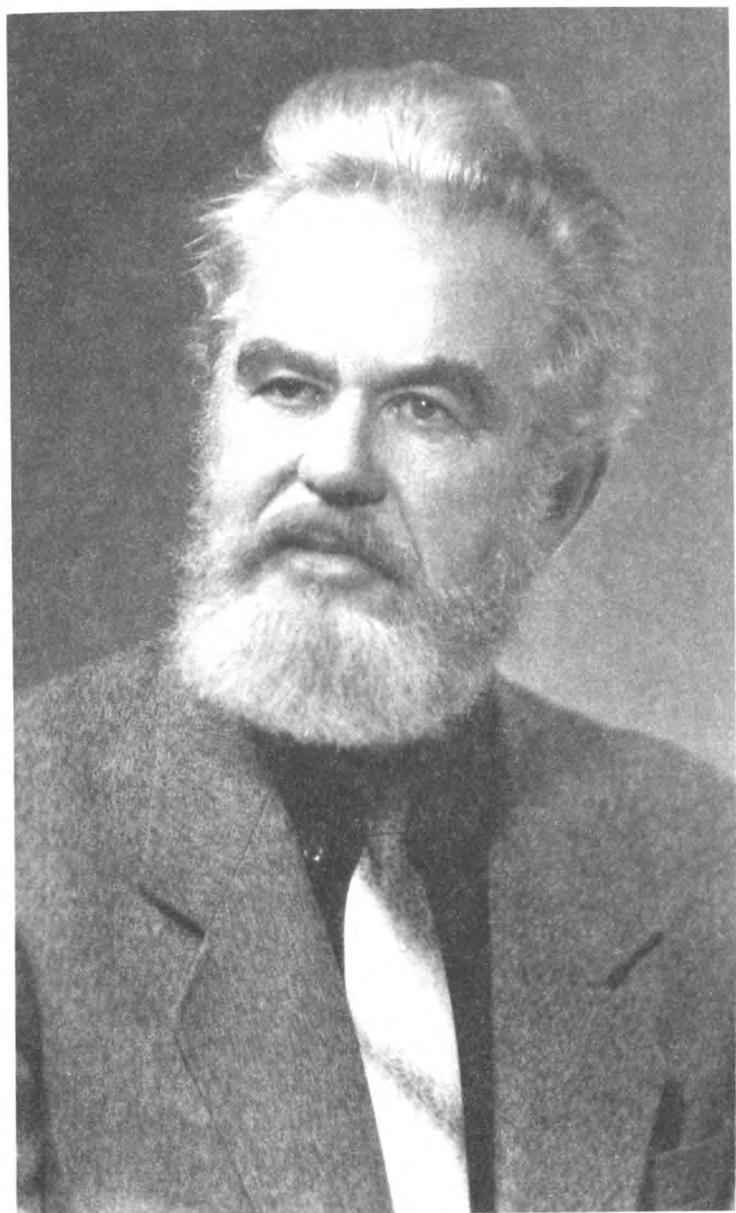
...Ты носи в века иные
На российские поля
Мудрость матери-Софии,
Силу звонницы Кремля!

*(Вид вологодского Кремля,
автор не известен)*

МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР







M. Chasney

Мануил СВИСТУНОВ

*На ладони
изначальной...*

ИЗБРАННОЕ

Юбилейное издание

ВОЛОГДА
2012

УДК 821.161.1(470.12)
ББК 84(2 Рос-4 Вол)6
С 24

Составители – *О. Д. Свистунова, Л. Л. Трошкин.*

Ответственный за выпуск – *Л. Л. Трошкин.*

Корректор – *Т. Г. Короткова.*

Компьютерный набор – *А. Н. Каберов.*

Компьютерная вёрстка – *Н. Г. Евдокимова.*

Тексты произведений М. А. Свистунова приводятся в авторской редакции.

Свистунов М. А.

С 24 **На ладони изначальной.** Избранное. Юбилейное издание.— Вологда, 2012.— 259 с.

Издание подготовлено к 75-летию юбилею известного писателя, публициста и краеведа Мануила Алексеевича Свистунова, уроженца Междуреченского района Вологодской области (23.03.1937–14.01.2006). В сборник вошли избранные стихотворные произведения, рассказы и очерки, в том числе ранее не публиковавшиеся, но представляющие несомненный интерес. Завершают книгу прозаические и поэтические посвящения писателю.

ISBN 978-5-91967-066-7

ПО ПРАВУ ДУШЕВНОГО РОДСТВА

(О литературном творчестве земляка)

Жизнь и творчество Мануила Алексеевича Свистунова тесно связаны с Междуреченским районом.

23 марта 1937 года в сельце Поповка при церкви Дмитрия Прилуцкого на реке Чёрный Шингарь в семье коренных междуреченцев — сельских учителей — он родился.

Здесь прошло его школьное детство. Сюда он был направлен после окончания Вологодского педагогического института и назначен учителем Октябрьской семилетней школы. Так началась трудовая биография Мануила Алексеевича в родном районе, где позднее довелось работать директором Октябрьской школы, заведующим отделом пропаганды и агитации Междуреченского райкома КПСС, директором Шуйской средней школы. И потом, когда уже работал в Вологде, он постоянно интересовался жизнью района, встречался с земляками, часто приезжал на родину.

Здесь продолжают жить многие люди, которые хорошо знали Мануила Алексеевича, были его друзьями, единомышленниками, учениками. Среди земляков есть и всегда будет множество искренних ценителей его краеведческого и литературного творчества. И это понятно, потому что землячество — всегда своего рода родство. Но ещё, пожалуй, важнее кровность взглядов, мыслей и душ. По праву землячества и душевного единства я и попыталась в кратком виде дать своё видение литературного творчества Мануила Алексеевича Свистунова.

Первая книга Мануила Алексеевича «Как перейти поле» вышла в свет в 1986 году и состояла из нескольких рассказов и очерков, которые интересны не только в литературном, но и в краеведческом отношении. Очерки посвящены междуреченцам: Герою Социалистического Труда свинарке Александре Евгеньевне Люсковой, героическим фронтовикам — Алексею Евгеньевичу Базлееву, Михаилу Михайловичу Глухову, Николаю Николаевичу Деветилову.

Очерк о знаменитой труженице записан в форме воспоминаний-монологов, где автор вместе с главной героиней пытается осмыслить, как достойно прожить жизнь, несмотря на все выпавшие испытания сохранить душевную и физическую стойкость. А ответ находится в самом повествовании: «Родная земля! Всем ты давала силу, кто всерьёз прикасался к тебе!» К ней возвращаются с полей сражений фронтовики — герои очерков «Побратимы», «Девятилов, вперёд!», рассказа «Серый камень». Ни с чем не сравнимая радость переполняет тружеников, когда они свободно трудятся на родной земле: «Никто не указывал, никто не подгонял. Добровольно шли и делали сколько надо. Хорошо на душе было, чисто, надёжно!» — говорит главная героиня очерка «Как перейти поле» А. Е. Люскова. В очерке «Побратимы» Екатерина Михайловна Глухова вспоминает годы крестьянских забот: «Лошадка — во! Плуг настроен — ручки держать не надо. Красота! Домой идти неохота. По восьмидесяти соток пахивала». В очерке «Девятилов, вперёд!» на вопрос: «А что нравилось?» — фронтовик отвечает: «На косилке на конной. Здорово! Плывёшь по наволоку — все зори кнутом ошибёшь...»

Как эстафету будущим поколениям передаёт А. Е. Люскова свой посошок: «Вот он: терпенье и труд всё перетрут. Безотказный. Любому послужит. Берите!»

А брать-то, получается, некому. Уезжает молодёжь из деревни в город в поисках лучшей доли. Об этом пишут Мануил Алексеевич Свистунов и его соавтор Леонид Леонидович Трошкин в книге «Междуречье»: «Трагична судьба многих героев труда, переживших не только крушение своих идеалов, не только зависть, но и развал того дела, которому была без остатка отдана долгая трудовая жизнь. Всё это довелось пережить беззаветной труженице, свинарке мирового класса А. Е. Люсковой. Ещё при её жизни, на её глазах была доведена до полного упадка и ликвидирована вписанная в историю свиноводства ферма в совхозе «Будённовец», свиноводство как отрасль перестало существовать в районе, пришло в упадок в области и в стране...»

Рассказы и очерки М. А. Свистунова захватывают читателя с самой первой строчки, заставляют вникать в сложившиеся ситуации, жить чувствами и переживаниями героев, думать: а как ты бы поступил на их месте? А ещё возникает чувство сожаления, что рассказов так мало, потому что взгляд на прозу Мануила Алексеевича из сегодняшнего дня таков: в краткости изложения — простор мыслей и чувств, он жизнь знает не понаслышке, а изнутри. Его волнуют те же проблемы, что и нас — он пишет о наших земляках. Писатель живёт в стихии языка своих героев. Они немногословны, но в нужный

момент могут сказать меткое словцо. А этот искромётный юмор, который присущ самому автору и характерен для них! А ещё — чувство меры в передаче народной речи: он не сыплет пословицами и поговорками до приторности, а поднимает их разговорную речь до высот русского литературного языка.

В творчестве его, «...во всём, что пишет Мануил Свистунов, прежде всего, бросается в глаза азартность, страстность...» В своих рассказах он не сторонний наблюдатель деревенской жизни, он с ней, с этой жизнью, всегда находится «...в органичном единстве...» Известный вологодский литературный критик Василий Александрович Оботуров также отмечал, что «...из житейских мелочей сотканы рассказы писателя, но он вовсе не вязнет в бытовщине...»

Мануилу Алексеевичу удалось выполнить очень непростую задачу прозаика: от жизненной реальности факта прорваться в другой мир, в художественное нечто, в иную языковую реальность, где органично соединились с прозой лирика и патетика: «...Вот посмотрите, верба у тропинки от крыльца к лесу: как размокшая паутина сереет она в осеннем предвечерье, как стог сена сутулится на подлунном снегу, как золотой одуванчик горит в майскую пору — вся в нежных жёлто-зелёных сережках...» (рассказ «Серый камень»).

А вот он описывает восход солнца в очерке «Как перейти поле»: «...А вставало же оно! Из-за Северных увалов невидимых, из-за синих глухих лесов, а мы его сперва на западе видели: цеплялось оно за крест золотой храма Казанской Божьей Матери, что на Святой горе, и по куполам, шпилям, по мохнато-сизому боку горы золотой пылью стекало в долину...» Или описание Спасо-Каменного монастыря в рассказе «Назови её Росиной!»: «...Километрах в пятнадцати-двадцати слева по синей зыби волн плыл сказочный храм Спасо-Каменный. Он бликовал под солнцем, покачивался и скользил навстречу и мимо. Вдгон за ним из синей завесы выдвигался, увеличиваясь, квадратный парус устьянской церкви...»

А справа уже вспыхнула золотом глава вологодской звонницы. Под крыло легло озеро... «Как росинка в лепестке», — подумал Спасов. Самолёт разворачивался на посадку.

Позже, взлетая в Батайске и с десятков военных аэродромов, Спасов мечтал пережить тот же восторг, но увиденное над Кубенским озером уже нигде не повторилось, зато и жило в душе единственным, неповторимым образом Родины...»

Позднее в творчестве писателя этот образ малой родины найдёт своё логическое продолжение в стихотворении «Преподобный Герасим» (сборник «Под северным грозным сияньем»):

*...Здесь земля в сияньи синем,
В ненаглядной красоте,
Как росиночка России,
Как рубин в её кресте...*

Одной из особенностей литературного творчества М. А. Свистунова является то, что писал он, в основном, о деревне и её жителях. И школу показывает тоже сельскую, с её заботами и проблемами. Но жизнь школы не отделена от деревенских буден, а находится с ними в органичном единстве и взаимосвязи. И если ожидается праздник в деревне, то к нему готовятся и взрослые, и дети. Вот как это описывается в рассказе «Серый камень»: «...Приготовления к празднику Победы были в школе в полном разгаре. Особенно много сделали ребята из Юркиного 7«а». Все дома обошли, разузнавали, кто с войны не вернулся. Списки составили. Много фотографий собрали, выдержки из писем выписали. На уроках труда выпилили фанерные звёздочки. Покрасили красным суриком, прибили к домам фронтовиков...» И как был удивлён главный герой рассказа, когда узнал, что его отец — настоящий герой: «...Юрка никогда не видел отца таким подтянутым и нарядным. Тот сидел в президиуме между председателем колхоза и замом военкома. Три ордена Славы поблёскивали на его широкой груди...»

В этом и других рассказах о жизни школы писателем умело переданы моменты душевной жизни детей и взрослых: переживания Октябрины Ивановны, учительницы русского языка и литературы, о том, как подготовить всех учеников выпускного класса к сдаче письменного экзамена в «Сочинении», возникший конфликт между учеником и учителем в рассказе «Волосёнок», сокровенные мысли и думы учителя Ивана Михайловича в рассказе «История разбитой чернильницы», посвящённом памяти любимого учителя-фронтовика, нашего земляка Б. В. Шапина: «Как же я тебя научу-то? Индивидуальный подход? При сорока-то душах за сорок пять минут? Как сохранить тебя, именно тебя, твоё простодушие, доверчивость? И как защитить при этом? Как научить защищаться?»

«...Каждая жизнь поучительна. Все вместе они дают целостную картину народной жизни...», — пишет М. А. Свистунов в книге «Междуречье». Так в его очерках и рассказах предстаёт жизнь наших предков и современников.

Сам писатель принадлежал к тому поколению, чьё детство опалила война. В цикле рассказов под общим названием «Военное детство» автор описывает родную деревню Лаврентьево, её жителей — сельских тружеников, и своих сверстников с их детскими играми и забавами. «...Но идёт большая

война — всего надо много. И деревня отдаёт всё, что может...» «...Надо кормить армию...» — это понимают даже мальчишки и девчонки, в меру своих сил стараются помочь взрослым. А отцы воюют, но не всем суждено дожить до Победы да вернуться в родной дом. Так и «отцу Мишки не суждено было вернуться с войны...» А Мишка — это сам автор.

Поэтому для Мануила Алексеевича по-особому и близка военная тема. К ней он обращается во многих своих произведениях. «...На году троих в армию проводила. Мужа да двух сыновей. Легко ли? Старший, Константин, погиб за Невель Калининской области. Анатолий семь с половиной лет на Дальнем Востоке отстукал, Михаил — семь. По три года только младшие — Рафаил да Порфирий. А всего-то больше четверти века отслужили мои мужики...», — говорит А. Е. Люскова.

Другой очерк автор заканчивает словами: «...И я воочию вижу, как правильно живёт этот человек, с боевой юности мысленно повторяя тихий приказ комроты, давно ставший его внутренней сутью: «Девятилов, вперёд!» И он идёт».

В рассказе «Побратимы» М. М. Глухов отмечает: «...У нас в разведку брали только добровольцев. Мы с Базлеевым тоже вызвались в эту особую группу воинов...» и объясняет, каким должен быть разведчик.

— Что, по-вашему, главное в жизни?

— Как что? — сразу встрепенулся Базлеев. — Люби семью, отца, мать...

— Родину-мать, — добавил Глухов.

— Всё и будет, как надо, — закончил Базлеев.

— Да, — сказал Глухов.

Таков уж у них был характер: не теряться в трудных обстоятельствах, не хвастать собою, вспоминая о былом, не кичиться заслугами.

Ко всем фронтовикам можно отнести слова Мануила Алексеевича:

*Никогда ничего не просили —
Божий мир беззаветно любя,
За родню, за народ, за Россию
Вызывали огонь на себя.*

Самоотверженность и подвижничество — старинная и всегдашняя доблесть России. Нам есть чем гордиться, есть с кого брать пример верности отчизне, стойкости и мужества. Славное прошлое нашего края начиналось деяниями святых угодников. Пример их духовного подвига особенно важен в Смутные времена, когда надо выстоять, не потерять надежду и веру. Об этом повествует Мануил Алексеевич в своих очерках: «И в гибели нетленны. Сказание

об Авнежском Троицком монастыре» (1992 г.) и «Легенда о Чёрном Шингоре» (1993 г.). Об этом говорит он и в стихотворении «Вологда»:

*...Пусть потомкам будет ясен
Подвиг предков на Земле.*

В поэтическом творчестве М. А. Свистунова в полной мере проявилось его гражданское самосознание. Призывом «Выстоим!» звучит название одного из стихотворений того периода. В переломные моменты истории, как никогда, необходимо единение всего народа: «Мы русские все, россияне...», «...Веками и верой едины...», «Мы сами — хозяева в доме», — обращается к читателям поэт. В стихах ярко прослеживается продолжение некрасовских традиций поэта-гражданина. Обличение социальных реформ 90-х годов прошлого века нашло своё отражение в стихах «Сквозняк», «Обычай», «Процесс?..», «Дно». Сатира автора усиливается и доходит до гротеска в произведениях «Старик», «Черта», «Призрак», «Узел», «Изба», «Некто». Здесь задача поэта усложняется тем, что надо не только показать и разоблачить социальное зло, но и вселить уверенность, надежду на лучшее. Для самого поэта такой опорой выступает русский национальный характер и тысячелетние традиции православия. Мануилом Алексеевичем реально осознаётся возможность становления великой России:

*...И в эпоху Водолея,
В череде других эпох
Все напасти одолеем,
Одолеем, видит Бог!..*

Пожеланьем будущим поколениям звучат строки:

*...Ты носи в века иные
На российские поля
Мудрость матери-Софии,
Силу звонницы Кремля!..*

В своём поэтическом творчестве Мануил Алексеевич прослеживает не только исторический путь страны, её современную жизнь, но обращается к философским понятиям. Устройство мироздания, единство Человека и Вселенной нашло своё отражение в таких стихах, как «Земля», «Комета Галлея», «Северное сияние», «Полярная звезда», «Млечный Путь».

С особой интонацией звучит стихотворение «Мама». Его невозможно читать спокойно: сразу встаёт комок в горле, и к глазам подступают слёзы. Острое чувство утраты самого дорогого человека на Земле, самого высокого нравственного авторитета:

*В тугую тучу солнце село,
А я смотрю из-за угла:
Уходит мама в платье белом,
Навстречу ей — сырая мгла...*

Это одно из самых лиричных стихотворений, наряду со стихами «Звездопад», «Июль», «Секрет», «Очарование», с посвящением бабушке Апполинару Николаевне.

Часть стихов поэта стала песнями. Среди них — гимны о многих городах и районных центрах Вологодчины, включая и областную столицу:

*Здравствуй, Вологда-отрада,
Духу русскому уют
И забота, и награда,
Что не всякому дают.*

*В красоте твоей соборной
Возле храмовых икон
Над рекой плывёт просторно
Колокольный вольный звон...*

Один из циклов стихов являет собой посвящение известным людям: писателям, художникам. Особое место среди них занимает стихотворение «На открытие памятника Рубцову», где ярко показано одиночество великого русского поэта, его бесприютность при жизни. С этим стихотворением перекликается ещё одно произведение М. А. Свистунова «Плач о чёрном лебеде». Это своеобразный мысленный диалог двух поэтов о роли и месте поэзии в жизни человека и общества в целом, о тайнах ремесла, о том, как рождаются стихи, о постоянной, непрекращающейся, филигранной работе над словом. Это и реквием о рано ушедшем поэте-современнике, который так тонко и остро чувствовал ту самую кровную связь с родной землёй.

В стихотворении «Время» Мануил Алексеевич спрашивает: «...Я в центре времени. / Под этим бременем / Без роду-племени как устою?..» Устоять же можно тогда, когда чувствуешь силу и власть родной земли, своих предков. Но если ты не можешь рассказать своим детям о своих родителях, бабушках и дедушках, их героическом прошлом, то откуда же они, в свою очередь, будут рассказывать своим детям, внукам и правнукам о тебе. И не прервётся ли тогда то кровное родство, что родило тебя не только с предками, но и с отчей землёй?!

Об этом с горечью писал А. А. Романов в предисловии к книге М. А. Сви-
стунова о городе Соколе (к сожалению, не изданной): «Нет меры нашему
историческому беспамятству и унижению!.. Вот самый простой вопрос: много
ли мы ведаем о своём крае и о местах, в которых живём? А знаем только
лишь самую малость — лишь то, что укладывается в годы жизни своего поко-
ления. Даже о родителях наших зачастую ничего толкового рассказать не мо-
жем. А уж что говорить о бабушках и дедушках!.. Хотя нам самим отвлечённо
кажется и мнится, что мы всё-таки не такие уж беспамятные, что минувшее в
нас живо. А обернёмся и словно бы слепнем: жизнь, не столь ещё и далёкая
от нас, но уже отшумевшая, почти что не видима и не различима нами...»

Мануил Алексеевич не только сам избежал этой беды, но и немало свер-
шил, чтобы многим своим читателям вернуть гордость за их род, за малую
родину и её историю, пробудить интерес к ней. Без этого, как мы видим,
далеко не лучшим образом выглядит наш нынешний день, и не утихает в душе
тревога за будущее потомков и всей нашей многострадальной отчизны.

Древние авнежские места, их жители, особенно родные и близкие люди,
дали будущему писателю Мануилу Свиштунову мироощущение малой родины,
воспитали любовь к своему краю, уважение к землякам. Эти чувства он до-
стойно пронёс через всю свою жизнь.

Важнейшей составной частью его многогранного творчества стали краевед-
ческие работы, посвящённые истории Междуречья: объёмный сборник доку-
ментов и материалов о прошлом современного Ботановского поселения; книга
«Междуречье», написанная в соавторстве с Л. Л. Трошкиным; историческое
повествование о преподобных Григории и Кассиане Авнежских и другие. Были
подготовлены к изданию книги по истории Грязовца и Сокола.

Остались, к сожалению, нереализованными многие интересные творческие
и исследовательские задумки и начинания нашего земляка. Но Мануил Алек-
сеевич, родившийся ранней весной, когда в наших краях ещё нередко белеют
снега, и ушедший из жизни в крещенские холода, навсегда останется с нами
своим творчеством, теплом и светом доброй и широкой русской души.

Своими произведениями он продолжает взывать читателей к власти родной
земли. «Без неё, — отмечает известный российский писатель В. В. Дементьев, —
всё уже стало в мире распадаться, рушиться, она одна, светлая, а не тёмная,
как в страхе вещали злые критики, спасала душу тогдашнего русского чело-
века, его мораль, его устойчивость, наконец, его будущее, она единственная,
которая была незахватанна и беспорочно чиста».

На таком чувстве родины, отчей земли как главной, самой сокровенной
творческой идее раскрылся писательский и поэтический дар Мануила Алек-
сеевича Свиштунова.

Е. А. Исаковская, с. Шуйское.

Гимны. Песни. Стихи

*Мануил — на древнееврейском:
с нами Бог.*

Когда в толпу с высот верховных
Дух единенья нисходил,
Слетало слово с уст греховных:
Се мануил, се мануил!

Манили звуки налитые,
Крепили мучеников пыл.
В порфиноносной Византии
Блистало имя Мануил!

И вместе с верой православной,
Как ценность редкая, оно
Среди сокровищ духа главных
В святую Русь занесено.

Уж нет былого единенья.
Переступаю ваш порог
И вижу сонное томленье:
Вам безразличны бес и Бог!

От древних звуков одаренья
Не ждёте вы и в этот раз.
Но в них возможность озаренья
Не иссякает и сейчас!

НА ЛАДОНИ ИЗНАЧАЛЬНОЙ...

ГИМН РОССИИ

Россия! Какая высокая доля —
Века и просторы собой обнимать!
Россия, ты — счастье и разум, и воля,
Свободных народов родимая мать!

П р и п е в:

Славься, Отечество тысячелетнее!
Здравствуй в сиянии грядущих веков!
С нами победная Мудрость наследная —
Вера, Надежда, Святая Любовь.

С тобою невзгоды и беды осилим!
Добро одолеет в сраженьи со злом
Под флагом соборным Великой России,
С гербом непокорным — Двуглавым Орлом!

П р и п е в.

Мужайся, Россия, в державном движеньи!
Пути к совершенству не будет конца.
Да здравствует светлое Преображенье
Твоё ради мира во славу Творца!

П р и п е в:

Славься, Отечество тысячелетнее!
Здравствуй в сиянии грядущих веков!
С нами победная Мудрость наследная —
Вера, Надежда, Святая Любовь.

Декабрь 2000 г.

ГИМН ВОЛОГДЕ

Здравствуй, Вологда-отрада,
Духу русскому уют
И забота, и награда,
Что не всякому дают!

В красоте твоей соборной
Возле храмовых икон
Над рекой плывёт просторно
Колокольный вольный звон.

Ты носи в века иные
На российские поля
Мудрость матери-Софии,
Силу звонницы Кремля!

Юных — древностью порадуй,
Старых — новью удиви.
Здравствуй, Вологда — отрада
Нашей Веры и Любви!

ГИМН ЧЕРЕПОВЦУ

На окраине долинной,
Где славян встречала весь,
Будто Муромец былинный,
Возрастал Череповец.
На крутом шекснинском склоне
Наши души пропитал
Знак труда и обороны —
Огнедышащий металл!

П р и п е в:

Пусть ласкает ясны очи,
Православные сердца
Созидательный, рабочий,
Бодрый лик Череповца!

Здесь твои надёжно дети
Поколеньями подряд
На гребне тысячелетий,
Словно Муромцы, стоят,
Чтоб под звёздами Вселенной
Украшением земли
Полыхали бы мартены,
Реки царственно текли!

П р и п е в.

Среди доброго народа
От спокойного герба
Всем легки земля и воды,
Нечерствеючи хлеба.
И ведёт тебя к расцвету
Мать-история сама.
А в дороге ярко светит
Пламень духа и ума!

25.12.1999 г.

БЕЛООЗЕРО

Этой славе вовек не увянуть,
Как пришёл на Шекснинский угор
Со крестом к белозёрам-славянам
Ян Вышатич от киевских гор.

С той поры белозёры соборно,
Привыкали душой к высоте,
Осеня озёрное горним,
Вырастали соборы везде.

Твои князи к Непрядве на сечу
Унесли потаённую грусть
И ушли — до единого — в вечность,
Предстоять перед Богом за Русь!

Ты всегда разрывало оковы,
Угрожавшие нашей стране,
Как на полюшке том Куликовом,
Так и в самой великой войне.

И поэты твои дорогие
Твёрдо помнили русский завет:
Прежде — воин, защитник России,
Гражданин! А потом уж — поэт.

Ах, какую мы чашу испили!
Через край бушевала волна,
Но за то, что мы праведно жили,
Твоя чаша с краями полна.

Белоозеро! Полная чаша!
Широко ты в своей полноте,
Дорогое сокровище наше
И наследие наших детей!

15 июля 1999 года

ПЕСНЯ О КАДУЕ

Смотрят в душу весёлые очи
Из-за каждой весёлой сосны.
Здравствуй, Кадуй, посёлок рабочий,
Вересовое чудо страны.

На твоём благодатном просторе
Опереньем блестят на лету
Переливчатый сумрачный Ворон,
Золотой голосистый Петух.

П р и п е в:
Кадуй, Кадуй, сердце радуй,
Подавай благую весть:
Вот как надо, вот как надо
Утверждать любовь и честь!

Чтобы помнили внуки и дети
Про российский и свой интерес,
Чтоб светлей становилось на свете,
Мы поставили мощную ГРЭС.

От могучей красавицы Суды,
От былинной седой старины —
Всё отсюда: и сила, и удаль,
И энергия нашей страны!

П р и п е в:
Кадуй, Кадуй, сердце радуй,
Подавай благую весть:
Вот как надо, вот как надо
Утверждать любовь и честь.

26.06.1999 г.

ПЕСНЯ ОБ УСТЮГЕ ВЕЛИКОМ

Устюг — севера вершина,
Как верховный Водолей,
Две струи из двух кувшинов
Ты сливаешь меж полей.

Дочь и Сухоны, и Юга,
Полноводная Двина,
Вплоть до моря, до Мудьюга
Волей русскою полна.

Здесь и братцы-новгородцы,
И ростовцы-суздали
Примерялись побороться
За добро твоей земли.

Разбоярились братцы,
Засучили рукава,
Да велела побрататься
Возмужалая Москва!

Богатырского терпенья
Родовое ремесло
За десятки поколений
В наши дали проросло.

Устюг-батюшка Великий!
Ты себе хозяин сам,
И дела твои, и лики —
Всё во славу небесам!

20.06.1999 г.

ХОРОВОДНАЯ ДЕДА МОРОЗА

Этих мест старинный житель,
Я при деле состою,
Всей России услужитель.
Пойте, радуйтесь, пляшите,
Славьте Родину мою!
В мире нет другого места,
Потаённого угла,
Где бы так мороз по жести
Для Снегурочки-принцессы
Снежной радугой играл!

П р и п е в:

Здравствуй, здравствуй, многоликий
Устюг-батюшка Великий,
Наш край родной — наша отчина!
Эх, пой со мной, Вологодчина!

Замирают от смущенья
Монреаль, Париж и Берн:
Всех приводит в восхищенье
Бесподобное творенье —
Наша северная чернь!
Надоело нам поститься.

Посмотри, честной народ:
Заграница вереницей
С ворохами инвестиций
Вся! — у наших у ворот!

П р и п е в.

Дорогие россияне
Из столиц и деревень!
Вот вам Севера сиянье,
Величавых рек слиянье
И морозной ночи звень!
Пойте, радуйтесь, играйте,
Остроум и тугодум!
Шире душу отворяйте!
Со молодых ногтей вбирайте
Русский дух и русский ум!

П р и п е в.

ВОЛНА НАБЕГАЕТ НА ОТМЕЛЬ

(песня о Тотьме)

Волна набегает на отмель,
Мои замывает следы.
Блаженны живущие в Тотьме
У неба, земли и воды!

Прославлен среди мореходов,
Уже у иных берегов,
Из нашего вышел народа
Иван Алексаньч Кусков.

За нас перед Господом просит
Дать веры, надежды, любви
Твой инок святой Феодосий,
Чей дух у любого в крови.

А вон и Рубцов на скамейке,
Судьбой затуманенной чист,
Раскрыть наши души умеет,
Как дерево, почку и лист.

Поклон вам, торившим дорогу,
Вы кротость несли на челе
С молитвой ко Господу Богу,
С глубоким поклоном Земле!

Вы все — велики или малы —
Сливались в один монолит.
И вами Россия стояла,
А нами она устоит!

Волна набегает на отмель,
Но ваши не смоеет следы.
Блаженны живущие в Тотъме
У неба, земли и воды!

28.04.1999 г.

ПЕСНЯ О СОКОЛЕ

По лесам, по болотным осокам,
По реке — молодая заря.
Ты сейчас поднимаешься, Сокол,
Над старинным гнездовьем паря.

Здесь когда-то границы держали
Встречь зари и князья, и цари,
И стояли опорой державы
Православные монастыри.

А набравшись ума да отваги
На метельном и знойном юру,
Уходили за славой ватаги
В Заполярье, за Камень, в Югру.

Ты годами пока что подросток,
Зрелость только маячит вдали.
Но впитал ты энергию роста
От бывлой кадниковской земли!

Гордый Сокол, над явью и быбью
Помни слово намоленных мест.
Расправляй же могучие крылья,
Укрепи эту память окрест!

У тебя назначенье высоко,
Ты — хранитель родимых основ,
Смелый Сокол, стремительный Сокол,
Сотоварищ державных Орлов!

Март-апрель 1999 г.

ВОЛНА РАСКАЧАЛА...

(песня об Устье Кубенском)

Волна раскачала, земля привечала,
Манила-звала под покров шалаша.
И бросили чала, и вот у причала
Покоя хлебнула душа.

Молилась дружина, что в озере дерзком
Иссяк, наконец, сокрушительный вал.
И к смерти готовый, князь Глеб Белозерский
«Спас камень», молясь, повторял.

А юные годы кипели отвагой,
И каждый на службу отчизне спешил.
Здесь кубок, наполненный кубенской влагой,
Царь-отрок Иван осушил.

Здесь корни и кроны народа и веры,
Здесь старец святой семена высевал.
Здесь в службе и дружбе не знали потери,
Могучий народ вызревал.

В родимое Устье всем сердцем стремлюсь я.
Здесь душу омоет божественный хор.
Ах, чайки да утки, да лебеди-гуси,
Да весь поднебесный простор!

Какими громами судьбина ни грянет,
Не знаю, куда еще нас занесёт,
Но верю: у самой погибельной грани
Спас-Камень, Спас-Камень спасёт.

25.03.1999 г.

СРЕДЬ РОССИЙСКОГО ВЕЛИЧЬЯ

(песня о Грязовце)

Средь российского величья,
Сохраняя бравый вид,
Старорусского обличья
Город Грязовец стоит.
Прибавляет он росточка
Год от года веселей.
Он стоит на важной точке,
Где Господь стоять велел.

Мы наследники Комельских
Достославных мудрецов
И Обнорских, и Никольских,
Свято-Нуромских отцов.

Лежа, Монза и Обнора
Да Комёла на краю —
Все текут легко и споро,
Те — на север, те — на юг.
От источников-истоков
По пустыням, по лесам
Пронизают землю токи
В направленьи к полюсам.

По сознанию — не святые,
Мы храним свои места,
Люди русские, простые,
Как святая простота.

Заповедное от века
Отложилось на века:
Здесь у нас молочны реки
Да кисельны берега.
Мы живём на свете славно,
Не боимся перемен.
Но не троньте память главных,
Православных наших ген.

11.05.1999 г.

ВОЛОГЖАНЕ

Доля — в поле, горе — в море,
Дом родимый — у реки:
Испокон с судьбою спорят
Вологжане-земляки.

Повоёвано немало
И попахано дай Бог!
Изначала выручала
К милой Родине любовь!

П р и п е в:
Ах, какие наши годы,
Если с нами навсегда
В хороводе Солнце ходит
Да Полярная звезда!

Этим пламенем доньше
Безбоязненно горим.
Если надо, душу вынем
На святые алтари!

Сохраним родные нравы
От навязчивых идей.
Перед Богом будем правы
Благонравием детей.

П р и п е в.

Непосильное осилим
Чужебесью вопреки.
Выйдут в кормчие России
С наших улиц мужики!

Разберёмся мы в содоме,
Не гляди, что простота.
Мы — народ, хозяин в доме,
Мы — российская пята.

П р и п е в.

1998—1999 г.

БАБАЕВО

Сельцо стояло знатное
В Бежицкой стороне.
В нём жил «Ондреец с братьею»
При прочей при родне.

Потом нашли учёные
И вовсе древний след:
Копьё, ножи точёные.
Им по пять тысяч лет.

П р и п е в:
Бабаево, Бабаево —
Родная сторона.
Вся прошлая судьба его
До доньшка видна!

Через столетья мгlistые
Доселе живы здесь
Святые и пречистые,
И нечисть тоже есть!

Под музыку чугунную
Грохочут поезда.
А в небе ночью лунною
Горит его звезда!

П р и п е в:
Бабаево, Бабаево —
Открытое окно.
Грядущая судьба его
В тумане всё равно.

Дубы широколистные,
Сузёмы-мохначи.
А люди мускулистые
И духом — силачи.
И вынесут, и выстоят
Обиду и напасть,
Держалась бы за истину
Своя родная власть!

П р и п е в:
Бабаево, Бабаево —
Вокзалы да пути.
Судьба его, судьба его
У Господа в горсти!

29.04.2004 г.

ВЕРХОВАЖСКАЯ МЕЛЕНКА

Хочешь — падай,
Хочешь — стой!
Наше место —
На все сто:
И гористо, и ручьисто,
Просто верховажисто!

Сколько ж надобно отваги
Да раденья к мужикам,
Чтоб работать так, как Вага,
За последние века?!

Не знавала быстрая
Реченька речистая
Ни чертей, ни водяного —
Сила Ваги чистая!

П р и п е в:
Мельница, мельница,
Мельница-вертельница!
Не забава — два постава —
Да и не безделица!

По долинам да горушкам
Всем известно было, чьи
Ветряные крупорушки,
Мукомольни, толчеи.

Красовались на юру,
Каждому приглядисты,
Вольну ветру по нутру,
С речками покладисты.

П р и п е в:
Меленки новые —
Терема шатровые.
Наливные, подливные,
Желоба тесовые.

К нашей мучке — ваши ручки,
Красно зарево в печи.
Будьте-нате: на лопате
Пироги да калачи!

Да от дальней от поры
Водится доселева
Пиво обществом варить,
Миром навеселивать.

П р и п е в:
Меленки, меленки,
Меленки-вертеленки!
Царствуй, ветер, в целом свете!
Здравствуй, Вага-реченька!

ВОЖЕ

Люблю тебя, светлое Воже!
Люблю бесконечно давно.
За что же, о Господи Боже,
Мне счастье такое дано?!

П р и п е в:
А мысли в пространстве погожем,
Как над колокольней стрижи.
Спасибо, о Боже, за светлое Воже,
За счастье на Родине жить!

А волны — с улыбочивым блеском!
А ветер — на весь окоём!
А радость серебряным блеском
Блаженствует в сердце моём!

П р и п е в.

Ты долго гранило, о Воже,
Характеров наших гранит!
И если не сами, то кто же
Тебя от беды сохранит?!

П р и п е в.

ВЫТЕГОРИЯ

Волго-Балт — проспект России —
Вытегорией идёт.
Чайки реют в небе синем,
Облетая город-порт.
Здесь назад тому лет триста
Как маяк пяти морям
Встала вянгинская пристань
По велению Петра.

П р и п е в:
Вытегория — страна
Папина и мамина,
Пуп земли для нас она,
Петербург — окраина!

Пётр от Вепсии до Мери
Всё пространство до вершка,
Будто циркулем, измерил
В сапогах-бродовиках.
Хоть живём и в нашу пору
Не всегда-то по уму,
Не уступим, вытегоры,
И ни в чём, и никому!

П р и п е в:
Вытегория — страна
Папина да мамина,
Пуп земли для нас она,
А Москва — окраина.

Тут воочью белой ночью
Без волшебного стекла
Вам покажут зори точно,
Дочего земля кругла,
Дочего она красива,
Сколько требует труда!
Не иссякнет наша сила
Ныне, присно и всегда!

П р и п е в:
Вытегория — страна
Папина и мамина,
Пуп земли для нас она,
А кругом — окраина!

КИРИЛЛОВ

Посреди простора
Северных пустынь
Страждущим опора —
Чудо-монастырь.

Розовые блики
На стены легли,
Будто предков лики
В памяти земли.

Голосом Кирилла
В призрачную ночь
Говорят: нет силы
Нашу превозмочь!

Белых храмов крылья...
Купола в зенит...
Святоград Кириллов
Соль земли хранит!

15.02.2004 г.

ПРЕПОДОБНЫЙ ГЕРАСИМ

Он пришёл, собой прекрасен,
В нимбе солнечных лучей —
Инок праведный Герасим —
На Кайсаров на ручей.

Был в трудах своих бесстрашен.
В сменах инеев и рос,
Весь резьбою изукрашен,
Храм торжественный возрос.

И над всем окрестным раем
Изначалием начал,
Православье величая,
Медный колокол звучал.

Мы веками-волоками,
Кои помню и люблю,
Всесоборно принимаем
К вологодскому Кремлю.

Здесь земля в сияньи синем,
В ненаглядной красоте,
Как росиночка России,
Как рубин в её кресте.

Сквозь любые неугодья
Победительно гудит
Воплощённый Преподобным
Вечный благовест в груди.

1997 г.

ВОЛОГДЕ

На ладони изначальной,
Словно вздох лесов и вод,
Под покровом беспечальным
Наша Вологда живёт.

Не роптала на обиды,
Берегла сирот и вдов
Сердцевина Фиваиды
Старорусских городов.

Мало ль что потом случится —
Будет наших отличать
Вера кроткая на лицах,
Словно Божия печать.

Обустроим, изукрасим,
Заживёт душа в тепле.
Пусть потомкам будет ясен
Подвиг предков на Земле!

1998 г.

СВЯТАЯ ГОРА

*(из цикла стихов к незавершённой
поэме «Святая гора»)*

* * *

Шингóрь и Нозема, как сёстры,
От ледниковой той поры
Свои отмеривают вёрсты
Из-под былой Святой горы.

Шингóрей было три, однако.
И воды их всегда текли
От общей матери двойко:
На юг и к северу земли.

Они — все три — в людском понятии
И в переменчивой судьбе,
Хоть были сёстры, стали братья,
А тот же продолжают бег.

Три новоявленные братца
На православный стали лад
Всё чаще Шингарями зваться
Примерно века три назад.

На Каспий катит воды Красный,
А Белый с Чёрным сквозь туман
И Нозьмой, средь Увалов ясной, —
На Ледовитый океан.

Над ними арии склонялись
И угро-финны глину жгли.
И мы немного поклонялись
По берегам родной земли.

И, несмотря на перемены,
И даже корчи естества,
Они вливают в наши гены
Сознание кровного родства!

* * *

Была гора — зияет яма!
Несёт застойной духотой
Непоправимого изъяна,
Непоправимую бедой!

А меж холмов, утратив имя,
Теперь уже неизвестно, чьи,
Пугают руслами сухими
Когда-то полные ручьи.

Да и оставшиеся люди,
Хотя ещё спуют и ткут,
Как челноки, но где ни блудят,—
Воспоминаньями живут.

Воспоминаньями одними,
Но вслух о прошлом — ни гу-гу!
Да если голову отнимут —
Откуда слёзы побегут?!

* * *

А когда над Увалами,
Над родной стороной
Взвевут ветры обвалами
Тополиной весной,
И под клики и клёкот,
Щебетанье и грай
Напитается соком
Светлый северный край,
Зацветёт и завьюжит
По садам и в кустах,
Я себя обнаружу
В отдалённых местах,
Где по пагубной воле
Мне вменяют за честь,
Как перекасти-поле,
Быть не тем, что я есть.
Вырываясь из роли,
Наконец-то пойму:
Возвратиться я в силах
Сам к себе самому.

Теперь, когда уже отхлынул
 Волной отлива светлый май,
 На зов приветный не преминал
 И я взглянуть на милый край.
 Каков он в радости ли в горе,
 Как возмужал, иль спал с лица,
 И как-то встретит Святогорье
 Меня — и сына, и отца?²
 И вот я с прежнею судьбою,
 А какова она — молчу,—
 К себе седую головою —
 Безусому — припал к плечу.
 Как блудный сын, как символ века,
 И лишь по счастью живой,
 Войти пытаюсь в ту же реку
 С тоской, похожею на вой.
 Река до странности иная,
 Но те ж над нею небеса.
 Узнает или не узнает
 Меня старинный барский сад?³
 В начале знойного июля
 В нём буйно липы зацветут.
 Весь сад охватит, словно улей,
 Сплошной густой пчелиный гуд.
 Я слёзы с радостью мешаю
 В недоуменьи по лицу
 И будто разума лишаюсь
 Я, сын, припав к себе, отцу.
 Давно усталыми глазами
 Смотрю на юное лицо:
 Ужели мы и вправду сами
 Сейчас замкнули жизнь в кольцо?⁴
 Как будто вытащили невод,
 Но чрез пустые ячеи
 Светло сквозят земля и небо —
 Ни тины и ни чешуи.
 В глазах — покой опустошенья

И сеть невидимых дорог,
Свидетель наших прегрешений,
Узлом лежит у наших ног.
Да-да, друг друга мы узнали.
Но рассудить возможет нас
Лишь тот, кто радостен в печали
Вот в этом месте в этот час!

* * *

Есть в Авнеге речки-купели
В лесах и селеньях глухих.
Они не замкнули пределы,—
Напротив, раздвинули их!

Вот так и Гора от Валдая,
Вандалам безбожным прощая,
Ключами изъязн заполняя,
Израженная, но Святая
Возвысилась в чуткой душе!

1997–1998 г.

В СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА

СКВОЗНЯК

Страна в устройстве восходила...
И вдруг — шабаш! Пришла возня:
Всё, что создали, разделили.
Но тем, кто жали, молотили
Да ось державную крутили, —
Достался каждому — сквозняк!

Сквозняк в просторах наших праздных!
Свистя сквозь зубы налегке,
Полощет бело-сине-красным
Державный дух на сквозняке.

А мысль искусников не дремлет:
Чтоб дальше крепла «благодать»,
Всё тем же надобно и землю
Всенепрерывно отобрать.

Но помня драму: если прямо
Направить на Россию рать —
Веками не обратиться сраму
Да и порток не отстирать! —
На юридическом точиле
Стремятся выточить ключи,
Чтобы «законно» получилось
Народ с землею разлучить.

И не втемяшишь этим лицам
И как, и сколько ни долдонь,
Что православная земляца —
Равно, что Божия ладонь,
Что никогда не будет чуда
Для нас на проданной земле —
В народной памяти Иуда
Всегда качается в петле!

17.12.1997 г.

ПРОЦЕСС?..

Процесс пошёл. И в самом деле:
Чем меньше дров, тем гуще лес,
В такие дебри залетели,
Что даже Меченый исчез.

Не будем тыкаться в детали,
И так известно хорошо:
Его так плохо рассчитали,
Что с горя по миру пошёл.

Но, по газетным судя слухам,
И тут нарвался на скандал:
Один лишь добрый дал, но в ухо,
Да видно, тоже мало дал.

- Какой Сусанин нас оставил!
- Которой просекой пойдём?
- У нас спортивные суставы!
- Не дрейфь, ребята, всё путём!

И указующие билли
К любому прибывали пню.
Сначала армию разбили,
Потом напали на Чечню.

А чтобы меньше было горя
И чтобы снова пел народ,—
Отступаем от Приморья —
Пусть Япония возьмёт!

Расчёт холодный, как в аптеке.
Под мнимо гласную возню
Россию сдали в ипотеку,
Но присебенили казну.

Кричат про новые успехи,
А обалдевшая страна
Глядит с пугливо-глупым смехом:
Ребята, неужто война?

Но кто заглавный в этой своре?
Кто Гитлер, Геббельс, а кто Гесс?
Но все-то живы, все-то в сборе...
Грядёт ли Нюрнбергский процесс?..

Октябрь, 1997 г.

СРОКИ

Уж минул-минул срок огромный,
Как в том посаде у реки
Везли зерно, тесали брёвна
В рубахах красных мужики.

Играла жизнь в степенстве важном,
А к храму шли со всех сторон —
И раздавался в сердце каждом
Созвучный колоколу звон.

Но в кумачовом и атласном
На землю дьявол прикатил,
Гордынею и словом красным
Он веру нашу совратил.

И хоть, бывало, побивали —
И был удар неотразим —
Врагов, но чаще попадали,
Гораздо чаще, по своим.

Не смыта кровь, убита вера.
И нету лучших среди нас.
Но эта мера — всё не мера:
Ещё наш говор не угас.

Пока не поздно, братья-сёстры,
Стряхните дьявольскую гнусь.
Да вызревает ночью звёздной,
Копясь, крепясь, святая Русь!

4—7.09.1997 г.

* * *

Черты лица её размыты
И угловатый беден стан.
Но за холмами еле скрытый
Какой бушует океан!

Какой прибой взметает пену
И у дворца, и у избы!
Но застарелую измену
И не понять, и не забыть.

Ах, новорусы! Воля ваша
И ваши в пене времена.
Нам не успеть допить из чаши —
Вам предстоит испить до дна!

Февраль, 1998

КАПЛЯ

Случайно тучку нанесло.
С чего — не знаю.
Упала капля на стекло
Един-ствен-ная.

Сначала бросилась бежать
Что было силы.
Внутри стекла пузырь лежал —
Остановилась.

А бесконечное стекло
Стояло прямо,
И дымкой даль заволокло
До самой рамы.

Нетерпеливая, она
Искала странствий.
Да разве справишься одна
С таким пространством?!

И единичности своей
Уже не рада:
Лежит пылинка на стекле —
И та — преграда!

Боясь неведомой судьбы,
Качнётся снова:
Ведь выход всё же должен быть —
Но нет такого!

...Закрылся пледом на тахте.
Очнулся — вечер.
В окошко дождик тарахтел —
И стало легче.

Ноябрь, 1997 г.

КОЛОСОК

Из лет моих, как из подполья,
Я в мыслях делаю бросок
В ржаное утреннее поле,
Где рос отборный колосок.

И вижу, как по полю крался,
И твёрдо зная, что нельзя,
Я до него-таки добрался
И колосок в ладони взял,
Сорвал и, вышелушив зёрна,
Я все их съел, голодный, злой,
Но в тайной памяти упорно
Он до сих пор стоит живой!

А время сыпало напасти,
Неся в судьбу за сбоем сбой,—
Сбежали пахари и власти,
Пустырь оставив за собой.

Тот край по щучьему веленью
Ещё никто не обласкал.
Там будто не было селений
И ни полей, ни колоска.

В моём побеге невозможном
Своей седою головой
К нему с надеждой осторожной
Клонюсь и чувствую: живой!

1998 г.

НАДРЫВ

На телеграфный стук условный
Слетелись дети в дом родной
И поделили полюбовно
Отца и мать между собой.

Дела решили очень бойко
И в тот же вечер развезли
Отца и мать по дальним стройкам
Своей, казалось бы, земли.

Они добра желали страстно,
Но ни один не сознавал,
Что рвали время и пространство,
А их не всякий создавал.

И старики из разных далей
И обустроенных квартир
Уже недолго наблюдали
Иной уклад и странный мир.

Им порознь было так немоло!
И вскоре свет для них угас,
Когда светило восходило —
В один и тот же ранний час.

В бумагах тайных за вещами
Прочли слогов неровных нить,
В которых оба завещали
Их вместе дома схоронить.

...Соединились под крестами
В одну желеемую близь.
Но души нить не перестали,
Их раны вовсе не срослись.

Была от светлого начала
И до последнего темна
Их доля вовсе не случайна:
Любовь едина и одна.

Она одна незримо свяжет
Былых и сущих, пыль и знать.
Одна она!
Но разве скажет
То, что от Бога должно знать?!

9.03.1998 г.

ОБЫЧАЙ

Когда и бабка уходила
С косою на утренний лужок,
Она внучонку говорила:
Приставь к калитке батожок
И бегай!

Он по сю пору так и делал:
Не признавал ни в чём замков
И жил средь нас широко, смело,
Как повелось, без дураков,
Открыто!

Но вот сегодня из-за страха,
Что газ включён, среди бела дня
Влетел домой — и так и ахнул:
Дом был ограблен до бедна,
До нитки!

Ну кто решится на такое,
Какая сорвиголова?
У нас последнего изгоя
Не так-то просто воровать
Заставить!

И понял он: не зря же в душу
Давно закрадывался звук:
Любой закон чего-то душит!
Читать их надо между букв,
Условно!

А там и сказано любому
Насчёт обычаев и прав:
Проверь замки, идя из дому,
А на работе грабь и правь,
Не бойся!

Взимай наличную монету
И с лиц, и с образов, и с харь.
А доступ есть — по Интернету
В чужих мозгах и банках шарь
Спокойно!

А стыд и совесть — шваброй в угол!
Да занавесь глаза икон.
Куда удобнее без пугал!
И будет твой введён закон
В обычай!

Март, 1998 г.

КРАСАВИЦА

России

— Как странно всё переменялось:
Друзья другие и враги!
А та ли я? Скажи на милость,
Но только правду, не солги.

В ответ ей зеркальце простое:
— А поглядишь в меня сперва,
И я ответом удостою,
Твоя ль на шее голова.

20.11.1998 г.

ХОЗЯЕВА

Под солнцем и поздним, и ранним,
Под северным грозным сияньем
Мы русские все, россияне,
И радостно наше слиянье.
Мы заповеди соблюдаем.
И хлеб свой, который съедаем,
Мы в поте лица обретаем.
Славяне и вепсы, и финны,
Веками и верой едины,
От чукчей до гордых суоми —
Якуты, корелы и коми —
Мы сами — хозяйева в доме.
И было бы хуже худого —
Родного менять на чужого!

21.11.1997 г.

ВЫСТОИМ!

Поднимайтесь, славянские парни!
Мы по вере и крови родня.
Выходите из вражеских партий!
Нам поможет сегодня одна

П р и п е в:
Сила наша главная —
Вера православная,
Наша власть державная.
Родовая, чистая.
Поднимайтесь!
Выстоим!

Поднимайтесь, славянские жёны!
Подставляйте друг другу плечо.
Да останется неискажённа,
Изнутри неделима ни в чём.

П р и п е в.

Поднимайтесь, славянские дети!
Роковая минута сейчас
Настаёт для грядущих столетий.
А опора да будет от нас.

П р и п е в.

Поднимайтесь, единством красивы!
Наша воля да будет крепка,
Бог — на небе, под небом — Россия!
Только вместе. И наверняка!

П р и п е в:
Сила наша главная —
Вера православная,
Наша власть державная,
Родовая, чистая.
Поднимайтесь!
Выстоим!

Апрель, 1999 г.

НЕСОМЫЙ СВЕТОМ НЕВЕСОМЫМ...

ВРЕМЯ

От давней давности
в скользящей плавности.
Всегда в исправности
незримый ход.
Способны странности
вполне с ума свести,
Да вот не сводят же
который год!

В обычной млечности
свистит в беспечности,
Не зная скорости,—
не тот учёт,
Не зная корысти,
совсем без горести,
Всегда напористо
стоит — течёт.

Никем не спрошено,
никем не брошено,
Не помнит прошлого —
ни лет, ни вёрст.
В свистке горошины —
ночное крошево
Блестящих грошиков —
планет и звёзд.

Я в центре времени.
Под этим бременем
Без роду-племени как устою?
Я в центре времени.
Живой. Но кремень ли?
Я в центре времени.
Но — на краю!

Апрель, 1998 г.

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

Метёт серебряной порошей
В моё лицо остаток дня.
Мне что! Я в валенках хороших
И в шубе рыжего огня.

А серый в яблоках летит —
Летит огонь из-под копыт!

Вот кто-то тучи размыкает,
А я не смею отвернуть.
Мой серый в яблоках влетает
С просёлка прямо в Млечный Путь!

Здесь мироздания этажи
Сияют, ярки и свежи.

Несомый светом невесомым,
Коня не чувствуя, саней,
Я оказался в самом сонме
Неизгорающих огней.

И явь божественная в нём
Гораздо ближе, нежели днём.

Всегда порядок повсеместный,
Во всём связующая нить —
Да! Только в царствии небесном
Такая стройность может быть!

Ошеломлён, я брежу вслух:
Какая Воля, Разум, Дух!

Порывом внутренним стремим,
От тела духом убегая,
Преодолев земной мираж,
Молитвенно перелагаю

Слова простые:
Отче наш!
Святейшим именем Твоим
Твоё я царство призываю
В земли чертоги и небес
И на одно лишь уповаю:
Да будет воля всеблагая
И хлеб насущный даждь нам днесь,
Долги оставишь, научая
Примером добрым. Не введи
Во искушенье, но избавь
От искушителя забав!
Твоё есть Царство — и за ним
Вся сила, слава за одним
Вовеки!

1997 г.

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

Она среди гроздей изумрудных
Сияет как особый знак.
Её найти совсем не трудно
И невозможно не узнать.

Блистая царственной оправой
На все надземные края,
Она полночным балом правит,
Великим балом бытия.

Она — алмаз в короне жгучей
Над нашим счастьем и бедой,
Не поучая, тайно учит —
Внимай!
А если будет случай,
На сон грядущий ты постой
Под этой яростно колючей,
Стоящей на небе всех круче,

Неугасимой, непадучей,
Славянства судьбами ведучей
Полярной ласковой звездой!

Вот видишь: на сердце — ни тучи,
И весь ты — лёгкий и блескучий,
Ты весь — как месяц молодой!

Ноябрь, 1997 г.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Над Русью вечером кристальным
Незримо воздух задрожал,—
То странный свет из дальней дали,
Из тёмной дали побежал.

Как будто занавес узорный,
Переливаясь, открывал
Давно забытых истин зёрна,
Каких никто не высевал.

Чьим повелением колышет
Полнеба чудная игра?
Кто занавес так нежно вышил
Игрой добра и серебра?

В нём узорочье скринниц древних,
Алмазы граней ледяных
И говор ариев напевный,
Орнамент чукчей молодых.

Но из обыденного мира
Здесь быть не может ничего
Такого, что б не оскорбило
И не унизило его.

...А может, это нам знаменье:
Во зле ничто не устоит!
Ужели светопреставленье
Нам предрекает дивный вид?

Ноябрь, 1997 г.

ЗЕМЛЯ

Она, от мрака отряхаясь,
Благую осязая власть,
Преобразующую Хаос,—
Из бездны каплей сорвалась,

В ладонях Божьих покачалась,
Как бы раздумывая,— вдруг,
Уже в планету обращаясь,
Пустилась в бесконечный круг!

Но по чьему тогда велению,
Едва отбившийся от рук,
С Землёю вместе, к сожаленью,
И человек попал на круг?

Особый круг, спиралевидный.
По слову главных из заблуд
На нём и дурня необидно
Цивилизованным зовут.

Он сушит море, травит сушу,
Не видит в будущем ни зги,
И удушают злобой душу
Его тщедушные мозги.

Его бесчинства наблюдая,
Бедняжка думает, поди,
Неодолимо увядая:
«Да, пропадаю, пропадаю!
Но хоть бы с круга не сойти».

30.1.1998 г.

КОМЕТА ГАЛЛЕЯ

Кометам рассчитаны сроки.
Но всё же была пронзена
Движеньем всеобщим, глубоким,
Как током, моя сторона,
Когда грандиозным кадилом,
Как мимо неведомой тли,
Комета вдали проходила
В виду потрясённой Земли.

На маленькой нашей планете
Качнуло сознание всех,
Кто вдруг поражённо заметил
Её огнедышащий шлейф.
Здесь подлые страхи и войны,
Правители, воры, бомжи.
Там — царственна, важна, достойна
Иная, высокая жизнь.

Там старые звёзды трепещут,
Возносят хвалу и хулу:
Мол, все эти выскочки блещут
На вечном вселенском балу.
Она проходила красиво.
Но понял я только сейчас:
Такое небесное диво
При жизни случается раз.

Тогда лишь в привычном порядке
Мой дух постоянно обрёл,
Когда догорел без остатка
Невнятный уже ореол.
Но вечно в сознании нашем
Космический этот ходок.
И сердце летит за угасшим,
А разум темнит холодок.

Увы, разуменьем спесивым
Проникнуть, оставшийся здесь, —
Куда ей? Зачем? — я бессилён.
А есть куда.
Есть зачем.
Есть!

Апрель, 1998 г.

25 НОЯБРЯ 1998 ГОДА

Как Солнце бледное ослабло
Одно в закатной стороне!
И свет его, скупой и зяблый,
Изнемогает в вышине —
Уже болезненный, предзимний,
Перетекающий волной
Из бледно-розового в синий
И в сине-чёрный надо мной.

Былая воля, вера, где ж ты?
Ушла ль вперёд, отстала ль с кем?
Такое чувство: нет надежды,
А свет висит на волоске.
Темно и томно в клетке тесной!
Но вновь пульсирует висок,
Когда ты вспомнишь, Чей над Бездной,
Чей держит Землю волосок!

25.11.1998 г.

ВЕРА

Святой душе без зренья, слуха
Везде, в любые времена,
Внушаемая Богом-Духом,
Так явно истина видна!

Но если ты умоешь руки
И отвернёшься, как Пилат,
В твоих устах чужие звуки —
То звуки тьмы! — заговорят.

И только тем и розны люди,
И тем лишь стоек их разлад:
Одни глаголом душу будят,
Другие блудословьем тьмят.

Ты видишь: выбранные нами
Несут достоинство страны
Как бы в уме и как бы сами
К подножью трона Сатаны.

Тебе досадно и обидно,
И с этим дожил до седин,
Как прежде, истины не видно —
Ты средь незрячих не один.

Их миллиарды проходили
И сколь — неведомо! — прейдут.
Кому и как бы ни кадили —
Для всех единый путь из пут!

И меж других твоя дорога
В свой срок свернётся колесом,
Но если скажешь: «Слава Богу!» —
То будет ясно всем и всё!

18.07.1999 г.

ПОТОМУ

Неизвестность мне кожу не ёжит.
Окольцован ночным шалашом,
Космонавт — без защитной одежи —
По Вселенной лечу голышом.

Но тяжёлые книги листаю
По ночам — при свече, при Луне.
Борода отрастает густая —
Больше нечем похвастаться мне.

А иные — с Валдая, Синая,
Суетясь в обольщеньи пустом,
То и знай за орбиту сигают,
Только пламя ревет под хвостом!

Им вослед удивляюсь нередко:
Не летать бы с Земли-то пока,
А садить бы здесь репу да редьку,
Да держать бы быка за рога!

Вот и страждут высокие души,
Но прерывист их пламенный ряд.
Им дано сокровенное слушать,
Да не всё они нам говорят.

А и скажут: небесного звука
Нам неведомы стали азы.
С каждым днём тяжелее наука
Понимать даже русский язык.

И опасно заглядывать в дали,
Потому задуваю свечу.
В многой мудрости — много печали.
Потому беспечально лечу.

15.11.1999 г.

МАМА

В тугую тучу солнце село,
А я смотрю из-за угла:
Уходит мама в платье белом,
Навстречу ей — сырая мгла.

Сказали: правды захотела.
Её искать — сойдёшь с ума.
Уходит мама в платье белом,
А правда вся — она сама.

И волос выбелило мелом,
И горе-горькое при ней.
Уходит мама в платье белом,
Уходит двадцать тысяч дней.

А жизнь, как осень, пожелтела.
А я креплюсь от жгучих слёз:
Уходит мама в платье белом,
И это, кажется, всерьёз.

Да разве тут займёшься делом,
Когда такое впереди:
Уходит мама в платье белом,
А я смотрю, куда идти...

Осень, 1998 г.

...Я ЖИВУ СРЕДИ ЗВЁЗД...

ВОПРОС

Раскинувшись в траве высокой,
Ребёнком в поле я лежал.
Казалось, небо брызнет соком,
А воздух маревом дрожал.

И помню явственно желанье:
Пройти бы это всё насквозь!
Насквозь? А дальше? И сознание
И захлебнулось, и зашлось.

Но и потом бывало, каюсь:
Понять безмерность захочу —
Как будто в пропасть низвергаюсь
И без сознания лечу...

Концы концов, начал начала
Я не иду теперь уже,
И лишь один предназначаю,
Один вопрос своей душе.

С тобою здесь нам было мило
Среди разнообразья нег,
Но что-то смертное стомило,
Тебя подвигло на побег.

Тогда скажи, какую мену
Ты совершила, обомлев,
И что искала непременно
Ты в этом бренном на Земле?

— Да, я согласна: было мило.
Отвечу бренному уму:
Ведь это я себя спросила,
Не удержалась, пошутила,
Сама не знаю, почему...

Ноябрь, 1997 г.

МЫ

Мы не знали любовной науки,
Но сияло при встрече лицо
И шептались несмелые руки.
Осиянные светом округи,
Мы вошли в золотое кольцо.

Незакатное солнце вставало!
И сквозными казались века.
За овалом сиренево-алым
В берегах красоты небывалой
Голубая катила река!

...Уступает восторг непокою.
Исчезают из глаз миражи.
Всё иное за серой рекою.
Надвигается время лихое...
А ведь мы собирались пожить.

Но торопят нас дети и внуки.
Нас торопит само бытие.
Осыпаются краски и звуки.
Мы ещё не знавали разлуки.
Мы ещё испытаем её...

15.05.1998 г.

ОЧАРОВАНИЕ

Хлопочут в тополях вороны,
Угомняясь на покой.
А я, закатом озарённый,
Любуюсь небом и рекой.

На водной глади след узорный
Ослаб, размылся, истончал.
И только гаснущие волны
Сонливо хлюпнули в причал.

А туч каёмка золотая
Дотлеет скоро в темноте.
Последних бликов божья стая
Истаивает на кресте.

Созвучный общему явлению,
Сливаюсь в радостный покой
С восторгом умиротворенья,
С последним вздохом над рекой.

...Окинет утром луч червонный
Кресты и кроны, и причал,
И дрогнет там, где озарённый
Закатом, кто-то отзвучал.

Октябрь, 1997 г.

ИЮЛЬ

Ольге

В природе — время зрелой стати.
Светило знойное её
Утонет хмуρο на закате —
С востока ясное встаёт.

А зори даже не смыкают
Своих волнующих ресниц.
Перебирая, рассыпают
Сокровища своих ризниц.

И птицы вещие — зарницы —
Перелетают здесь и там.
Они вещают — озорницы —
Благополучие летам.

Так переключка заревая
Одолевает сонный рай.
Тут каждый колос вызревает —
И на престол дневной взмывает
Златого солнца каравай!

Октябрь, 1997 г.

ЛИСА

Деревни завалены снегом.
И снегом забиты леса.
Бесшумным и змейчатым следом
Прошла через поле лиса.

Потом попетляла у стога,
Тревожно разрыла жнивье,
Чтоб лапой холодной потрогать
Чужое смешное жильё.

И вдруг на снегу притаилась,
Заслышавши крик петуха.
...А по полю змейно струилась
Мышиных хоромов труха.

Ноябрь, 1997 г.

ВЕСНА

Какая странная весна!
Пришла в слезах — и вдруг остыла,
Меня встряхнула ото сна —
То хмура, то опять ясна —
И обняла, и не простила.
Какая странная весна!
Всему, что было вяло, снуло,
Воды за шиворот плеснула —
И увернулась, как блесна.

А мой зачем печален взгляд?
Ужели счастья не хочу я?
Но... долго птицы не летят.
Наверно, заморозки чувят.

31.10.1997 г.

КОЛЫБЕЛЬ

Сейчас придёт покой.
Взойдут луна и звёзды.
Для появления их
Восток уж загустел.
Оставят иль найдут уют
земные гости —
Гнездо, дупло, нору,
прибежище, постель.

А солнце красное
ещё не скрытым боком
Роняет на поля
последнюю постель,
Прощаясь со своим
родителем-Востоком,
Но это будто я
уже неясным оком
В давным-давно былом
и вовсе недалёком
В свою заглядываю
зыбку-колыбель.

Октябрь, 1997 г.

ЛЮБОВЬ

Известно, что наши прапредки
Учёными были так редко,
В сознании зияли изъяны:
Ведь родом — слышать! — обезьяны,
Встречались и даже любили,
А что это значит — забыли,
А может, и сроду не знали.
Такие вот были печали!

Теперь состоянье другое:
Паскудство сочтя за благое,
Заморские дяди втолмачить
Берутся, что всё это значит,
И вводят такое понятие:
Любовь — это акт и занятие,
И надо про акт и про штаммы
В учебные втиснуть программы;
Уменья и навыки тоже
Без практики дуже негожи.

Для вас это, милые детки,
В заморской штамповки конфетки
Завернуты гомо- и СПИД,
И скотство, и муже-, и крове-...
Таким искушенье — не внове.
В таких человечество — спит!

...Любовь — это дивное чувство!
Любовь — это выше искусства,

Не выдумка выпуклых лбов,
А как было сказано Свыше:
(И вы повторите потише)
Бог есть Любовь!

И нам бы — из плоти и крови —
Подняться до этой Любви!

Но все мы — земное начало,
И пусть бы земное звучало
Молитвой для умного слуха:
Любовь — пребывание Духа,
Любовь — состоянье души,
Любовь — это слово и дело,
Любовь — это чистое тело.
Любовь — это право на жизнь!

Ноябрь, 1997 г.

ЗВЕЗДОПАД

Вот и август к концу.
Ночь наполнена блеском и светом.
Этот свет никогда
Никому не придёт угрожать.
Это просто пора.
Это просто кончается лето.
Это время пришло
Собирать золотой урожай.

Всё во мне и вокруг
В сокровенном движеньи, броженьи,
Всё находит в другом
Дорогую себе ипостась.
Совершает обряд
Благодатное Преображенье.
Я внимаю ему,
С благодарностью перекрестясь.

Я живу среди звёзд,
Уважая Тельца и Дракона.
Аритмия моя
Навевает мерцательно грусть.
Я живу среди звёзд,
Повинуясь всеобщим законам.
Удивительно ль будет,
Что тоже однажды сорвусь?!

Я живу среди звёзд,
И на небо ночное пытливо
Я смотрю и желанья
Шепчу второпях, наугад,
Подставляя глаза
Под широкий космический ливень,
Под шумящий в душе,
Как в саду, золотой звездопад.

4–7.11.1998 г.

СЕКРЕТ

Две тайных тьмы следят за мною —
Не разгадать движенья дум.
А улыбнись — окатит зноем
Любовь ответная и ум!

Как чудодейственен при этом
Простой, казалось бы, секрет:
Две тьмы, пронизанные светом,
И сами излучают свет!

30.1.1998 г.

СВЕТ

Глазам от света было больно,
И, избегая мнимых бед,
Я часто вольно и невольно
Смотрел вприщур на белый свет.

С тех пор истёр уже немало
Я и сандалий, и годов.
Чему бывать — уже бывало,
А к небывалому — готов.

В глазах обманные туманы
Плывут, особенно близки,
Как положил на очи мамы
Нечистой меди пятаки.

И запоздало укоризны
На глупость вечную валю.
За всё расплачиваюсь жизнью
И свет последний, самый ближний
Воспоминанием ловлю.

18.08.1998 г.

БЕЗ ВСЕБЛАГОГО ОЗАРЕНИЯ...

СТАРИК

Начальной юности утехой
Прошли, весёлые подряд
Года, наполненные смехом.
А было трудно, говорят.

Потом друзей поразметало.
Заботы встали впереди.
Он о себе-то думал мало.
О Боге — Господи, прости!

Он не искал ни льгот, ни выгод.
Сума отстала и тюрьма.
Он воз тянул — глаза навывкат!
Его несла обмана тьма.

Но и достоинство держало!
И в удовольствие иным
Он мало думал за державу,
Он шёл в упряжке коренным!

Зато верховные владыки
Уже считали барыши
От тех, кого сочли на выкид,
Кого решили порешить.

Сидит старик. Глаза открыты,
В глазах туманится судьба,
Как за стеклом, давно не мытым.
Он первый раз глядит в себя.

18–21.03.1998 г.

ЧЕРТА

Родители встали до срока.
Пред ними лежала в пыли
Набитая кем-то дорога:
До них,— видно,— люди прошли.

Мучительна детям разлука.
Вспорхнули — и тем же путём!
И тоже ни слова, ни звука
О них не слышали потом.

И только невидимый кто-то
Смеялся, ехидствуя тут:
Идите, раз больно охота.
Дорога уткнута в черту!

Последними тронулись старцы.
Иссякла и эта волна.
Невидимый кончил смеяться:
Черта была подведена!

15.11.1997 г.

ИЗБА

Стоит изба в широком поле
Уже немалые века.
Стоит как символ общей доли
Земли, народа, мужика.

Всегда открыты окна были.
Их свет горел на всю страну.
Отсюда дети уходили
Тушить проказу и войну.

Горели сами, как поленья.
Без правил против них борьба
Из поколений в поколенья! —
Стояла русская изба!

Но вот пришёл приказ державный
Железом двери оковать,
На окна срочно ставить ставни,
На волю носа не совать.

Стоит изба. Зимой и летом
Прогорклый стелется дымок.
В чужих краях сгорели дети,
А сам хозяин занемог.

И ослабевшего тревожа,
В углу гноится телеглаз
И поминутно корчит рожи:
Мы победили вами вас!

Звенит хрусталь в победном стане!
К избе дороги замело.
И сам хозяин вряд ли встанет:
Уж болен больно тяжело.

Весна, 1998 г.

ПРИЗРАК

У власти, в том числе у здешней,
Как и в другие времена,
Всегда есть призрак-пересмешник,
Чтоб извратить её до дна.

Он, мастер всяческих диверсий,
Несёт с гнусавинкой в носу
В анекдотичном свете версий,
Возможно, истинную суть.

Уподобляясь предержавшей,
Он мягко стелет языком:
Не жизнь, а ужас настоящий!
Гляжу на вас и в горле ком!

Вам тюрьмы старые не гожи!
Но, чтоб вы не удрали в степь,
Я посажу вас на, положим,
Демократическую цепь.

Я обеспечу до блевоты
Наркоты, секса и вина!
И мне останется заботы —
Забыть про ваши имена!

Декабрь, 1997 г.

ДНО

1

Сотня лет по стране беснованье.
Всё крушим до основ основанья.
Сотрясаются стены страны:
То война, то подъём целины.
То подкинем работки зубам:
Прогрызаем сквозь Родину БАМ.
То, надёжно усевшись на атом,
Расщепляем его голым задом.
То опять новый класс создаём.
Старый класс на помойку суём.
То, устав без жилья и с жильём,
Мы и землю жулью продаём.
То зимой вызываем дожди,
Муляжи выбираем в вожди.

А какие играем сюжеты
Под обряд обрезаенья бюджета!
Наши планы подневно детальны,
Результаты плачевно летальны.
Отступаем под натиском вёсен,
У врага подкрепления просим.
А в головушках мысли витают,

А над Родиной щепки летают!
И пугает нас только одно:
Не упасть бы на самое дно!

2

Президент вызывает Чубайса:
Ты до дна долети, постарайся.
Глубоко ль там оно, попроведай.
Возвращайся со славой, с победой.
А уж мы тебя встретим на бис!
Но, пожалуйста, не расшибись.
Ты мой лучший из лучших советчик,
Мой налётчик, лазутчик, разведчик,
Мой валютчик, мой главный пятак,
Ты мой ваучер, мать твою так!

Вот Чубайс обратился в струну.
Вот Чубайс устремился ко дну.
Вот летит да как вдруг захохочет:
— Это кто мои пятки щекочет?
Но замкнул ему бесик уста
Пряной кисточкой козья хвоста.
— Ах, учёная ты голова!
Ты б ко мне обратился сперва.
Я всё знаю, я здесь обитаю.
Обскажу тебе всё без утаю.
Ты напрасно, мой старый товарищ,
Дно какое-то ножками шарить.
Полетай к своему Президенту,
Получай там свои дивиденды.
Приведи ему довод железный:
Дно у бездны искать бесполезно!
Пусть он выбросит эти мыслишки,
Обойдётся без дна и крышки!..

12.05.1998 г.

НЕКТО

Я был в стране одной рождён
В горах отлогих.
Под снегом, солнцем и дождём
Молился Богу.

Я долго золота просил.
Не внял Дух Святой.
А сам в соборы наносил —
Греби лопатой!

И я повёл свою игру:
Не провороню —
Всё золото мира заберу
В свои ладони.

Лавчонка, лавочка, кабак,
Для важных — пьянки.
Вот — слава Мне! — уже и банк,
Потом и банки.

Сначала тонко потекли,
Затем позвонче
Монеты, доллары, рубли,
Песо, червонцы.

А все цари и короли —
Такие моты
На всех проказниц всей Земли!
На нищих — жмоты.

Забудут всё: и честь, и долг
Для сладострастья!
Я ж под проценты — всем им в долг!
Долг — символ власти!

И скачут, скачут занимать —
Все кони в пене!
А я: пожалуйста опять
(В покрытые пени)...

...Далёкий предок завещал:
Не будь разиней:
Все яйца ты не помещай
В одну корзину!

Все фонды, партии, печать,
Движенья, блоки
Не перестанут получать
Лихих и ловких.

В конце концов везде займут
Твои форпосты
Путём насилия и смут
Мои прохвосты.

Пусть даже голову отъест
Один другому —
Всегда ему на смену есть
Подобный Хомо!

А плюс на минус поменять —
Труда не много.
(Ты мог из алгебры понять —
Науки строгой).

Мышленью новому учу
Столицы, веси:
Народы все смешать хочу
До сбродосмеси.

Года немногие пройдут —
Себя забудут
И на себя же приведут
Ко мне Иуду!

Спецназы, собры и омон!
Семье и дому
Защиту выставил Закон?
Нет: мне, родному!

В каком уме, в каком соку,
В каком откорме!
И по всему материку
В единой форме.

Как встанут в рост —
Густая тень
По всей России!
А где охранники кистень
Да зря б носили?!

Они, спецназы, не поймут
Всю боль петиций.
Смотри: по шарик у всему
Блеск репетиций.

Всё: обонянье, зреньё, слух —
Бывает лживо.
Но безупречен только дух —
То дух наживы!

Я инвестиции кручу,
Что означает:
Верчу, точу, тебе — всучу,
Себе — качаю.

Я покажу нетленной тле —
Вождем, княжатам,
Что можно сделать на земле,
Отдельно взятой!

Вас ожидают горы зла
И холод жуткий.
Всё христианство и ислам
Пройдут сквозь муки.

Но вам осмыслить не дано,
Ни вам, ни прессе,
В чём этот принцип домино —
Смут, войн, депрессий.

Всегда в одной руке держу
Двух злобных измов:
На их побоища гляжу
С большим цинизмом.

И Букингему, и Кремлю
Даю брильянтов,
И в свите Господа кормлю
Коллаборантов!

Искусно в каждую семью
Несу раздоры.
И продают страну свою
Мне компрадоры.

Даю им займы вновь и вновь,
Но разносрочно.
А если где струится кровь,
То дело прочно.

Пока задиристо глядят
Китай, арабы.
Но уж и там взбухает яд.
Пришла пора бы!

А вседержители — родня
В своей основе,
И понимать должны меня
С полполуслова!

И несмотря на вой и стон,
Теперь уж быстро
Я превращу Совбез ООН
В моих министров.

Не оросит моя слеза
Мои дороги.
Но будут ноги мне лизать
Земные Боги!

Теперь деньки мои легки,
Я так банкую:
Забрать способен за долги
Страну любую.

И вашу землю заберу
Клешней мохнатой.
А православие сотру
С земли покатоЙ!

Сижу в соборах подлецов
В любых столицах.
Не узнают моё лицо
Во многих лицах.

Я вызываю их к себе,
Моих клиентов,—
Самодержавных особей
И президентов.

Но появлением своим
Их не балую.
Им выдают ЦУ мои —
Мои холуи!

Я даже Божье естество
В упор не вижу.
Держу у сердца одного —
Того, кто ближе!

А ближний мой — сам Сатана!
Зачем нам третий?
Я сам в любые времена —
Второй на Свете!

Иду в задрипанном пальто
Любым проспектом.
Встречаемые мной — никто!
Я — всё! Я — Некто!

Декабрь, 1997 г.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ...

На улицу дворники вышли.
Сбываются наши мечты.
Ах, как бы приветствовал Пришвин
Такую весну чистоты!

Всё чисто! Куда ещё ехать?!
Живём на подножных кормах.
Нам незачем шарить в сусеках
И зря шебаршить в закромах.

Всё чисто! Весна изобилья!
Иду прошлогодним жнивьём.
Мы зверя и птицу убили,
И душу, похоже, убьём!

Всё чисто! Весна Интернета!
Весна грандиозных затей,
Буквально всего, чего нету
У самых у русских людей!

26.06.1999 г.

СТУЧУ

Умом такого не объёмлю.
Но Бог ведь прямо говорит,
Что небо новое и землю
Он непременно сотворит.

Но, дорогие, это значит:
Благому ведомо допреж,
Что мы не справимся с задачей,
Не достигнём его надежд.

Но, дорогие, это значит,
Хотя он к нам не охладел,
Мы пожелали жить иначе,
И нами дьявол овладел.

Но, дорогие, это значит:
Во зле погрязших не спасут
Надежды наши на удачу —
Всех ожидает Божий Суд!

Но, дорогие, свято веря,
Что хоть кого-то залучу,
Я, малый сей, у вашей двери,
Стою у двери и стучу.

23.11.1997 г.

НЕ УБИЙ!

Лукавцы шепчут нам, что Боже
Из-за гнетущих нас грехов
И не хотел бы, да не может
Не насылать на нас врагов.

А мы, мол, выйдя из терпенья,
Определяем их на слом,
Но, к сожаленью, не уменьем,
А, к оскорблению, числом.

Окститесь! Против преисподней
Откуда нам бы силы брать,
Когда бы ангелы Господни
Не укрепляли нашу рать?!

Но то, что, ставя точку в споре
В столицах их по временам, —
Не доблесть — срам, не гордость — горе
И им, и, к сожаленью, нам.

Уловки лживые известны.
А мы и вникнуть не хотим.
На голос дьявольский из Бездны,
Как мотыльки на свет, летим.

Не будет вечного творенья
Среди безгласных и витий
Без всеблагого озаренья
Господним словом: не убий!

16.02.1998 г.

ЖЕЛАЮ ВАМ ЖЕЛАЕМОГО ВАМИ...

Епископу
МАКСИМИЛИАНУ

Снуют, колдуют и камлают
Миссионеры разных стран,
И «Розы мира» навевают
Экуменический дурман.

Широкий выбор перед нами
Их конфессиональных «блюд».
Растерян, вертит головами
Атомизированный люд.

Идя дорогой чести строгой,
Тебе, Владыка, надстоит
Предстательствовать перед Богом:
Пусть Он нас, грешных, вразумит.

Январь, 1997 г.

* * *

Памяти
Владимира Степановича
и Нины Витальевны
ЖЕЛЕЗНЯКОВ

Судьба сурова к ним была,
Но вместе в Вологде свела.
И жили здесь, как голубки,
В. С., Н. В. Железняки.

Его история влекла —
Былые славные дела,
Российской жизни полоса,
Её живые голоса.

Монахи, кравчие, псари
И православные цари...
Писал их так, что видел свет:
Предателей на троне — нет!

Хранитель памяти людской,
Там был Ванюша Слободской,
И Пересвет, и Гермоген —
Крепители державных ген,
Владелец православных дум —
Высокий духом Аввакум.
Сам Достоевский — будто храм —
Провидец горьких наших драм,
Который, прошлым «бесам» вслед,
Был новым страшен сотню лет!
И тихий Сергей, чьи персты
Народов сдвинули пласты,
Донской Димитрий, чьё плечо
Русь всколыхнуло горячо,
А рядом — мудрого мудрей —
Серпуховской братан Андрей.
Ещё сгодятся на веку

Такие в запасном полку!
И сам, конечно, Железняк
Пригоден был бы в дни атак.

Её стихия — кисть и холст.
И незатейлив был и прост
Её пейзаж и натюрморт:
Любой цветок был жизнью горд!

Но уж почти на склоне лет
Очаровал её портрет.
...Сидит — лицо без облачков —
С гармошкой Александр Рачков,
Порыв мятущейся души
Улыбкой хочет притушить.
А у отцовского угла
Такая трещина легла!

Вот эти — молодь. А на той
Балакшин Роберт, как святой
Руси прозаик и поэт.
И всё-то в нём — добро и свет.

Вот Оботуров. Худ и прям.
Бескомпромиссен и упрям.
И если скажет иногда,
То слово искреннее — да!

Друзей у них был узок круг,
Но Оботуров был их друг,
Про них он так без похвальбы
Сказал: они — «сильней судьбы»!

Вот Шириков — в своей дали —
Он эхо слушает земли.

Гармония душевных струн
В портрете Олечки Шекун.

И если вдруг бы встали пред
Глазами автор и портрет
(Со всем присущим знаку лет) —
Любой бы сразу возгласил:
— Красавицы!
— Всяя Руси!

Железняки!
Вы далеки,
Побеги ж ваши так крепки,
Что пронизают толщи стен
И той, и нынешней систем.
Пусть вы не клали этажей,
Но с вами город зрел в душе!

Возлюбленные между нас!
Слова сии —
наш общий глас.

Возлюбленные меж собой!
Да уготован вам покой,
Признание в памяти людской
Ныне и присно!

Октябрь, 1997 г.

ФАЭТОН

*М. В. Копьеву
в связи с «Портретом
Игоря Северянина»*

Сиреневым бредом окутан,
Мечтая в призывную тишь,
Сиреневым звуком как будто
Сиреневый бред говоришь.

Чаруемый бредом и звуком,
Вживлённый в его перелив,
Ты волен искать и аукать
Волшебные сказки Земли.

...Вдали, ожидая поэта,
Размытому общему в тон,—
Дрожит тетивой арбалета
Готовый взлететь фаэтон!

Опять обернуться планетой,
Опять разлететься в куски
И с солнечным рухнуть поэтом
В сиреневость близкой реки.

И это, и много другого,
В сиреновой скрытого мгле,
По мудрому слову Копьёва,—
След Бога на этой Земле!

02.11.1997 г.

ЧАС ПРИЗВАНЬЯ

Памяти Сергея Преминина

Не по прихоти капризной
Наступает в жизни час,
Час, ценою равный жизни,
Час для избранных из нас.

Как когда-то мудрый Минин
Спас великую страну,
Нынче наш Сергей Преминин
Поглотил собой войну!

Как товарищи — герои,
Сознавая гибель сам,
Смертью смерть поправ, собою
Человечество спасал!

НА ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА РУБЦОВУ

26 июня 1998 г.

Озябший средь божьего лета,
С дорожною думой в мозгу,
Опять ты стоишь без билета
В толпе на крутом берегу.

И как ни томись, ни надейся —
Такое тебе не впервой —
Не будет отрадного рейса
На Тотьму, к Николе, домой.

И ты поневоле, как птица,
Начнёшь про себя напевать.
Есть птице водица напиться,
Нет птице гнезда ночевать.

А люди в трудах беспредельных,
Забыв про житейский уют,
В вагонах, забоях, котельных —
Везде твои песни поют.

Твоё вдохновенное слово —
Открытый, прямой самосуд —
Блистательно Шилов и Громов
По русской земле разнесут.

И то, как, рождённый из песни
Энергией моря и скал,
Твой облик, земной и небесный,
Шебунин из рук выпускал.

.....
Нам вещие сны — до порога,
До срока — металл и гранит.
Но голос и образ пророка
Вселенская воля хранит!

1 июля 1998 г.

* * *

Общенароден,
Беспороден,
Подвержен яростным страстям,
Всегда и явно неугоден
Ты тем и нынешним властям.

По судный день, видать, пребудет
Такой вот странный оборот:
Не власти неуютны людям,
А власти мерзостен народ.

В пороке — Савл,
А в славе — Павел?!
Но ты в страдальческой судьбе,
Ты имя русское прославил
Единством сущего в себе!

Томим грехом и ясен светом!
Ты свой выпячивал порок,
Казня его!
При всём при этом
Грехом и светом ты пророк!

1998 г.

* * *

Ах, Рубцов! У тебя ль
Да была не пора ли?!
Открываем теперь
Твою дверь:
Благодать!
Прожалели тебя,
А себя проорали!
И у друга, как встарь,
Уж попросишь едва ли
Не стопарь, не сухарь —
Просто руку подать.

25.04.1999 г.

* * *

...Озяб ты. Да, осень — не лето.
Помог бы — прости, не могу.
Хоть знаю, стоишь без билета
В толпе на моём берегу.

Томись, предвкушай и надейся.
Такое тебе не впервой.
Дождись отменённого рейса,
Он будет. В Ни́колу — домой!..

ДОМ ПЕЧНИКА ШИШИГИНА

В. Н. Страхову

Шишигин был печник-ведун,
Гонитель духов зла,
Не то что тайны наших дум —
Он тайны глины знал!

Был дом его — то видит всяк —
Укрытием от зол.
В нём не держали злых собак,
Держали хлеб да соль.

А то, что власть — всегда напасть,
Он создавал в уме,
На чёрный день и чёрствый час
Укроминку имел.

И только маленький внучок
Как взломщик тишины
Знавал про дедов тайничок
От власти и жены.

Художник!
Ты-то как проник

В его семейный лад,
В его души святой тайник,
В давно былой уклад?!

Как смог укрыть свою тоску
За ласковость мазка?
Ты кистью каждую доску
В опушке обласкал!

И я нередко здесь брожу
На склоне горьких лет.
Здесь русским духом я дышу,
Когда дыханья нет.

Май-июнь, 1998 г.

ПОРА!

А. С. Шилову

Я ухожу. Мой срок назначен.
Придётся, братцы, без вина
И без намёков на удачу:
Куда же денется она!

Я утомился под вожжою,
Устал играть наперебой.
Я оставляю всё чужое,
А всё своё всегда с собой.

А своего-то в этом мире
Не больше, чем у голыша,—
И то без жалости отринет
Собою полная душа.

Потом, возможно, между делом
Признает из далёких мест
Размытый холмик с бывшим телом
И вами вытесанный крест.

Ей больше нет опоры в теле,
Как нет её в родном краю.
И на земле, от снега белой,
Я, как на облаке, стою.

27.11.1998 г.

БЕЗ СОЖАЛЕНЬЯ

В. А. Оботурову

Таится в недрах подсознания,
Что уготован долгий путь
Тому, кто хочет вместе с нами
За грань земного заглянуть.

Узреть туманно-гордым оком,
Что позади, что будет впрямь.
Всего-то надо: скинув кокон,
Без сожаленья отлететь.

Тогда, как Сам Хозяин в Доме,
Любой бы мог легко листать
События, как дневник в альбоме,
От Аза грешного до Ять.

Увы! Дневник в безмерном поле
По воле Господа возник.
У нас — лишь временные роли,
Мы — иллюстрации в дневник.

В нём толщи лет не оскудели,
Но так спрессованы во дни,
Как будто пряжа из кудели —
Прочны, но призрачны они.
Легко витать в бесплотной неге!
И по путям искусных ген
Неандертальцем можно бегать,
Крушить иль строить Карфаген.

А вон — узнаешь поимённо —
В толпе таскают до сих пор
Багрово-алые знамёна
И полосатый триколор.

Какая разница, однако,
Какой лоскут таскать в руке!
С любым удобно ехать флагом
Им на российском мужике.

А чуть вперёд листнёшь страницы —
Опять в смятеньи будешь млеть:
Такие лица в небылицах
Явленны будут на Земле!

И вот захочешь ты подправить
Неотвратимость впереди,
И соблазнительно охватит
Рукою Господа водить.

И тут не будешь ты покинут,
А воплощённый наяву,
Очнёшься, может быть, скотиной
В когда-то собственном хлеву.

И будешь сытостью доволен,
А память будет отнята
О проявлении бывшей воли —
Бывала воля, да не та!

...Вечерним солнышком согреты,
Листаем жизненный альбом,
А дух, как дым от сигареты,
Истаять хочет в голубом.

Да, человек — не то, что видишь,
Не взгляд, не разум, не пальто.
Тогда к чему нам этот имидж,
Скажи: мы кто по сути, кто?

В нас тьма времён привычных тает,
Нам вокруг себя сто крат видней.
Но Боже! Как в нас не хватает
Под этим небом этих дней!

15 февраля 1999 г.

* * *

*Памяти
Светланы Савичевой*

Во тьме всегда яснее видны
Вдали горящие костры.
Мы это помним, очевидно,
Ещё с младенческой поры.
Но, огрузясь своей посудой,
Своим и солнцем, и дождём,
Степенно выплывая в люди,
Костров в ночи уже не жжём
И только смотрим удивлённо
С балкона каменной норы,
Как непомерно удалённо
Над головой горят костры.
От них ни копоты, ни дыма,—
Видать, отличные дрова.
Ах, тех бы дров неукротимых
Да в нашу печь нашуровать!
...Да, там огнями обозначен
Во тьме глубокой Млечный брод,
А здесь — как будто наудачу
Оставлен город и народ.
Пора придёт — и мы оставим
Недолговременный приют,
В котором бесы сбились в стаи,
Глумливо прошлое листают,—
Туда, где ангелы поют!
Где, обозначенный кострами,

Во тьме глубокой Млечный брод.
...Но кто из нас между огнями
Давно саднящими ступнями
Неопалваемо пройдёт?

Июнь, 1997 г.

* * *

*Бабушке
Апполинарии Николаевне*

Твоё жилье бедно и чисто.
Светлы оконные глаза.
А за лампадкой золотистой
Лучатся строго образа.

Просторно молвить:
Здравствуй, здравствуй!
Шаги неспешные легки.
Всё лето пахнут свежим настом
Весёлые половики.

А как отзывчивы на слово
И на туманности в глазу
Любой сучок в бревне еловом
И мшинка каждая в пазу!

...Запас отрадного покоя
Ещё со мною наяву.
Среди всемирного разбоя
Я этой памятью живу.

08.03.1999 г.

* * *

О. Д.

Бреду житейскими межами,
Переживаю каждый миг,
Как будто не был он меж нами,
Как будто только что возник.
С годами слёзы умиления,
Приливы нежности таю.
Как центр всемирного томления,
Перед тобой сейчас стою.

2.06.1999 г.

ЛЕТИ!

Маше

Лети легко и босоного
По той земле, что всех родней.
Их будет — солнечных — так много,
Как и у нас, бывало, дней!
Тебе и радостно, и мило,
Тепло от добрых голосов,
Как будто землю охватило —
Всю! — золотое колесо!

Лети, как спица в колеснице,
Навстречу будущим летам!
...Каскад каштановый струится
Волос роскошных по пятам.

Июль-октябрь, 1997 г.

КРЫЛАТКА

Лизе

Твой взор безоблачен и ясен,
А носик, вздернутый слегка,
Для божьей твари неопасен:
Он не годится для клевка.

С тебя, крылатки, взятки гладки.
Ты только с виду гладь да тишь.
А зазевайся — без оглядки,
Как свет небесный, улетишь!

Твои заботы не о хлебе,
Твои стремления — смелей:
Ты каждой клеточкою в небе
И лишь перстами на Земле!

Июль, 1998 г.

* * *

Г. И. Соболеву — 60!

Ты — мэтр, ты — воин, ты — один
Среди поющего народа,
В ком слово — делу господин,
В ком голос мужеского рода!

Тебе внимая, из руин
Любой израненный восстанет!
Ты — мэтр, ты — воин, ты — один
Воистину «певец во стане»!..

1998 г.

ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ

Г. И. Соболеву

В центре Вологды воспетой
На одном из добрых мест
Островок тепла и света —
Особняк старинный есть.
Сохранён людским старанием,
Не в одних побыв руках,
Дом Дворянского собрания
В четырёх живёт веках.
...Позолота, свечи, люстры,
С медальонами карниз,
Утончённые балюстры
В переходах вверх и вниз.
А в фойе, залитом светом,
Мастерски сотворены,
На народ глядят с портретов
Императоры страны...
...Оба были в этом зале!
К удовольствию зевак
С упоением танцевали
Модный польский краковяк.
...А на сцене белым дивом,
Будто сроду тут стоял,
Станом выгнувшись игриво,
Белый царствует рояль.
Он и молча делу служит,
Он всегда несёт добро,
Он и молча чистит душу,
Будто воду — серебро.
Что бы там ни говорили,
А рояль как будто ждёт:
Вот сейчас войдёт Гаврилин,
Ах, какой возьмёт аккорд!
Слякоть, стужа ли снаружи
Или тополь сбросил пух —
Здесь оттаивают души,

Вызревает русский дух!
Чтобы всюду наших знали!
Чтобы радовались мы,
Как сияют в этом зале
И таланты, и умы.

11.02.2003 г.

* * *

Т. Г. Коротковой

Язычок на Двинуце отточен.
Голосок, как у пеночки, точен.
Попадаю под тайную власть.
Твой напев единичен и сочен,
И гармонией дух озабочен,
А мелодия — нега и страсть.

Я, Татьяна, люблю тебя очень!

Июль 1999 г.

* * *

*Юбилею
300-летия Российского Флота*

Ну-ка, горькую налей:
Флота нет, есть юбилей.

1998 г.

СУТЬ

Новорусам

Соединяйте капитал!
Не тот, что Маркса пропитал,
А тот, который, как металл,
Врагов России разметал!
Который тащат на куски,
Во власть пробравшись воровски.
Разоблачайте миф и блеф
Про добродейство МВФ!

Соединяйте русский дух!
Он лишь у купленных протух.
У нас путей — ни трёх, ни двух —
Один! Без войн и без разрух
К освобождению от пут —
Один державный русский путь!
В нём — суть!

Март-апрель 1998 г.

ОПТИМИСТ

— Метель, мороз! Повяли уши,
И птицы гибнут на лету.
В крови озноб, а в сердце — стужа!
Доколь продлится этот ужас?
А то и жить невмоготу!

— И у меня прогноз унылый.
Но старожилы говорят,
Что правоверное светило
Своим теплом не обходило
Нас много тысяч лет подряд...

26.11.1998 г.

ПОЖЕЛАНИЕ

Желаю Вам желаемого Вами!
Но чтоб потом не чувствовать вины,
Желания должны быть внушены
От БОГА исходящими словами.

Декабрь 1997 г.

Рассказы

НАЗОВИ ЕЁ РОСИНОЙ!

«Здравствуй, дорогая моя Любочка, сказка-синеглазка!

Сейчас сижу в машине, дежурю. Пришли инженер с техником и рассматривают надпись на плоскости моего самолёта, сделанную тобой: «Жду тебя!»

...Снова пишу после трудового дня. Девять часов вечера, только что пришёл с ужина. Сегодня был горячий день. Сбили трёх «фоккеров», но и нам досталось. Погиб Матвеев, подробности описывать не буду. У меня струей воздуха вырвало дверку кабины, вместе с ней улетел планшет.

Люба, ты только не волнуйся, когда я пишу о таких вещах. Сама недавно отсюда и прекрасно знаешь, что к чему.

Находимся на новой точке. Очень пригодилась твоя подушечка. Всегда беру её в самолёт, приятно думать, что ты со мной. Держал во сне на руках нашего маленького. У него уже прорезались зубки. Когда же это будет не во сне, а наяву? Передавай привет родным.

Крепко целую. Твой Николай».

«Нежный мой! — недопустимо медленно шло на запад письмо из далёкой Читы. — Считаем дни. Считаем часы.

Из города уже многие эвакуированные уехали в родные края, и мы снова живём в двух комнатах. Мама говорит, что одна будет наша.

А я всё вспоминаю наш добрый шалаш... Скоро нас будет трое. Николай Николаевич (я его мысленно называю так) весь в папу. Тоже во сне кого-то тузит. Наверно, будет лётчиком. Так иногда ткнёт, что разбудит.

Ты не переживай из-за нас. Родов я не боюсь. Береги себя. Шьём приданое. Ждём и верим.

Целуем. Спасовы. 25/II-45 г.»

На вечер отдыха собрался весь наличный состав эскадрильи. В столовой было жарко. Рыжий худой поляк с длинными сухими, как клавиши аккордеона, пальцами играл вальс «Берёзка». Девочки расшалились, как школьницы. В своих небогатых гражданских нарядах они скользили по неровному полу, увлекая кавалеров. Ребята взмокли. Лорду было, пожалуй, труднее всех. Воспитанный в семье интеллигента-коммуниста, разговаривавший с мамой на вы, сейчас он вынужден был на чрезмерно близком расстоянии вести свою партнёршу Катеньку, держать руку на её талии и чувствовать этой рукой мягкие изгибы её тела. Он был строен и красив: широкие, всегда развёрнутые плечи, умный открытый взгляд, густые тёмные брови, светло-коричневые глаза, прямой, слегка утолщённый нос, абрис верхней губы точно соответствовал очертаниям спортивного лука. Всё это в сочетании с именем Эдуард вполне соответствовало его прозвищу. Он готовил себя к научной работе, но война внесла свои коррективы в его планы.

Танцуя с Катенькой, он мучился одинаково сильно физически и морально. Лоб над переносьем бисерился капельками пота. С трудом переставляя ослабшие ноги, Лорд ждал конца танца и отвечал Катеньке, глядя в сторону.

— Ах, «Берёзка»! Ничего нет любимей «Берёзки». Так и хочется скинуть все это, — Катенька тряхнула плечом, — и бегать, валяться в траве, купаться в реке — в счастье!

— Я тоже люблю... любил, — поправился он, — купаться.

— Правда? Мы уговорим комэска... — обрадовалась Катенька.

— Когда? — спросил он, не глядя на неё.

— Весной, — сказала Катенька.

— Весной будет Победа. Полная, и мы... Аккордеон умолк.

— «Ручеёк!» — объявила ведущая. Все захлопали, засуетились, стали шумно, как школьники, строиться.

Полковник Сизов — Царь Небесный — утомлённо подошёл к столу, плеснул шато-икема, выпил и сел. Ему было сорок, и он по-доброму завидовал молодым. Но он не мог не думать о том, что, возможно, уже через какие-то часы кто-то из этих ребят уже никогда не вернётся из полёта.

Молодость! В нём самом всё было молодо: взрывная сила, азарт и мужское озорство. Бывало, когда разговаривал по телефону с младшими по званию, вдруг неожиданно в конце разговора орал: «Как стоишь? Я тебя насквозь вижу. Ты кто: царь небесный или олух царя небесного? Левую руку под ремень! — секунду выжидал и: — Марш в столовую — и чтоб ногтя не под-

сунуть!» — и улыбался, довольный своей проказой. Каждый новичок у него оказывался в олухах, но быстро оперялся в орла.

Сейчас орлы Царя Небесного с топотом и визгом текли «ручейком».

Молодость! Ему в «ручѐк» играть уже не хотелось. Он смотрел на девушек и понимал, что скоро снова прольются слѐзы, и горе надолго захлопнет открытые женские души.

«Всем бы девчонкам уехать, думал он, как уехала Люба Спасова. Уехала и увезла ещё одну жизнь... А где сам Спасов?» — он оглянулся.

— А где Спасов? — о том же спросила Катенька у Лорда.

И в это время вошёл Спасов. На нём была не очень чистая манишка с воротником жабо, чёрный фрак и чёрный блестящий цилиндр. И только вместо штиблет торчали носки начищенных армейских сапог.

Все оторопело смотрели на выходца из прошлого века.

— Вольно! — сказал Спасов и засмеялся.

Аккордеонист заиграл краковяк. К Спасову подлетела Ирина Драгина, помощник начальника политотдела полка по комсомолу.

— Коля, как Любочка? Пишет? Здорова? Не родила? — вопросы вылетали в такт музыке. Она решительно держала руки Спасова своими маленькими, но удивительно крепкими пальцами. Сегодняшний вечер был для неё «мероприятием», она единственная из девушек была в форме, и это, считала она, давало ей право на прямые вопросы.

— Родила! На руках держал! Зубки прорезались! — тоже в такт музыке отвечал Спасов с широкой улыбкой, поправляя цилиндр.

Ирина не ждала такой ерунды в ответе: что он, свихнулся? И не успела обидеться, как он добавил:

— Сам видел. На днях. Во сне!

* * *

...Когда Спасов прибыл в сто четвёртый Краковский истребительный полк, ему велели принять «двадцатку» — истребитель с несколькими заплатами на фюзеляже и крыльях. Механик доложил, что машина готова к вылету.

У пулемѐтов возился невысокий оружейник и чисто женским голосом напевал:

«В этот час ты призналась, что нет любви...»

Эта томная мелодия так не вязалась со всем окружающим, что Спасов обозлился.

Он резко повернулся, чтобы одёрнуть певца, и увидел кудри русые, улыбку мягкую, девичьи весѐлые глаза. Тактику пришлось менять на ходу.

— Старший лейтенант Спасов! — строго представился он.

— Младший сержант Спасова... — козырнула девушка и, чтобы как-то отделиться от него, добавила: — Люба.

Спасова? Он сконфузился, замялся, и в смятении подумалось, да, подумалось сразу, а сказалось после многих боевых вылетов:

— Тебе, Люба, очень бы удобно было выйти за меня замуж, не надо фамилию менять.

— Война идёт, а он — замуж! — сказала она.

...Свадьбу справили шумную. Полковник Сизов — Царь Небесный, летавший ведомым у самого Покрышкина, самочинно представлял родителей обеих сторон и щедро выделил молодым жилплощадь — палатку-шалаш вблизи общежития лётчиков на самой опушке леса.

До свадьбы они успели понять только главное друг в друге — надёжность и искренность. Но единственным получался тот вывод, который и в самом деле для них был главным: они не могли не встретиться.

Люба шестого августа 1936 года в родной Чите на центральном стадионе «Динамо» встречала вместе со всеми прославленных героев-лётчиков Чкалова, Байдукова и Белякова. В конце встречи в стайке девчонок в пионерских галстуках она взлетела на трибуну и, забыв наставления, звонко выкрикнула, повернувшись от микрофонов к гостям: «Тысячи пионеров желали бы присутствовать здесь, быть рядом с вами и пожать ваши руки! Мы гордимся вашим подвигом и клянёмся быть достойными вас!»

Стадион не расслышал, но понял и заплодировал. В ту пору все сердца кричали об одном: «Быстрее! Выше! Дальше!»

Лётчики переглянулись. Чкалов пробурчал, сверкнув белками: «Я бы в лётчики пошёл. Пусть меня научат!»

А Люба в самом деле пошла. В мае сорок второго она стала курсантом Невинномысской школы младших авиаспециалистов. Потом с завистью и тревогой смотрела в небо, ожидая самолёты, подготовленные к бою и её руками. Из ребят ей больше всех нравился Лорд. Но она и представить не могла, что может ему понравиться тоже. Это ей казалось невозможным.

Многие из девушек в этом возрасте имеют в воображении расплывчатый идеал предмета любви. Люба имела конкретный: Лорд. Красив, храбр, образован и награждён. Но она не связывала себя даже в воображении с Лордом, а Спасову, наоборот, и имя-то своё сказала, чтобы не только отделиться этим от него, а с лукавой надеждой на что-то хорошее. У него тоже, как и у Лорда, было тринадцать сбитых самолётов, но те же ордена сияли теплее, форма выглядела обношенней, прямые тёмные волосы рассыпались привольней, улыбка цвела добрее, небольшой нос казался гораздо симпатичнее.

Путь в небо он начинал с синяков, полученных в детстве при прыжках с трамплина у Каменного моста, с парашютной вышки на болотистом лугу Вологды, с многолетних бдений около аэроклуба под ротондой на теперешней улице Челюскинцев, а позднее — занятий в нём и на маленьком аэродроме за Прилуками.

В начале сентября сорокового года они с инструктором летели над высоким западным берегом Кубенского озера, над Березниками, над никому ничего не говорящим Дилялевым, над Новленским. Сильно трясло. Часто встречались «ямы». Продолжительное ненастье отступало широким фронтом. Туча тяжёлым толстым валом катилась за озеро, в Заволочье, и там густо синела, освещённая холодным солнцем.

— Спасов! — крикнул инструктор.

— Что?

— Монастырь! Каменный! Смотри!

Спасов скосил глаза. Километрах в пятнадцати-двадцати слева по синей зыби волн плыл сказочный храм Спас-Каменный. Он бликовал под солнцем, покачивался и скользил навстречу и мимо. Вдогон за ним из синей завесы выдвигался, увеличиваясь, квадратный парус устьянской церкви.

— Умели деды строить! — воскликнул Спасов и повернул. Инструктор понял и промолчал. Всё равно надо было скоро заходить на посадку.

Внизу расплеснулось озеро. Оно ещё ходило барашками, но успокаивалось особо приметно под западным берегом. От тёмного ствола фарватера причудливо тянулись по дну каменные гряды, песчаные косы и отмели, на поверхности струились нервные жгуты водорослей.

А справа уже вспыхнула золотом глава вологодской звонницы. Под крыло легло озеро... «Как росинка в лепестке», — подумал Спасов. Самолёт разворачивался на посадку.

Позже, взлетая в Батайске и с десятков военных аэродромов, Спасов мечтал пережить тот же восторг, но увиденное над Кубенским озером уже нигде не повторилось, зато и жило в душе единственным, неповторимым образом Родины.

* * *

...Глаза Ирины выражали неотступную заботу. Несомненно, она была в курсе основ военно-стратегической обстановки и пыталась влиять на неё на своём невеликом, но стержневом посту. Тактика врага менялась. Боевых машин у него становилось всё меньше. Но при наличии большого числа хорошо

оборудованных аэродромов фашисты могли вылетать массированно, затемно преодолевать расстояние до наших аэродромов и скоплений войск и техники; днём пользовались услугами ослепляющего солнца; парами вылетали на вечернюю охоту, внезапно нападая на возвращавшихся с заданий наших ребят. А у тех, как правило, почти сухие баки и пустые патронташи. Но на врага не обижаются. Его бьют. Умело. Расчётливо. А наши порой зарываются. Вот в чём беда! Скорее, скорее! Будто от них только и зависит победа! Не все, конечно. Но большинство. У Лорда кончился боекомплект в разгаре боя. Он стал выходить — быть бы ему сбитым! — но Матвеев хлестнул перед «фоккером» загадочной очередью. И подставился сам. А Спасов? «Зубки прорезались!» Костюм маскарадный натянул. Ещё азартнее во всём. Этот и безоружный из боя не уйдёт. Будет мелькать, путать, провоцировать врага...

Кончился ужин. Спасов уже был в форме. Костюм Онегина он снова аккуратно уложил в баул поляка. Тот всюду таскал с собой этот странный реквизит из разбомблённого театра. К летчикам поляк попал не случайно, а чтобы вернуть хозяину найденный им планшет, тот самый, который «выдуло» из кабины Спасова.

Он тихонько перебирал клавиши, и вдруг аккордеон издал такой пронзительно-чистый и долгий звук: та-а-а, что даже те, кто не слышал музыки Огинского, догадались, что сейчас прозвучит нечто значительное.

Спасов, счастливый тем, что получил, казалось, безнадежно утерянный планшет, в котором были письма Любы, и на радостях позволивший себе выходку с переодеванием, был захвачен музыкой полонеза. Он вдруг ощутил, что уже пережил однажды нечто подобное. Его память мгновенно воскресила картину: тяжёлый вал туч, освещённых холодным солнцем, валится в Заволочье, встаёт непроницаемой синью, а из неё ликующе выплывают белый лебедь Спаса-Каменного и белый парус устьянской церкви. Тогда он не успел погрузиться в созерцание: уже виднелась посадочная полоса. Даже немалое озеро Кубенское мелькнуло перед глазами, оставшись в сознании росинкой в лепестке. Сейчас можно было не торопиться, и он весь отдался музыке.

Ирина точно оценила момент. Сама глубоко взволнованная, она поняла, что в такие минуты не может не высказать наболевшее.

Она сказала, что победа близка, но враг ещё силен, изощрён, разнообразит тактику (она посмотрела на Сизова и уверенно продолжила), нападает исподтишка на наши беззащитные самолёты, возвращающиеся домой. И предложила, опять посмотрев на Сизова, не расходовать в разведке (только в разведке! — подчеркнула она) весь боекомплект, приберечь часть его на случай возможной встречи с противником. Она, конечно, залезала не в свои сферы, но понять её было можно.

Все заговорили, обсуждая разные варианты. Царь Небесный не вмешивался. Он знал, сколь мгновенны в бою решения и от сколь многих, даже неувеличиваемых, причин зависят они. «Хорошо бы, хорошо бы». Но что-то в предложении Ирины ему не понравилось. На разборе он строго указал Лорду на то, что тот выбрал неудачный момент выхода из боя. На большее полковник не имел права, хотя внутренне был убежден, что лётчик не должен бросать (да, бросать!) товарищей, если машина цела.

— Ограничители, что ли, на оружие ставить? — сыронизировал Лорд.

Спасов, раздражённый поступком Лорда и не смирившийся с гибелью Матвеева, немедленно возразил:

— А я пойду в таком случае даже на таран.

Девушки вскинулись в горячем протесте.

— Если, конечно, не будет других шансов, — пришлось добавить ему. Но эту фразу не услышали, да и слушать бы не стали. Наперебой приводили доводы, что теперь не сорок первый год, наше преимущество полное, спешнаглости ой как убавилось у врага, обидно гибнуть на пороге Победы, зачем вести счёт один к одному, если можно...

— Стыдно удирать от врага. Позор! — сказал Спасов.

Девушки возмутились: это не бегство, это военная хитрость, не только не возбраняемая, а поощряемая от века: наши самолеты лучше, индивидуальное мастерство выше. «Вы это немцам скажите!» — одинаково подумали Сизов и Спасов.

— Да о Любочке-то ты думаешь? А о сыне? — нашла болевую точку Катя.

— Да. И они помогут мне быть честным до конца! — от смущения немного парадно произнёс Спасов.

Смущение в его голосе уловили. Оно как-то поуспокоило (не сейчас же на таран идти!) и сбавило пыл.

— Спать, наверно, пора, а? — поднялся Сизов. — Утро вечера мудренее.

— Кобыла мерина ядренее, — неожиданно вырвалось у Спасова.

Все засмеялись.

— Это у нас в Вологде так говорят, — начал оправдываться он, хотя и знал, что говорить-то говорят, но, конечно, не всегда, не всегда...

* * *

Лёжа на койке, Спасов досадовал на себя. Сколько бездумных выходов в один день! И с тараном зря выскочил... Нет, всё-таки не зря. То моральное превосходство, боевой задор, которые горели в глазах лётчиков, необходимо было наращивать так, чтобы поджилки тряслись у врага, чтобы, ещё садясь в машину, фашист знал, что обречён.

А смерть? А жизнь? Нет одной без другой. Нет!

Ему стало легче, и некая сентиментальная жалость, что ли, к самому себе, уже почти воображаемому, подсунила в сознание картину: Люба качает кроватку и поёт их ребёнку (он так и не понял, кто это: мальчик, девочка?) колыбельную. Но ни одной колыбельной он не знал. И это оказалось так тягостно, нетерпимо, что он вскочил, раскрыл планшет и задумался, но скоро начал писать.

Грустная, но напряжённая мелодия выводила из памяти простые, нужные слова.

*Твой отец был гордый сокол,
Я о нём спою.
В небе ясном и высоком
Службу нёс свою.*

Перечитал. Задумался. Поразило слово «был». «А, пусть, потом переделаю. Тут просто». И снова взялся за карандаш. Через час он потряс уставшей головой, собрал черновики и переписал начисто.

*Молодой, с горячей кровью,
Полный свежих сил,
Он сыновнею любовью
Родину любил.
И, летая в небе синем,
Бил врага в бою
За росиночку России
Синеглазую!*

Затем он аккуратно уложил планшет, лицо было мягким, довольным. Он лёг, потом вскочил, вынул листок со стихами и крупно наискосок дописал: «А будет дочь — назови её Росиной!», снова лёг и мгновенно уснул.

Это послание Люба получила одновременно с другим письмом, в казённом конверте. Она сразу поняла, которое надо вскрыть первым, и все же попыталась продлить надежду. Наконец превозмогла себя, аккуратно (вот каков бывает человек!) надорвала конверт.

«...Ваш муж... смертью храбрых», — обрушилось на неё, подогнуло колени и погасило сознание.

Полковник Сизов ни слова не добавил от себя, только то, что положено, сообщил. Что положено. Молод он был, но мудр.

Это потом, в июле, перелетая на Дальний Восток, генерал Сизов найдёт Любину обитель и, держа на обеих руках коконы с маленькой Росинкой и Николаем Николаевичем, будет рассказывать о последнем бое Спасова, беспомощно хлопая веками, чтобы загнать под них сочащиеся слёзы, а на него будут смотреть отрешённая, забывшая о детях Люба, её скорбная мать, чистые и как будто осмысленные капельки глаз Росинки и Николая Николаевича.

* * *

Восьмого марта 1945 года полковник Сизов наблюдал с земли, как четвёрка его орлов уверенно разматывает клубок воздушного боя. Врагов осталось пятеро. «Теперь нормально,— с облегчением подумал он.— Сейчас побегут!»

И в это время справа от наблюдателей сверху вниз вывалились из облаков два «фоккера». Они были замечены. Двадцатка («Спасов!») взмыла вверх. «Фоккеры» проскочили. Спасов устремился вдогон, пытаясь поймать в перекрестье прицела ведущего. И он поймал его и нажал на спуск, но в тот момент, когда «фоккер» проваливался в повороте. Мгновение спасло фашиста. Самолёты разошлись, развернулись и устремились навстречу друг другу.

Страшное это зрелище!

Не на твёрдой земле — в зыбком небе, не за щитом — беззащитные, не на борзых конях — в адских машинах, общая скорость которых достигает четырехсот метров в секунду, сошлись Спасов и майор люфтваффе с двумя крестами на груди.

Самолёты стремительно сближались. Оба летчика знали, на что идут. Полковник вдруг вспомнил слова Спасова, точно услышал их вновь: «А я пойду в таком случае даже на таран». Наверное, Спасов понял, что пришла пора... Многое важное для него слилось в этом таране: месть за Матвеева, назидание Лорду, искренность слова, странное понимание того, что так будет хорошо для будущей жизни Любы и их ребёнка. «Быть честным до конца». Так сказал Спасов на том вечере...

Сердце полковника Сизова сжалось, кровь толчками билась в голове.

Прошло секунды три, самолёты выли с прежней силой. «Когда же?» — подумал полковник.

Но самолёты уже разминулись.

В последнюю секунду немец нырком вильнул влево. Сизов увидел, как Спасов (...на врага не обижаются, его бьют!) решительно выходит вверх и вправо. Скорее всего и фашист не захотел удирать, что-то в нём, наверное, воспротивилось этой постыдной мысли. Он тоже направил самолёт вверх и влево, внимательно следя за Спасовым.

Оба они продолжали свой маневр до тех пор, пока снова не легли на встречный курс.

Полковник Сизов почти разгадал первую провокацию фашиста и лишь крякнул в последний момент, хорошо представляя самочувствие обманутого Спасова, практически пережившего собственную смерть.

На войне, казалось, полковник видел всё: победы и поражения, случайные столкновения в воздухе своих и чужих, неожиданные спасения, вчуже переживал за человека, комком летящего к земле со жгутом парашюта.

Но такого он ещё не видел. Только что избежавшие неминуемой смерти лётчики снова шли на смерть. Он понял, что нового обмана не будет.

Спасов тщательно выверял курс, боясь совершить промах. Но лобового столкновения не получилось. Немец дрогнул в последний момент, и смертельный скользящий удар прогрохотал в воздухе. Блестящие брызги осколков, как россыпи фейерверка, со свистом устремились вперёд и недружно упали по разные стороны безымянной для лётчиков немецкой реки...

СЕРЫЙ КАМЕНЬ

I

Юрка жил в деревне Касьянка, в семи километрах от школы. Уходил в школу рано в понедельник, из интерната обычно возвращался в субботу, а в хорошую погоду иногда и в среду.

Дорога долгая. Чего только не встретится на пути в разное время суток да в четыре времени года! Одно и то же дерево — и то всегда разное. Вот посмотрите, верба у тропинки от крыльца к лесу: как размокшая паутина сереет она в осеннее предвечерье, как стог сена сутулится на подлунном снегу, как золотой одуванчик горит в майскую пору — вся в нежных жёлто-зелёных серёжках.

Дальше подступает лес к Залупахе, лес чёрный, тяжёлый. Нередко из глубины его услышишь треск или аханье: это с трудом, но напрочь ломается метрах в трёх от комля лесина или мягко сползает набок по игольчатому меху подроста отжившая ель. Вывороченные и сломанные деревья завалили всю Залупаху, и течёт она, нелюдимая и тёмная, хоть и воды в ней всего ничего.

На другом берегу лес светлее: осинник, ольшняк, много тополя — стояла, верно, здесь раньше деревенька, а есть и вообще солнечные участки: на много

гектаров чистый березняк, лет до полусотни, высокий, редкий, как насаженный, с прямыми стволами и весёлой непышной кроной вверху. На веники рубить — шкурка выделки не стоит, на дрова — рубль перевоз, вот и стоит красота нетронутая от Залупахихи до самого Портомоя.

Ох и названьеца! А и вправду: перешёл Портомоёй — портки помой, подошёл к Залупахихе, особенно в вешнюю пору, — те же портки залупай до пупа, а бабы — подтыкай подолы под опояску. Под стать им и названия деревень: Баландино, Змейцино, Шома, Мармулька, Требабово. В начале тридцатых годов образовался тут колхоз «Новая жизнь». Действительно, пошла, было, жизнь веселее, лучше, да вдруг война. Что и говорить: гвоздя не вколочено было за эти годы в колхозе. Три мужика пришли с войны из всей деревни. Поднимались трудно. Многие уезжали, особенно после укрупнений, когда уехали все, кроме Юркиных отца с матерью. С фронта отец привёз три ордена Славы, носил их, пока не расплозлась гимнастёрка. В колхозе отслужил на всех должностях: от председателя до кладовщика.

Два года назад поставили его бригадиром укрупнённого колхоза. Только не над кем стало бригадирить: всех трёх доярок правление вскоре перевело на центральную усадьбу работать на механизированной ферме. А к опустевшему скотному двору пригородили большой загон с кормушками, с водой из артезианской скважины, нагнали телят — и стал Юркин отец начальником летнего откормочного лагеря, а мать, как и раньше, телятницей.

Про скотину они говорили больше междометиями, понимая друг друга с полуслова, но по-доброму, ласково. На Юрку же особого внимания не обращали, да он и привык к этому.

Юрка почему-то заикался, хотя и не ушибался сильно никогда, напуган тоже не был. А вот заикался — и всё! Летом, правда, гораздо меньше.

В прошлом году мать водила его в медпункт, показала молоденькой фельдшернице. Та посмотрела, послушала, заглянула в рот, надавила язык холодной металлической пластинкой:

— Скажи: «а-а-а».

— Ва-а-а, — давился Юрка.

— Ничего, до свадьбы заживёт, — покраснела фельдшерница от слова «свадьба». — Лекарства ему не на пользу. Вы с ним поспокойней, поласковой. Избегайте отрицательных эмоций. Сердечко бы ему укрепить надо. Побольше на воздухе, без нагрузки. Лицо порозовеет — выправится и речь.

«Сердечко», — ворчал про себя Юрка, возвращаясь домой. Старался вышагивать вразвалку, впереди матери. Незаметно косил глазом на левое плечо, на правое плечо. Во ширина!

«Серде-ечко... А красивая, и пахнет вкусно». Он знал многие запахи: ключевой воды, апрельского снега, осинової коры, земляники, клеверного поля, запах дёгтя, человеческого пота и телячьей мочи, особенно запах родной избы, но такого — чистой девичьей свежести — он ещё не нюхал. «Скудненький! Ишь, гусёнок, вышагивает...— жалела мать.— А фельдшерица — что фельдшерица? Девчонка так девчонка и есть... Надо бабку Авдотью поспросить. Больно скоро песьяк вылечила».

С месяц назад вскочил у Юрки здоровый ячмень на левом нижнем веке. Дня три назревал. Накатился, как японский вулкан на картинке. Склоны сизые, а пик обледенел. Даже из школы Юрку отпустили. Он уже почти не видел дороги: от левого-то глаза только щёлочка отсвечивала, и правый воспалился, покраснел. Голова заболела, самого разжигать стало.

Дома пролежал до вечера. А вечером, когда мать доила корову, пришла бабка Авдотья за молоком. Она не уехала на центральную усадьбу с сыном, осталась в Касьянке до осени, чтобы участок не пропал. Куриц, овец, поросенка, корову — всё хозяйство перевезли. Огород не перевезёшь. Вот и копалась на грядках.

— Что, матушко, заболел? Ну-ко, покажи глазок-от. Повернись-ко к баушке.

Юрка любил эту маленькую добрую старушку. Никогда не пройдёт без ласкового слова.

— Ну-ко, на спинку-то повернись. Вот-вот так... Она положила ему ладонь на нос, закрыв правый глаз, большим и указательным пальцами раздвинула веки на левом — да как дунет в самую середину!

Юрка взвился. «Дура!» — заорал он, крутясь на постели, схватил одеяло и давай вытираться. Нарыв лопнул. Слёзы, кровь и гной размазывал он по лицу.

— Что ты, матушко, что ты, остепенись! — уговаривала бабка.

— Дура, уйди! — надрывался Юрка.

Но дело было сделано. Через час ему стало легче, а наутро проснулся и не вспомнил о ячмене.

— Верное дело, Марьюшка, раз плюнуть — как рукой снимает,— оправдалась бабка перед Юркиной матерью.

...Всю дорогу рассказывала мать сыну, как и куда ходили они с отцом, как провожала его в армию, как да где встречала. Юрка всем видом показывал, что не очень-то и слушает. Однако ступить так старался, чтобы и слова не заглушить.

По дороге и решила Юркина мать спросить бабку Авдотью, что же делать от заикания.

— Ах ты, господи, что за напасти на парня? — сокрушалась бабка на материн вопрос. — Скоро уж гулять будет, а чем девушку уговоришь? Делать неча, что-нибудь изладим. Когда он больше заикается-то?

— О домашнем говорим — дак вроде и ничего, а как про отметки — навроде вздрагивает. Навроде пугается.

— Пугается, говоришь? Вот и ладно. Запугать надо испуг-от. Погоди, я вот ужо зайду.

Сеанс лечения проходил опять навечеру.

Бабка нарочно задержалась, не пошла за молоком, выждала, пока не потянуло из трубы Юркиного дома сосновым дымком.

«Ага, самовар наставили. Скоро за чай сядут. Погожу, невелик уповод... Только чем бы испугать-то? Какую напраслину возвести? Морковь безо время выдергал? Мышонка в молоко спустил? Ну да ладно. Грех бы, парень-от больно хорош, такой смиренный. А и в хворости как оставить? Возьму грех на душу, помолюсь, скажу: «Господи, всё во славу твою».

Размышляя подобным образом, отправилась к рядовым.

Юркина семья сидела за чаем. Бабка нарочно повозилась на нижнем мосту, чтобы залаяла Динка, а когда та свою задачу выполнила, насторожила хозяев, бабка заворчала непривычно суровым, но слабым голосом: «Что уж и за родители такие ноне пошли! Одно дитя — и то шпаной вырастет. Слыхано ли — и на соседнем деле над старухой измываться? Морковь безо время сгубил — ладно, молчу, — она переступила порог, — в молоко то мышонка, то тараканов насадит — ладно, молчу. Драть надо. Вичка ребра не переломит, а ума даст».

Мать быстро поняла замысел бабки Авдотьи и напряглась, а отец начал расстегивать ремень.

У Юрки округлились большие голубые глаза, он побледнел и ждал, что будет дальше.

Бабка, согнувшись в пояснице, выставив добродушное мягкое лицо, наступала, глядя Юрке в глаза.

— Говори, как на духу: ты пошто это опять по гнёздам лазал, ты пошто это опять все яйца вытаскал? — строго вопрошала она, только как-то нараспев, будто сказку рассказывала. Отец насторожился: что-то ему показалось не так. Юрка ненормально захохотал, задёргался, закашлял, посинел. Все с испугом смотрели на него.

— Бабушка, да ведь у тебя куриц-то давно нету! — первая опомнилась мать.

Юрка выскочил из-за стола.

— Нету-у? Ой, матушка, верно ведь — нету! Совсем из ума выжила. Простите мя, дуру старую.

— Зачем тогда мелешь, не знать чего? — рассердился отец. — Я ведь его ещё не нарывал. То в глаза наплюёшь, то... мать твою распротак!

— Как же, андел? Попугать хотела. Со страху-то и заикаться перестал бы. Мать-та сама просила. От слова какой вред?

— Я вот вас, лекари, перебегом вылечу! Садись, пей чай, — ещё сердясь, сказал бабке отец. — Выпадет время — к докторам съезу. Нас вон из кусков собирали... А тут — хе-й! Юрка, иди посмотри на дураков!..

...Но время ехать к докторам не выпадало. Летом своё дело не оставишь, а зимой как Юрку от учёбы оторвать?

Правда, и заикался он не всегда. Когда загонял телят в отсутствие отца-матери, не до заикания было. Тут голос его был свободен и звонок, слова выпархивали легко, как жаворонки. Набегавшись вволю, часто засыпал он прямо в яслях на зелёной подкормке, а просыпался то ли от солнца, то ли от росы, то ли от капель пены с телячьих губ. Однако проходило лето, и Юрка опять превращался в ученика.

Первый звонок действовал на него угнетающе: Юрка начинал заикаться на весь учебный год.

II

Приготовление к празднику Победы были в школе в полном разгаре. Особенно много сделали ребята из Юркиного 7«а». Все дома обошли, разузнавали, кто с войны не вернулся. Списки составили, много фотографий собрали, выдержки из писем выписали.

На уроках труда выпилили фанерные звёздочки, покрасили красным суриком, прибили к домам фронтовиков.

Юрка сам в прошлую субботу приколачивал звезду на своём доме. Отец подошёл, посмотрел, сказал на Юркины объяснения: «Ну-ну». И добавил: «А багорик-то перевесь, чтоб не мешал».

Настроение у Юрки было приподнятое уже несколько месяцев. Вряд ли он понимал, отчего так. В голове у него ещё не вполне рассвело, в отношении к школьному миру не было ясности, но что-то стало нравиться ему в этом мире. Может быть, новая практикантка на него подействовала? А вообще-то она никак и не исхитрялась «действовать». Рыженький очкарик, кнопочка, чуть ли не с Юрку ростом, только пошире. Заводная, как волчок. На уроках интересная. Развесит таблицы, схемы, указочкой потыкает: сравни, докажи,

почему? А то игры затеет, кто внимательней, кто сообразительней? Весело, смешно. Только хохотать надо быстро, а то прозеваешь — над тобой захохочут. А как читает — и всё почти наизусть!

По вечерам в интернате торчит, задания проверяет. «Юра, я тебя спрошу, а ты подумай и помолчи. А потом всю фразу сразу. Понял? Давай...»

На дорогу и то задания. Разговаривай, кричи, ведь с любой ёлочкой поговорить можно.

— А я с воронами ра-разговариваю.

— Ну-ка, расскажи потихоньку.

И Юрка шепчет, полудовернувшись:

— Видали — у фермы воро-он! Сидят, нахохлились, редко шевелятся, голодные. Навоз окаменел, сено да солома под снегом. Вдруг одна летит. «Кар-р!» Я размахнусь и брошу ко-корку. А та не дура: будто не видит, сделает круг, а потом — раз! — и точно на корку. Я ещё брошу — и вот ещё летят. Потом соберётся т-туча. Я в столовой всегда к-корок на-набираю. Тётя Соня уже ругается: поросёнку, говорит, надо. А вороны смышлёные. Узнают уже меня. Сначала с-стороной летают, а как начну бросать — вот содом! Орут, кричат, дерутся, и я ору. Каждый раз до дому проводят. Но только до весны, до корму.

— Ну, молодец. Посмотреть бы!

И возьмёт она гитару, и начнёт петь частушки, сокольские да никольские.

— Слушайте, запоминайте, да и сами записывайте... Послали бы меня в вашу школу работать — мы бы сборничек выпустили. Рукописный бы. Экспедицию бы устроили. За песнями.

— А вы попроситесь, Зинаида Антоновна.

Задумается, все ждут, что ответит, а она: «Ладно, давайте заниматься».

А что «ладно»? Приехала с зимних каникул, всех затормошила, всю жизнь от звонка до отбоя подчинила подготовке ко Дню Победы. День в школе, вечер в интернате, да ещё в клуб на репетиции бегаёт. Просто удивительно. Всё ей тащили: фотографии, старые письма. И всё это разместили на стенде. Он теперь в клубе висит.

Хор сколотила. Даже мальчишки поют. И Юрка поёт. Он стоит во втором ряду и поёт в Тонькин затылок. Та рукой за шею хватается: волосинки-то от его дыхания шевелятся, щекочут. Юрке и хорошо, и чего-то стыдно...

Вот бы всё время учиться у Тюпочки! А то снова вернётся Исполина Пудовна — страх-тоску нагонит. (Учительницу, конечно, звали Полиной, но тайное имя точнее отражало её рост и объём). Любого заикой сделает. Юрка помнит, как с ней познакомился три года назад. На первом же уроке, едва

обернулся к Тоньке за резинкой — шоп-шоп! — Исполина Пудовна как стукнет ладонью по столу, да как взвизгнет: «Встать!» Юрка так вздрогнул. Сердечко зашлось. Он никогда и не слышал, чтобы так орали. После этого попробуй-ка отвечать!

С Тонькой в прошлом году ещё чище вышло.

Стояла у доски да забыла чего-то, тщится вспомнить, морщится. А Исполина — руки за спину, в накинutom пальто, к стенке привалилась.

— Ну... ну... — понукает.

Тишина. Кто бы и рад подсказать, да забыли уж, о чём надо-то.

— Ты, Серякова, чем думаешь?

В классе засмеялись.

Тонька заревела, а Пудовна стала читать мораль. Кто похитрее — слушали её с вдумчивым видом, а Юрка всё ещё видел Тонькино лицо у доски, хотя она уже села и хлюпала носом сзади.

...В коричневом платице с белым передником, худенькая, напуганная, — такой он видел её. Попробуй заступись — свои же задразнят. Вот была бы Тонька сестрой, вот тогда бы он показал! Ходили бы вместе в школу, он бы обе сумки носил, сидели бы на одной парте, и он бы на неё нечасто и незаметно смотрел...

Размечтался Юрка. И от волков сестричку спасал, и на войну, нет, в армию она его провожала. Выходило похоже, как мать рассказывала об отце. Он только чувствовал, что нудная мораль учительницы мешает ему, путает его мысли.

...Нет, Тюпочка бы так никогда не сказала. Про ворон и то слушает. А уж кот интернатского Тюпу с рук не спускает. Как только не назовёт: Тюпик, Тюпок, Тю-почка...

III

Юркина мать под праздник почти не спала. Спину будто собаки грызли. С вечера затворила пироги, обрядила скотину, начала, было, выставлять рамы да вдруг схватилась за поясницу. Просадило, видно. Бросила дела и по скрипучим приступкам влезла на печь. Пока здоров человек — никакого возраста не чувствует. А чуть что — и полезут они, думушки-то.

Кому болезнь в радость? А тут посуды-ка: лес, поляна огромная, дом. Единственный на семь вёрст в округе. В доме печь. На печи — маленькая нездоровая женщина. Одна. Тихо. Радио молчит. Подгнивший столб повалило ещё в апреле упавшей осинкой. Говорила своему — наладь, а что один сделает?

Как в могиле. Положила под голову валенки, голенище на голенище, на них подушку тощенькую, специальную, печную, фуфайку выдернула из-под себя — всё теплее на голых-то кирпичках. Под поясицу ещё валенок подсунула — меньше гложет, если спину изогнёшь.

Перед глазами матица — как литая, восковая, шпильками исчерченная — немало передумано на печи. Вот пятно чёрное, пороховое — память о Санушке. Горько дрожат губы у матери, как подумает о нём. Глубокие глаза наливаются слезами. Ладно, никто не видит. Выкатится слеза, поползёт по виску, по щеке — она подтянет руку, напряжинуется, боясь стронуть поясицу, вытрет щеку и опять аккуратно вытянет руку вдоль туловища. Не больно послушмянный был Санушко. Учиться не захотел. Работал в колхозе. По гуляночкам похаживал сызмала. Гармошка, нож, ружьё да лошади — не было другого интереса. А кто выучивался? Никто как следует. Только те, кому удавалось уйти в РУ, в ЖУ. Это если родственники в городе помогут. А какие у них родственники? В колхозе работы тоже на всё время не напасть. Вот и додурчился Санушко.

Шли раз в апреле с другом по улице. Мать ещё посмотрела в боковое окошко. С Ванькой Марьиным идут. В фуфаечках оба, шапки серые солдатские у обоих на бочок, оба в белых валенках, голенища загнуты, издали галоши блестят. Любо-дорого! Ростиком одинаковы, только Ванька поширокоржее. У Санушка ружьё, централка проклятая. Дорогу-то уж пучило, почернела от навоза, а воробьёв на ней! Разгребают навоз, кормятся...

Ну что паразиты делают? Можно ли в деревне палить? Она опять подбежала к окну.

В обе стороны от дороги на нечистом снегу трепыхались раненые серые комочки. Вот бы как надо выскочить да вылаять, чтобы знали другой раз! Не выскочила. Домой ведь идут, что уж принародно-то срамить! Оба весёлые, хохочут. Затвором передёрнул Санушко, Ванька к ложу тянется. Чего-то замешкались, и Санушко начал валиться набок и на колено уж упал. Только тут её выстрел-то оглушил. Ванька его подхватывает, устанавливает, как было. А Санушко размяк, не держится, валится...

Мать бессознательно повторяет телом его движения, его муку, она в который уже раз готова броситься и спасти сына, и каждый раз ноги отнимаются, как и тогда.

Какое до больницы — до медпункта не довезли Са-нушку! Только и сказал ещё на нижнем мосту, пока лошадь запрягли, чтобы Ваньку не винули.

Вот как ослабнет человек, не может работать, так откуда они и берутся, слезы.

Хоть бы с Юрушкой всё ладно было! Хоть бы ему дал бог здоровья! Она вряд ли верила в бога, она его при случае поминала дай бог как, а тут ночь, до ближайшей деревни семь верст да и не слышит никто...

— Ма-ать, ма-ать! — послышалось ей.

— А? Кто? Чего? — вскрикнула она, но вспомнила про поясницу, притихла. — Ты, отец?

— Чего-то квасу никак не ошарю. Наставь-ко самовар. В Москве-то уж, поди, гимн играют.

— Ой, видно, забылась я. А ты чего больно рано? У кого ночевал-то?

— А когда ночевать-то? Как всё кончилось — сразу и домой. — Он отпил полбанки квасу. — Ну, мать, не поверишь, будто снова в атаке побывал! Знаешь, я ведь, как выпью, чувствую — всё, сразу бегом домой. А теперь уж вон сколь время не брал в рот. Взяло, видать. Ну, бегу, знаешь ведь, там под гору. А тут кто-то пускач завёл, сзади песни орут, а мне одно далось: первым быть должен! Вдруг — жаж! — как на mine, искры да звон...

Очухался уж не скоро. Шарю кругом — цел, воронка не воронка, землянка не землянка, руку вытянул — в накат уткнулась. А чувствую — сквозит. На карачки встал, лезу по скату — где это я? Здания высокие, длинные, электричество горит, как в городе в хорошем. Ни наши, ни немцы не стреляют. Приник на всякий случай, а не терпится, опять голову высунул. — Он замолк и серьёзно выпучил глаза, всматриваясь в устье печи.

— Ну?

— Вот те и ну! Ферма! Ферма оказалась! А я с моста грохнулся! Вот те и кантузия!

— Да ведь, леший, зашибся бы! Одних бы нас в лесу оставил! Что уж нам, тут и сгинуть? — пригорюнилась она.

— Не одних, не ори: не сегодня-завтра телят пригонят, — он засмеялся.

— И чего дурак мелет — самому смешно!

— Верно, смешно. Всё злой был. А теперь отошло. Ну, иди ко мне, иди, всё хорошо, поняла?

Он мягко, успокаивающе обнял жену, похлопал по лопатке, погладил коричневую от непроходящего загара щеку.

— Чего трёшься, как котёнок? Не нагулялся ещё? Налить?

— Хм, налить... Наливай себе, если хочешь. Вот за чаем ужо... Ну, скоро ли скипит? Торопи. Бриться надо.

— Да ведь вчера брился. Для телят?

— Юрко скоро придёт, — как-то особенно сказал он. И — как бы между прочим:

- Сколько у нас денег-то? — выделил слово «сколько».
- А зачем тебе? — озадачилась мать.
- Ну-у-у,— неопределённо промычал он.
- Телушку не кормить, сдать, так к зиме шесть тысяч будет.
- Не будем кормить,— сразу сказал он.
- Ну-ко, ну-ко, ты чего это задумал-то? Ай?

Он встал, снова обнял жену, подвёл к окошку. Воздух ещё не начал струиться маревом, молодой зеленью отсвечивал ельник, по опушке растекался бледно-розовый дым. Это поднималась на тёплых токах, исходивших от укрытой прелью земли, живительная пыльца, клубясь между отмякшими ветками ивняка, стволами ольхи, осин и берёз. Верба у тропинки сияла во всём своём медовом великолепии. Одуревший тетерев вертел головой, длинная шея отливала перламутром. Собратья его не сбивались в кучу, они рассредоточились по лугам и полям, чужыркали изредка, зато «буль-буль-буль-буль-буль» наполняло округу, заглушая другие звуки.

— Вот увидишь, скоро прилетит. Понимаешь, не дурак у нас Юрко-то, оказывается.

— Дай бы бог...— обрадовалась мать.— А в кого бы ему дураком-то уродиться? — спохватилась.

— Учить надо! Хвалила вчерась его больно учительница. Молоденькая, а не глупая. Разобралась. Из всех похвалила. Написал он чего-то там. Про нас с тобой.

— Про на-ас?

— Про на-ас! — передразнил он.— Ты ему всё-то даром не мели. Про серый-то камень. Успеет ещё, свихнётся. Обратает какая-нибудь вроде тебя.

— Господи, спохватился всё-таки?! А я-то, дура, думала, так не обруганная и в могилу сойду,— притворно запричитала жена.

— Да не ругаюсь я, не выдумывай. Переезжать к осени надо. Председатель вчера обещал комнату в общежитии плотников. Дом на место перевезём, поставим. Учить Юрку надо,— снова повторил он.

...А Юрка в это время уже летел к дому. За зиму он вытянулся. Легко сигал через канавы, удачно миновал Портомой. Он чувствовал лёгкость, ноги в сапогах из овечьей кожи ступали широко. Он раскраснелся, скользил взглядом по красным прутьям ивняка, прозрачным осинникам, туманному ольшняку. Солнце светило ему в глаза, он щурился и спешил. А зачем? «Не знаю»,— ответил бы он на этот вопрос. А в груди билась горячая радость за себя, за отца, за мать, за то, что он увидел в них что-то такое, лучше чего не бывает совсем.

Вчера они — участники концерта — во время торжественного заседания сидели в первом ряду на гимнастических скамейках. Юрка никогда не видел отца таким подтянутым и нарядным. Тот сидел в президиуме между председателем колхоза и замом военкома. Три ордена Славы поблёскивали на его широкой груди.

Отец спокойно обводил глазами старых приятелей, шумливую молодёжь и, только встретившись взглядом с сыном, беззвучно перебирал губами.

Юрка отводил взгляд, но ненадолго, вскоре опять во все глаза смотрел на сцену. Майор делал доклад, говорил сочно и весело, аплодисменты гремели всерьёз.

Но вот он стал поимённо перечислять шестьдесят семь погибших — сделалось тихо. Только прерывистое дыхание десятков людей, подрагивание плеч да закрытые ладонями лица выдавали состояние зала. Даже злобредная гармошка на крыльце умолкла.

В дверном проёме забелели вытянутые лица шалопаев. Это каменное молчание при негромком чётком голосе докладчика будто солдатским ремнём стянуло старых и малых. Каждый чувствовал силу этих редкостных минут единения.

Майор уже не мог продолжать в прежнем тоне и вскоре закруглил доклад, успев похвалить работу кружка красных следопытов. Юрке похвала понравилась, хотя они и не называли себя «следопытами». А хорошее слово! Надо подсказать Зинаиде Антоновне! И вдруг он покраснел так, что жарко ему стало. Сколько домов обошёл, добывая фотографии, письма, узнавал имена, а и не знал, что родной отец — герой. Настоящий герой!

Отца попросили выступить. Он ухватил побелевшими пальцами обтянутую красным полотном трибуну и растерянно поворачивал голову то к залу, то к президиуму.

— Расскажите нам, за что вы получили награды, — подсказал майор.

— Я? Как все, так и я, — сказал отец, глядя на майора.

— Поподробнее, пожалуйста.

— Боюсь, надолго затянет. Четыре года за ими ходил.

— А всё-таки? Молодёжь знать желает.

— Ну, кх, кх, как война началась, здесь уже говорили, — начал он.

Зал затих. Юрка застеснялся и опустил голову.

— В общем, поначалу бежали мы — ноги до сих пор износили, — резанул ребрами ладоней по пахам. — Ну, дали они нам! Я тогда хорошо бегал. А после — ну, дали мы им! Они нас по прямой гнали, а мы их — охватиком, — он плавно очертил тяжёлой рукой порядочный круг. — Так в котле выварим — мясо

от костей отстаёт! Меня три раза — жак! По частям собирали. А как шинель надену — опять целый весь... Я тогда хорошо бегал. Первый добегал. Думаю, надо бить, пока не убили... А вы там, в дверях, не скальтесь! Учиться надо вам... военному делу... настоящим образом! Это не я говорю. Это Владимир Ильич... наказывал, — сказал отец и пошёл на место.

Аплодисменты снова грянули.

Мужики языкам дали волю. Смех, одобрение и восхищение слышались в рядах.

— Не смотри, что тихонький!..

— Промеж глаз врезал!

— А что хочешь? Полный георгиевский..

— Кто ещё желает выступить? — надсадно крикнул председатель.

— Я! Можно мне? — вскочила Зиновья с поднятой рукой.

— Я! Можно мне? — уже с трибуны радостно выкрикнула она и, не обращая внимания на председателя, который хотел, как положено, представить её, продолжала:

— Я хочу прочитать сочинение Юрия Кошкина. Вашего сына, товарищ Кошкин. Оно называется «Дороги Победы». На конкурс писали. Но это я глупо такую тему дала. Больше не буду. Вот оно:

«Я ещё мало читал книг про войну, потому что их тяжело носить домой. А в интернате мы готовили уроки да ходили на мероприятия. Но летом я часто сижу на камне посреди нашей Залуцахи. Около него совсем мелко и вода чистая. И если сидеть тихо, то мальки подплывают близко и хватают мелкие крошки, которые я вытряхиваю из карманов.

Мне мама рассказывала, как провожала отца на войну. Папа ей крикнул, чтобы она не сходила с камня на этот берег, а то его убьют.

Дальше дорога пошла в гору, и папа пошёл в гору, и она пошла в гору, только к дому, только задом наперёд. А он повернулся и тоже пошёл задом наперёд. И они долго ещё видели друг друга. Они всю войну друг друга видели.

В него много раз стреляли, и попадали осколки. А он ни разу не умер.

С войны он ехал на попутной телеге. Кто-то сказал маме, и она выскочила его встречать. Он побежал ей навстречу, снял с камня и понёс в гору на руках. Там стоял Санко и ревел на весь лес. Он отстал от мамы. А потом родился я. Теперь я по этой дороге хожу в школу».

Тюпочка поздно спохватилась, что не надо бы читать-то перед всеми, сбивалась, краснела, но её смущение передалось в зал, и народ слушал внимательно и тоже смущённо. Юрку раза два ткнули в бок, а он только огрызался беззвучно, не поднимая головы. Отец же нарочно завёл какой-то разговор с майором — будто и дело не его.

...А сейчас они с матерью стояли у кухонного окна и смотрели на дорогу. Тетерев вдруг сполошно сорвался с вербы, но, как бы одумавшись, спланировал в жнивье.

Над пригорком закачалась Юркина шапка с опущенным козырьком.

— Докипает, смотри! — смятенно бросила мать, указывая на самовар, и в одной кофте выскочила на улицу.

Юрка подлетел к дому размашисто, возбуждённо.

— Ма-а! — закричал он, увидев её. — Ставь самовар, скоро папа придёт! Я думал, меня догонит. У них вчера праздник был. Он же у нас герой. Ты это знала? — выпалил он одним духом.

Отец отодвинулся за косяк и усмехался довольно и виновато.

У матери сбилось сердце, занялся дух.

— Милый ты мой! — прошептала она, опираясь на частокол, но шёпот её не был слышен в сплошном гуле тетеревиного бормотанья, в звоне жаворонков, которые выпархивали из старых копытных следов и вязко трепетали крыльями в парном и плотном воздухе.

СОЧИНЕНИЕ

На педсовете было недвусмысленно сказано, что восьмиклассники все должны быть допущены к экзаменам и выпущены из школы. «Допущены, повторяю, и выпущены!» — и при этом собрание было обведено ого каким начальственным взглядом! В решении, разумеется, такого пункта не будет, но тем не менее сказанное имело силу.

У Октябрины Ивановны, учительницы русского языка и литературы, заняли кончики пальцев. Они всегда у неё ныли, когда нужно было напрячь душевные силы: то ли с кем-то из родителей поговорить, то ли выступить на собрании. А тут как будто что особенного? Не первый год идут такие разговоры. «Переведём. Не таких ещё переводили», — думала она о восьмиклассниках.

Она подпёрла подбородок руками, устремила глаза на очередного оратора и замурыкала про себя нарочито дурашливо:

*Это мы не проходили,
Это нам не задавали.
Тара-м-пам-пам,
Тара-м-пам-пам.*

*Это нам не задавали,
Это мы переводили.
Тара-м...*

«Переводили?» — вдруг встрепелась она. — Это мы п-переводили», — по инерции пропела ещё раз, и вдруг это затасканное слово расцвело перед ней, как радуга.

Ей представилась речка около отцовского дома, тяжёлая туча над болотистым берегом, вялые тополя на бугре. Она переводит за руку по лавке мальчиков и девочек. А радуга цветёт и пугает: переводи, успевай, пока солнце не увязло.

«Ну что же, будем пе-ре-во-дить! Переводить и выпускать... Выпускать? — Ей хотелось обнажить смысл и этого слова, но он ускользал. — С пятого класса контингент храню, — опять завертелись мысли. — К экзаменам — допущу. Тут моя воля. А напишут ли? Конечно, напишут. Повторение начато, билеты пришли ещё в декабре, напишут... А все ли? Надо, чтобы все.

...Девочки, конечно, не подведут. Меньшикова освободим: сердце слабое. Если бы не Ипатьев — всё бы ничего. В пятом классе до смерти напугал, паразит. Хотела уж в спецшколу определить. Да где там? В институт легче устроить».

Октябрина Ивановна хорошо помнила разговор в роно о будущей судьбе Ипатьева.

— А где же вы четыре года были? — спросили её. — Он, что, всегда был умный, а вчера стал дураком? Не логичнее ли предположить...

— Что дура я? — с вызовом сказала она тогда.

— Ну, что вы. Не горячитесь. Я хотела сказать: не логичнее ли предположить, что это временный срыв у мальчика? Что-то связанное с характером, настроением? Не думаете?

— Возможно. Только уж очень хроническое у него настроение. Ничего не учит.

— Побывайте в семье, побеседуйте, повлияйте на товарищей. Не забывайте об индивидуальном подходе.

Этот разговор не имел особых последствий. Октябрину Ивановну вполне устраивало, если Витька сидит на уроке и что-то делает. «До выпуска ещё долго, — решила. — Подтянется. А неорганизованность, видимо, в крови». Она уже привыкла брать с собой лишние тетради, ручки. У Витьки тетради часто терялись, а ручки вечно были изгрызенные или своей конструкции: из обломка карандаша, из гусяного пера, а то и шариковый стержень к гвоздю прикручен.

Приходилось мириться, лишь бы писал. Спрашивать его было бесполезно. Встанет и молчит. А то смотрит искоса. Но в последние годы она научилась залучать в журнал тройки. Сделает раз пять словарный диктант «Проверяю себя», а потом эти же слова войдут в контрольный. Вот и тройка. Или за работу над ошибками. Да мало ли способов!

А напугал её Витька вот как.

В конце третьей четверти писали сочинение по повести «Дети подземелья» Короленко. Сколько готовились, разбирали! План составляли, по нему устно все вместе излагали содержание, хором заучивали красивые слова и обороты. «Маруся угасла. Серый камень мрачного подземелья высосал её слабые силы», — нараспев читала Октябрина Ивановна, а класс, ритмично качая головами, повторял.

Наконец взялись за сочинение.

Октябрина Ивановна наслаждалась работой класса. У некоторых получалось совсем неплохо.

А Витька уже устал. Обитатели подземелья, кроме страшного Тыбурция, ему нравились, но писать было неохота. Ему было жалко Васю, Валека и Марусю! Он что хочешь для них сделал бы, однако это его чувство никак не выливалось в слова. Витька писал нудно и вяло. Едва на страницу хватило вместе с заголовком. Перевернул. Ух ты, какое чистое поле! Ничего, попашешь тут! Да ещё как на грех забылось начисто красивое предложение для конца. Витька знал, что оно жалобное, тоскливое. Помнил мрак, камень, смерть, вертелось на языке слово «высосала». Думать не хотелось. И на вред этой гадине-смерти, себе и Октябрине Ивановне сверху чистой страницы написал: «Марусе смерть высосала из земли полумрачный камень». Поставил точку и сдал тетрадь. Он, конечно, знал, что двойка обеспечена. Только не предполагал, как бурно будут обсуждать в учительской его умственные способности.

Из класса в класс переводили его с обязательным заданием на лето. В дневнике по русскому языку всегда стояла двойка за год, осенью её исправить вечно забывали, зато в классном журнале троечка красовалась уже с весны. А Витьку летние задания не пугали. Он никогда их не делал. Раза два три в конце августа посидит — и всё. Сам удивлялся. И не подлизывался ведь.

На прошлой неделе Витька опять учудил. Дополнительные занятия кончились, а его Октябрина Ивановна ещё оставила на полчаса: «Деепричастными оборотами позанимаемся».

— Не буду я писать эти завёртыши, — сказал Витька упрямо.

— Ну вот, раз завёртыши узнаёшь, значит, уже хорошо, — она понесла тетради в учительскую.

Вернулась — Витька исчез. Только ручка из чернильницы торчит вверх пером! «И что только думает! Вот и выучи такого!» — возмутилась по привычке Октябрина Ивановна. А что толку? Сколько раз кляла себя за то, что не отвязалась от него ещё в пятом классе. Теперь уже поздно. Экзамены на носу. И в учительской не поплачешься. Разок попробовала — себе дороже. Этот чистолюй Алгоритм ещё поиздевался: «Все беды — от безделья. Заставляйте работать. А ваш Витька молодец! Вон как меня удивил. Встаёт и говорит: «А правильно я думаю: разность по порядку членов геометрической прогрессии сама представляет собой арифметическую прогрессию с разницей в 2?» Непонятно? Вот и я вначале не понял. Вызвал к доске. Он написал. Быстро, толково. А главное — верно! — и Алгоритм вытаращил на неё свои карие глаза. — Так очень обяжете, коллега, если благодаря вам он будет более точно выражать свои мысли. Мы теперь всегда от него ждём подарочка!»

«Чистолюй! — подумала тогда. — Повозился бы, сколько я, после уроков. Нет, всё таскает какие-то макеты да карточки. И на уроке у него пыхтят да шипят — всё что-то решают. Рук не поднимают: два-три слова — и опять пыхтенье да шипенье. Хорошо им, без слов обходятся».

Октябрина Ивановна сама говорила много, но не очень красиво и связно.

...Очередной оратор закончил своё выступление. Октябрина Ивановна снова напряглась, но выступать на педсовете её не заставили. Говорили, в основном, официальные лица.

* * *

Всё второе полугодие Октябрина Ивановна жила в школе напряжённой жизнью. Кроме четверга, специально выделенного ей для консультаций, она оставляла восьмиклассников для дополнительных занятий и в другие дни охотно заменяла отсутствующих коллег. Часы эти она не возмещала, так что готовиться к ним было не обязательно, но в то же время наживалась репутация трудяги.

Последнее сочинение показало, что опасаться ей особенно нечего. Конечно, Меньшикова надо будет освободить от экзамена по состоянию здоровья (она уже консультировалась с врачом, и мнение администрации единодушно «за»). Вот Ипатьев — это да! Этот не заболит. Семнадцать оборотов на турнике делает. Сама видела. Эту бы энергию да на дело!

Увы, приходилось думать за него. И надумала Октябрина Ивановна отступить от своего правила. А правило простенькое: на все темы, какие бывали на экзаменах, переписать сочинения. И не просто переписать, а заставить выучить. Не будут? Ничего, будут, если сдать думают!

Отступление она сделала персонально для Ипатьева. На одном из уроков разбирали сочинение на тему «Мой любимый литературный герой». После урока она попросила Витьку остаться.

— Ты, Ипатьев, эту тему будешь писать на экзамене,— сказала ему.

— А может, не такая будет,— угрюмо возразил Витька.

— Об этом речь впереди. А сейчас у тебя двойка. Ошибок — сам видишь.

Стиль — хуже некуда. Вот тебе задание. Завтра мне расскажешь после урока о Павке Корчагине. Начнёшь с освобождения Жухрая. Расскажешь за три минуты. Самыми короткими фразами. Ясно?

— Ага,— сказал Витька в парту, доставая сумку.

Назавтра снова разбирала с ним после уроков эту тему. Опять дала задание: «К понедельнику всё это напишешь. Но учти: предложения короткие, никакой прямой речи, никаких деепричастных оборотов, завёртышей по-твоему, никаких переносов слов. Видишь, слово не войдёт — пиши его на другой строке». И ещё дала карточку с трудными словами: коммунист, интервенция, революция, солидарность.

После нескольких таких занятий Витька понял, что про Павку Корчагина на одну страницу свободно напишет на экзамене. «А если ещё крупным подчерком!» — подумал он и с гиком выскочил из класса.

*Брина-брина-Октябрина,
Октябрина-брина-бра!
Эта брина-Октябрина
Не доводит до добра! —*

радостно орал он, подлетая к перилам, чтобы сигануть вниз на первый этаж.

— Ипатьев! — услышал вдруг Витька голос директорши. Он не убежал, а только остановился у лестницы в надежде, что директорша просто окликнула его да и прошла. Хватит у неё и своих дел. Но Витька ошибся.

— Ипатьев, зайди ко мне! — не предвещающим ничего хорошего голосом повторила директорша.

В кабинете она велела ему подождать, а сама вышла. Витька отошёл за печку, сел на стул, надеясь, что вовремя успеет вскочить. Настроение испортилось. «Хорош кабинет, и почитать нечего!» — подумал он, рассматривая скучные стенды на стенах.

Вслед за директоршей в кабинет быстро вошёл высокий мужчина. В руках он держал пыжиковую шапку.

«Вот это шапочка! Пыжик!» — восхитился Витька.

— Слушаю вас, Никон Петрович, но побыстрее, пожалуйста, уже был звонок.

— Два слова, Конкордия Дмитриевна.— Насчёт дров я. Купите.

— Хорошо. Купим, а где, сколько, цена?

— Как где? У нас. Сколько — указано в ведомости, а цена везде одна — пять рублей складочный.

— Простите, не вполне понимаю.

— Поясню. Дрова, которые полагаются моей жене как коммунальные услуги, нам не нужны. А вы, ну, школа, все равно их где-то покупаете.

— Да, покупаем. Простите, действительно, я как-то не думала...— начала путаться директорша, взглядывая на Витьку.— Но Октябрина Ивановна ничего не...

— Ей неудобно. Как-никак хозяин-то я.

— Ах, да... Минутку,— соображала она.— Значит, вместо шестидесяти рублей вы хотите получить сто?

— Совершенно верно, девяносто восемь рублей ноль-ноль копеек.

— Хорошо, понимаю. Простите, время вышло,— она села.— Ответ вы получите сегодня же через вашу жену. До свидания.

Никон Петрович начал прощаться и пятиться к выходу.

Пятясь, Никон Петрович поравнялся с Витькой. «Ученик»,— мелькнуло у него в голове. А Витька нарочно делал вид, что ничего не видит и не слышит. А в голове вертелось: «Вот так пыжик! Чижик-пыжик. Чижик-пыжик, вот так гусь. Я до гуся доберусь!»

Он разозлился на всех сразу: на себя, на Пыжика, на Октябрину Ивановну, на директоршу. «Всё! Больше он не будет растяпой. Кислятина. Обрадовался, что тройку получил, распелся. Купить хотела? Не купишь. И этой очкастой — фига два! Всё равно теперь». Он насупился и устался в пол.

Директорша сняла очки и улыбнулась.

— Виктор, подойди поближе.

Он думал, что не пошевелинётся, а ноги уже шаркали по полу.

— Я хотела сделать тебе одно замечание: выражай восторг менее бурно. Тебе ведь ещё мно-о-ого радости предстоит. Носи голову, как военные на параде. Вот так,— изобразила она.— Видал?

— По телеку,— скривился Витька.

— У вас алгебра? Передай вот учителю,— протянула сложенный вдвое листок.

На лестнице Витька записку все-таки развернул. «Н. Н.! — было написано в ней.— Прийти на урок не смогла. Подателя сего казнить нельзя помиловать. А запятую он поставит сам». И подпись.

«Во даёт!» — подумал Витька.

Он постучал в дверь и, услышав шаги, открыл её, идя навстречу Алгоритму и протягивая записку.

— Садись,— кивнул он.— Меньшиков продолжает комментировать. Кто справился — задание на доске.

Работаем!

Через минуту подошёл к Витьке, пальцем показал номер задания, а на ухо шепнул: «Ну-с, где запятая предпочтительней?»

— Перед помиловать,— шепнул и Витька.

Оба сделали веселые глаза и занялись своими делами.

* * *

Четвёртые сутки температура держалась выше нуля. Снег потемнел, набух. Дул сырой ветер. Оголились от снега стены домов, крыши, заборы, изгороди, навозные кучи, поленицы дров. Сизые тучи неслись на север. Провода раскачивались, свистели. Вышла из строя подстанция. Приходилось рано ложиться спать.

Октябрина Ивановна лежала, вздыхала, ворочалась, думала: «Двоек не ставишь — выслуживаешься, много ставишь — гадают, не дура ли. Живёшь, как под микроскопом. А тут ещё дровяная история. «Разные у нас люди. Но барышников ещё не встречала. Подумайте. Не доводите до партбюро. Ведь вы учи-тель-ни-ца», — и директорша так улыбнулась ей, что лучше бы уж не улыбалась. Не было печали... Только надоумила своего, что можно бы дрова продать, не завозя домой, садику, например, или в любую столовую, а он вон что отмочил! Заставь дурака богу молиться — он и лоб расшибёт. Расшибал бы свой! Нет же, все шишки на неё... Конец четверти, без того вымоталась. Хоть бы каникул дожждаться!

...А дрова под окошко свалили. Теперь не продашь. Складывать тоже некуда. На пятилетку запас. Хоть ешь. А и привезли как-то не по-настоящему. Быстро. Молча. Тракторист даже на чекушку не попросил. Да Ипатьев с дружкой своим всё крутились возле. Этим-то чего надо? Ну, спать, спать пора. Тетради опять не проверены...»

Эта мысль заставила её постараться уснуть. И в полудрёме уже услышала, будто по стеклу что-то чокает: «чок-чок».

— Ну-ка, встань, посмотри,— подтолкнула мужа.— Стекло бы не разбило.

Тот подошел к окну, раздвинул шторы, приник лицом к стеклу. «Чок!» — прямо против его носа мелькнуло что-то чёрное. Отпрянул. «Чок-чок!»

— Чёрт возьми, это не ветром!

— А чем же ещё?

— Чёрт знает чем! Может, Ипатьевым твоим.

— Ну-ка, выйди! Выйди! — Октябрина Ивановна встревоженно оперлась на локоть.

Никон Петрович накинул полушубок, надел валенки с галошами, взял полено.

Витька со своим другом Упрямым Сашкой видели, как Пыжик выбрался из дома, покрутил головой, высматривая их. Но они надёжно спрятались за чёрным забором. С полчаса уже прошло, как Сашка закрепил гвоздь над окном Пыжиковой спальни. К гвоздю на ниточке был привязан болтик с запиской. Он покачивался на уровне верхнего стекла. Дальше нитка тянулась через дорогу к укрытию. Знай подёргивай. Но они бы, конечно, дали Пыжику покрепче уснуть, да сигареты кончились. А так скучно и продувает. Вот и начали операцию. «Чок-чок», люди добрые! Как спите? Хорошо? Ну, конечно, вы люди честные. А кто тогда кулаки? «Чок-чок!»

Пыжику, наконец, надоело таиться, он подскочил к окну и схватил болтик. Почувствовал, куда тянется нитка, бросился к забору. Но дружков как ветром сдуло.

— Ещё подойдёте — ноги выдергаю! — крикнул он вслед беглецам, выматюгался, плюнул и пошёл в дом.

Октябрина Ивановна зажгла лампу.

— На, читай, — сунул ей бумажку. — Дешеша. Срочная. Тебе.

Она развернула записку.

Чижик-пыжик, где ты был?

Каково продал-купил?

Засоли свои дрова,

Ой ты, дура-голова!

Октябрина Ивановна заплакала. Пыжик схватил бумажку. «Ну, гады, завтра на дому башку отверну!» — зашипел он.

— Вот-вот. Только этого и не хватало! Мало ещё ославил, — сквозь слёзы сказала Октябрина Ивановна. — Нет уж, нету толку, так не дашь. Дуболом! Вздумай только! Завтра чтоб дрова были прибраны! — приказала она и задула лампу.

В школе Октябрина Ивановна сделала вид, что ничего не произошло. Ребята похихикали да перестали. Ипатьева она по-прежнему не переносила, но делать нечего. Не век на него любоваться.

Ещё до каникул она дала классу домашнее сочинение «Мой жизненный идеал». Договорились, что напишут, на кого хотели бы быть похожи и почему. На этот раз Витька сочинение сдал в срок. Он знал, что если по правилам, так сидеть ему и сидеть в восьмом до морковкина заговенья, как бабка говорит. Он бы, конечно, позлил Октябрину Ивановну, но, во-первых, открыто это делать боялся, а во-вторых, поскорее хотелось разделаться со школой. Всей душой он теперь был с Сашкой Упрямым. Тот в прошлом году окончил восемь классов, учился в ГПТУ. Часто навещался домой. Высокий, штаны расклёшены, на гитаре бант и разные наклейки. Во парень! Даже записку Пыжику не сам писал, а Сашка. Потому и вышло грамотно. Зато текст сам придумал.

В сочинении он написал правду. Не всю, конечно, но для Октябрины Ивановны и того хватит.

«У меня есть хороший друг. Он живёт далеко. Он учится в училище и играет на гитаре. А ещё ходит в секцию бокса. Он будет квалёфицированным рабочим. Он любит мастерить и петь. Мы с им делаем лодку. Он добрый. Всем даёт когда чего нет. Я тоже хочу в училище, но не знаю,— тут Витька подумал-подумал и поставил запятую,— здам или не здам. Вот мой ыдеал».

При разборе Витька понял, что сочинение подействовало.

— У тебя прекрасная мечта, Ипатьев. Я очень хочу тебе помочь. Но изволь слушаться и точно выполнять мои указания. Про Павку Корчагина всё помнишь? — строго спросила Октябрина Ивановна.

— Всё,— сказал Витька.

— Хорошо. Тогда пиши...— нет-нет, сверху, с красной строчки: «Мой жизненный идеал, и-деал». Написал? Теперь посредине строки — «сочинение».

Она знала семью Сашки Упрямова и диктовала свободно. Витька даже удивился.

— Он будет квалифицированным рабочим,— медленно повторяла Октябрина Ивановна.— Нет, не пиши квалифицированным. Пиши: он будет хорошим рабочим. Стране нужны умные машины. Я буду их делать с моим другом. Это мой жизненный идеал. Нет, вот так лучше пиши: Это цель моей жи-зни,— вытягивала она.— Написал?

— Ну.

— А теперь дай проверю. Потом выучишь. Каждый день с утра учи, если хочешь выдержать экзамен. Кстати, твой друг — это Упрямов?

Витька молчал.

— Можешь, конечно, не говорить. Но ведь он не так уж хорош. Занятия прогуливает, курит, как взрослый.

Она пристально смотрела на Витьку, будто ожидая возражения.

— Выпивает, говорят?

— А у вас силы воли нету,— сказал Витька.

— Что-что? — опешила она.

— А зачем выспрашивать? И так знаете,— прерывисто и храбро упрекнул он.

Октябрину Ивановну всю залило краской, но она не дала себе воли.

— Ох, Ипатьев, Ипатьев! — сожалеюще покачала головой. Хотелось закричать на него, выругать.— Ох, Ипатьев, Ипатьев... Ладно. Не забудь выучить. Иди...

Перед самым экзаменом Витька выслушал ещё не один инструктаж, как любую тему можно повернуть на своё. В дополнение к прежним указаниям ему было запрещено употреблять союзы, кроме а, но, что. Перед экзаменом Витька чувствовал себя почти спокойно. Он сразу понял, какую ему выбрать тему, и стал писать. Октябрина Ивановна несколько раз проходила мимо, косила глаза на черновик. Витька принимал независимый вид, но сердце у него билось чаще, слух обострялся до предела. «Та-ак»,— слышал он её довольный шёпот.

Витьке было радостно, что всё получается хорошо, и улыбка нет-нет да и появлялась на его ещё по-детски припухлых губах.

Во время проверки сочинений в класс вошёл Алгоритм.

— Не возражаете? — спросил он Октябрину Ивановну, выбрал одну из работ и быстро пробежал глазами.

«Павка Корчагин всю жизнь отдал за нас. Время было такое трудное. А мы с другом ещё не совершили подвигов. Но Родина у нас одна. Мы идём к своей цели. Мы защитим Родину и зделаем её счастливой».

— Хм,— иронично-вопрошающе посмотрел на Октябрину Ивановну. Она выдержала взгляд.

— Хм. Самостоятельно мыслит. Интересный поворот. Поздравляю. И что же намерены поставить?

Октябрина Ивановна трижды машинально стукнула пальцем в столешницу.

— Тройку? Но за что? За отход от темы? За единственную ошибку?

— Это итог работы. За всю работу,— убедительно и спокойно произнесла она.

— Перестраховываетесь? — более серьёзно спросил Алгоритм.

— Если хотите — да! Вдруг в техникум вздумает? Разочарование в этом возрасте опасно, — сказала Октябрина Ивановна.

— Н-да? Спасибо. Разъяснили. Не буду мешать.

И он быстро вышел из класса.

...Потом были другие дни, был выпускной вечер с лимонадом, разговоры с родителями, благодарности, выдача документов. Правда, почти у всех выпускников свидетельства об окончании восьмого класса собрали снова и заперли в директорский сейф, только у нескольких человек, в том числе и у Витьки, документы остались на руках.

Сашка опять был в «отгуле» и крутился около школы. Его за общий стол не позвали. Витька тоже не пошёл. За поленицей они «раздавили» бутылку «Вермута». Посидели, покурили и пошли в клуб на танцы.

Октябрина Ивановна в этот вечер пребывала в благодушном состоянии. У неё уже начался отпуск.

ВОЛОСЁНОК

— Слушай-ко, Пётр Игнатьевич, что же это будет-то? — Зинаида обрадовалась, что перехватила учителя сына возле своего дома: в школу-то сбежать недосуг.

— А в чём дело? Что случилось? — Пётр Игнатьевич подошёл к калитке, где стояла Зинаида Волосова, колхозная доярка.

— А ничего, по-вашему, да? Парень неделю в школу не ходит — и всем даром? «Третий день, говорит, блины пеку — только сегодня посолить не за-был».

Пётр Игнатьевич улыбнулся.

— Чего смешного-то, чего? Уж куда смешней: вместо школы — у плиты. Как хотела в техникум отдать, так ведь нет, уговорили. Сами пороги-то обивали!

— Так он же не стриётся. Хоть кол на голове...

— А вы что, стриженных и учите, да? Вон Кретов да Обрядин — что, стриженные? Чище одеты, чище вымыты? Тут ещё бабка надвое сказала. Парень мыт-перемыт, в квартире титан поставил, ванну сделал, дров наладил, чистится, гладится, у зеркала вертится, а тут, милушки, в школу не пускают! Кто это такой порядок-то выдумал?

— Как кто, как кто? — Пётр Игнатьевич и в самом деле не знал, кто. — Да знаешь, Зина, у нас скоро комиссия! Да знаешь, что с нами сделают? Да... — он хотел ещё что-то добавить.

— Да уж не посадят вас в первый класс! Эдаких учёных-то.

— Ну уж, Зина, давай без оскорблений.

— Без оскорбле-е-ний? А кто моего-то парня «волосёнком» прозвал?

Ну, кто?

— Уж не я ли, думаешь?

— Думаю не думаю, а ухватом парня в школу прогнать не могу. Парню семнадцать годов, бывает, женятся в эту пору — на тебе, «волосёнок»!

— Полно тебе из-за чепухи-то расстраиваться. Шутка же это. Фаина Гурьевна провела на уроке рукой по его волосам да и говорит: «Эк ведь сколько на тебе волосёнок!» А ребята и подхватили. У них же ассоциативное мышление, — выделил он слово «мышление». — Раз фамилия Волосов — вот и волосёнок.

Верно, на уроке так и было, только в учительской Фаина Гурьевна с улыбочкой смаковала, как это она ловко прищемила Волосова: и обозвать — обозвала, и оскорбить — не оскорбила.

— Хороши шуточки! А того не понимаете: обругай корову — та тебе молока не даст. Ко-ро-ву, понимаете? Понимаете вы, как же...

— Да чего тут понимать-то? Думаешь, у меня прозвища нету? — сказал Пётр Игнатьевич.

Зина чуть улыбнулась. Она помнила его прозвище: «десятиколенный». Невелик бы вроде и ростом — метр девяносто, — а развинченный весь какой-то, нескладный, тощий. Видела раз, когда на дойку шла, как он в своём «Запорожце» тестя на базар вёз. Глазищи-то на дорогу выпучил, колени до руля достают, одной рукой правит, а другой стекло протирает снаружи...

— Смотри лучше за его учёбой. Фаина Гурьевна жалуется: не учит ничего. Наизусть ни разу не отвечал.

Как ни спросит — отказ. В журнале одни точки, — прервал её мысли голос Петра Игнатьевича.

— Ну-у? А чего учить-то надо? — забеспокоилась она.

— Есенина, Маяковского, ещё кого-то — не помню.

— Ой, дак это уж Фаина Гурьевна врёт. Соберутся с друзьями — Есенина поют не хуже Покровского. И это:

«Клячу истории загоним! Лево-лево-лево!» — аж стены дрожат. Ну и магнитофон крутят, конечно. Только тут я двери закрываю в их комнату.

— Так почему же он на уроке-то не отвечает?

— А чего ему выскакать-то? Это за тройку-то? Не на сцене ведь. По себе помню. Выйдешь, промямлишь поскорее. А чего выкладываться-то? Стыдно: все свои. Что они, не знают, какой я чтец? Она и мне тоже за наизусть всегда тройки ставила,— сказала Зинаида о Фаине Гурьевне.

А Пётр Игнатьевич смотрел на неё заинтересованно. «Да, пополнила Зинуха. Вон какая ширококоньякая». Когда-то он ещё жениться на ней подумывал. Ладно, будущий тесть обратал: зазвал, накормил-напоил, подsunул свою образованную, оженил, на заочное перевёл: стыдно, сказал, учиться после армии очно, в отрыве от семьи.

— А на сцене, помните,— перешла Зинаида на вы,— я читала? Неплохо же?

Она действительно читала стихи со сцены и совсем неплохо. Но пришлось уйти из клуба на ферму, когда погиб муж. В одно туманное утро он резко крутанул руль машины, чтобы не сбить лося, вышедшего на дорогу, и его выбросило из кабины на кучу бетонных пасынков.

— Почему так происходит с учёбой у сына, можете вы мне объяснить, Пётр Игнатьевич?

— А чего объяснять, это ж обычно, что к старшим классам интерес к учёбе у детей снижается.

— Вот я и спрашиваю, почему? До восьмого чуть не отличником ходил. А с восьмого начал запускать.

— Да-а. Всё верно. Так и есть.

— Есть, есть... Сама вижу, что есть,— с досадой сказала Зинаида.— Как же мы-то коров раздаиваем? Глядишь, обычная коровёнка, а через год-другой не знаешь, как и запустить перед отёлом. Даёт и даёт молоко. Тут не в одних кормах дело, тут и свет, и тепло, и соседство, и подход, и обстановка довольства и радости. А что? Коровы тоже радоваться могут.

Пётр Игнатьевич всё порывался что-то сказать, слюну сглатывал, по кадычку было видно. Вклинился, наконец.

— Ну и насмешила. Ты хоть больше-то никому не говори такой ерунды. Разве можно сравнивать: то коровы, а то люди.

— Вот именно: люди. А с чем мне сравнивать, если я только коров и знаю? Был бы сам-от жив, я бы тоже, может, институт кончила.

Ей сделалось так обидно, что не удержалась и совсем по-бабьи добавила:

— Подумай-ко сам-от, Пётр Игнатьевич, лешой с тобой...

И без «до свидания» пошла от калитки к крыльцу своего дома, маленькая, усталая, в фуфайке и чёрных катаных валенках.

А Пётр Игнатьевич ещё некоторое время смотрел ей вслед и думал о том, что когда-то он очень любил эту женщину.

ИСТОРИЯ РАЗБИТОЙ ЧЕРНИЛЬНИЦЫ

Памяти Б. В. Шапина

Пятиклассники сразу поняли, что Иван Михайлович увидел наспех заёртое чернильное пятно на полу. Но он и виду не подал, только губами шевельнул. При своём хорошем росте он, входя в класс, всё-таки умудрялся семенить, наклоняя голову направо, придерживая левой рукой большой жёлтый кожаный портфель, в некоторых местах основательно потёртый, служивший ему с тридцать девятого года, первого года учительства.

Голову-то он клонил, а его небольшие рожеватые с косым разрезом глаза ясно видели весь класс, видели, как дожёвывает Майка-великанша, как перекидывает тетрадь Телегин Михайлович Телегину Николаевичу. Михайлович — способный, Николаевич — прилежный. Телегин Михайлович сложил губки бантиком и спокойно встал. Телегин Николаевич быстро сунул тетрадь в парту, вскочил, замер, потом наклонился и медленно выложил тетрадь на парту.

«Успели Телегины. Учатся понемножку... очки втирать. Подправляют программу, на всех рассчитанную», — по-доброму усмехнулся учитель, сохраняя деловое выражение. Он отлично понимал, что тренировочное упражнение, которое ученики делали дома, весьма полезно Николаевичу и ничего не даст Михайловичу. Уж этому за седьмой класс впору осилить.

«Уж, замуж, невтерпёж... Терпи, брат. Запрограммировано».

Учитель опять усмехнулся, бодро семеня к столу. Его нога в старом жёлтом ботинке ненадолго, но демонстративно зависла над пятном, потом переступила его.

Быстрая деловая походка учителя обычно отсекала перемену от урока. Сегодня рабочее состояние было особенно нужно, и на тебе... «Не заметить? Нельзя!» Иван Михайлович положил, как обычно, портфель на правый угол стола, выпрямился и вместо «здравствуйте» сжал губы так, что стали видны скулы его лица.

Все поняли непрозвучавший вопрос, несмело переглядывались друг с другом, переводили взгляд с лица учителя на пятно.

— Так никто ничего и не скажет?

Почти все опустили головы.

— Здравствуйте! Садитесь!

И урок начался. Иван Михайлович строго спрашивал домашнее задание, неожиданно для всех поставил «двоечку с улыбочкой» отличнице Бариновой за несколько ответов невпопад, хлопал в ладони и улыбался, когда кто-нибудь попадал впросак в игре «Подбери нужное слово».

Ребята на уроке старались, чувствуя свою вину. По команде «встать!», прозвучавшей вместе со звонком, все с облегчением вскочили, но «урок окончен!» не последовало.

— Так никто ничего и не скажет? — спросил Иван Михайлович с выражением, какое было на его лице сорок пять минут назад.

Молчание могло быть долгим. Иван Михайлович отлично понимал, как дорога для ребят перемена. Сколько бы чернильниц ни разбили, всё равно перемена дороже.

— Кто будет мыть пол?

— Наша очередь,— вышли из-за парты смуглолицая Барина и Майка-великанша.

— Хорошо. Но... вы взрослые люди,— сказал он спокойно,— и знаете, что чернильниц-самоубийц не бывает. Поэтому... Сегодня понедельник? Вот к следующему понедельнику и напишите мне... напишите мне... сочинение... — он подошёл к доске и крупно, своим неповторимым почерком вывел: «История разбитой чернильницы».

Вернулся к столу, взял под мышку портфель и быстро вышел из класса, по-обычному наклоня голову.

...Прошла неделя. Закончились уроки. Закончилось заседание методического объединения. Начинались ранние синие сумерки. Иван Михайлович шёл к дому по тропке, пробитой в снегу вдоль берёзовой посадки. Ветки деревьев чуть покачивались, холодно касаясь друг друга. Иван Михайлович смотрел под ноги, вдыхал морозный мартовский воздух, придерживая под мышкой незастёгнутый портфель, набитый тетрадами. Сегодня пятыши, как он их называл, сдали свои «истории», и ему не терпелось сесть за стол, погрузиться в привычное состояние недовольства собой, детьми, учительской долей и аккуратно пометать на полях тетрадей те строчки, в которых есть ошибки. Сегодня на методическом объединении Иван Михайлович делал доклад на тему «Обучение учащихся пятых классов творческим работам». Выложил коллегам всё, что знал сам, что знали другие, судя по книгам и журналам по этой теме, особо обратив внимание на подготовку к таким работам самих учащихся, что вызвало лёгкие улыбки на лицах коллег. Он видел всё это, понимал, что всяк будет «творить» по-своему, однако добросовестно закончил доклад, не опустив ни одной фразы.

Через полчаса Иван Михайлович уже сидел за своим рабочим столом в узкой с одним окном комнате. Он достал из портфеля стопку тетрадей, подравнивал её, задумался, с которой начать. Всё-таки это первый случай, когда писали без подготовки, да ещё на тему о разбитой чернильнице. В течение

недели к нему подходили и председатель совета отряда Баринова, и Телегин Николаевич, и другие. «Помилуйте, что же могу я вам подсказать?» — изумлялся Иван Михайлович.

В нескольких тетрадах не обнаружилось ничего интересного: нас не было в классе, мы не видели и так далее. Баринова же начала издавека, как в сказке: вот жил, мол, песчаный холм, но не какой-то конкретный, а вообще холм, и вот его в самосвалы погрузили, и вот его на завод свезли, и там сделали из него много стеклянной посуды. В конце она подробно сообщала, как вопрос о чернильнице обсуждали на совете отряда, но так ничего и не выяснили. Просто решили чернильниц больше не бить.

«Цельй реквием по чернильнице! Игра в справедливость. И состоявшаяся игра! До чего так можно докатиться? Ну-ну, старый моралист, чего на пятьшку-то ополчился? Всё равно ведь пятёрку придётся ставить».

Настроение Ивана Михайловича упало. В стопке осталось тетрадей восемь. Он уже не ждал встретить в них что-либо стоящее и машинально раскрыл следующую тетрадь. «Лёнька» — стояло посредине верхней строки. Это была последняя творческая работа на тему «Мой любимый человек». Иван Михайлович оживился и снова стал читать уже проверенное сочинение.

«Лёнька — это мой брат. Ему два с половиной года, но ростом он маленький, и ему можно дать всего лишь год («Можно дать!» — усмехнулся учитель). Он толстенький, как яблочко, румяный. Подбежит, схватит кошку за хвост и тащит по полу, приговаривая: «Киса, милая, холосая...» А кошка вырвется и убежит. Он заплачет и говорит: «Мама, дай мне гвозди, я буду дом делать». Снимет мать ящик с гвоздями, а он наберёт полные горсточки да еще возьмёт свой деревянный молоточек. Весь пол исколотит гвоздями. А после возьмёт клещи и давай вытаскивать гвозди. Тащит и не может вытащить, надует щёчки, чуть не плачет. Один раз постоял-постоял да и опять принялся тащить. А гвоздь не поддаётся. Он рассердился да как дёрнет! Гвоздь выдернул, и сам хлоп об пол! Не заплакал, знает, что сам упал. Другой раз сидел он у меня на коленях. Гвоздь и молоток в руках. Сидел-сидел, а после повернулся и хлоп мне молоточком по лбу. Весь лоб у меня покраснел. А он, как будто ничего и не случилось, говорит: «Миса, бобо?». Разве на него рассердишься?»

«Разве на него рассердишься?» — про себя повторил Иван Михайлович. Он и не знал до этого сочинения, что у Телегина Михайловича появился ещё брат — «толстенький, как яблочко, румяный». Не зря на Михайловича похож. Тот нынче только начал вверх расти, а тоже славный был увалень. И Иван Михайлович вспомнил, как увидел Мишку в первый раз.

Это было в последний день августа около пяти лет назад. Он вышел промокший из лесу и огородами прошёл в Телегино, как называлась эта деревня по фамилии жителей. Перелез через изгородь и увидел босоногого крепыша, волоком тащившего мокрый велосипед.

— Цепление сгорело,— объяснил тот незнакомцу. Иван Михайлович помог мальчишке натянуть цепь, поддержал велосипед, пока толстячок просунул ногу под раму.

— Поехали-и! — крикнул мальчик и зигзагами проехал небольшой круг.

— А ты кто? — спросил он, остановившись.

«Охотник»,— хотел сказать Иван Михайлович, но ответил:

— Учитель.

— Врёшь, поди-ко. Поди-ко, ты мясо ходил искать. Нашёл?

— Мя-со? Нашёл... только ягоды. Крупная тут у вас брусника, спелая.

— Ври-ври,— мальчишка покачивал вверх-вниз головой.— За брусникой с корзинами ходят. А такие торбы, как у тебя, под мясо делают.

Учитель снял кожаный мешок с лямками и отстегнул верх.

— Бери... А как тебя зовут?

— Верно, не врешь,— мальчишка взял горсть ягод и бросил курицам.

— Как тебя зовут, а, космонавт? — переспросил Иван Михайлович.

Толстячок повернул голову в сторону изгороди.

— Как-как! Не знаешь, что ли? Как нашего кота. Видишь, по изгороди идёт?

По верхней жерди осторожно вышагивал серый кот. Он шевелил усами, принюхивался.

— Васькой? — быстро и весело спросил Иван Михайлович.

— Не-а.

— А-а, Тимофеем,— важно сказал учитель.

— Не-а. Мишкой! — захохотал малыш.

При этом слове кот прыгнул с жерди и головой потёрся о Мишкину ногу.

— Нас три Мишки: ещё Мишка у дяди Коли. Нас по одному рецепту в аптеке делали. А теперь рецепт в аптеке потеряли. А мне брата надо: драться не с кем. С Мишкой неинтересно: всё вничью дак. А ты по тропке шёл? — неожиданно спросил он.

— Нет.

— А сосенку видал?

— Много сосенок видал.

— А мою видал?

— Может, и видал,— поддержал игру Иван Михайлович.

— Ничего не заметил?

— Нет, не заметил.

— Вот молодец! Только за брусникой тебе и ходить.

— Почему? — искренне удивился учитель.

— Потому что потому всё кончается на «у». Ты на сосенки-то не смотри, ты их руками трогай. Там есть которые не растут. Они пересажены. Я одну знаю. Её как возьмёшь, оставишь вместе с мохом, а там кадушка.

Понял, где мясо-то лежит?

— По-нял,— удивлённо протянул учитель.

— Только ты никому не говори, а то бабушка ругаться станет.

— Нет, что ты... В школу-то когда пойдёшь? — переменял разговор Иван Михайлович.

— Долго ещё,— отмахнулся Мишка.— Бабушка ещё воды в котёл не на-таскала. Меня мыть будет! — важно добавил он.

— Ага, значит, завтра, да?

— Доживём, так завтра,— степенно рассудил крепыш.

— А охота тебе в школу?

— А тебе охота?

— Ну-у, мне-то, по крайней мере, надо.

— Вот и мне надо. А то обмошею, мохом зарасту, бабушка говорит. Как дедушко: у него отовсюду мох растёт. Белый, лывяной. Им окошки конопатят.

Иван Михайлович смеялся редко, привык сдерживаться. И сейчас, сдерживая смех, повторил:

— Значит, пойдёшь?

— Так ведь и ты пойдёшь...

...«Вот тебе и «пойдёшь»,— задумчиво откинулся на спинку стула учитель.— Как же я тебя научу-то? Индивидуальный подход? Развитие всех умственных и нравственных способностей? При сорока-то душах за сорок пять минут? Как сохранить тебя, именно тебя, твоё простодушие, доверчивость? И как защитить при этом? Как научить защищаться? А, Мишка? Ну, подсказывай, пока не «обмошел». Давай свою «историю!»

«Иван Михайлович! Разве Вы не разбили ни одной чернильницы, пока учились в школе? Ведь мы же не умышленно её разбили, а случайно. Мы и сами толком не можем разобрать, кто разбил?»

Учитель улыбнулся, ему приятно, что Мишка у него душу ищет. «Давай-давай, Мишка, сними сосенку, покажи, где мясо спрятано!»

«Но, может быть, что и виновник, разыгравшись, не видел этого. А может быть, и я разбил её! Тогда я предлагаю собрать по копейке и вымыть пол.»

Вот и всё. Очень просто. Чего же ты ищешь, никак не успокоишься? Даже Мишке ясно: «собрать по копейке и вымыть пол». Ну, пол-то уж вымыт. Золой оттирали. Чище прежнего стал. Чернильницу заменили. Не надо и по копейке собирать. Да и вообще скоро шариковые ручки в ходу будут...

Выходит, исчерпан инцидент. Стоило ли огород городить? Ребята-то, пожалуй, правы, практичнее думают... Иван Михайлович закрыл тетрадь. Жена в который уже раз заглядывала в комнату:

— Два раза ужин разогревала. Идёшь или нет?

Иду-иду,— ответил Иван Михайлович и пошёл мыть руки.

КОМАНДИРОВКА ПО ПИСЬМУ

Есть же всё-таки преимущества и у пожилого возраста! Посевная, все, как гвоздики, по колхозам торчат, а у Николая Ивановича целых два выходных! Майские! Всё бы хорошо, да жена-то в больнице. Считаю, месяц вот-вот. Ладно ли ещё кончится?

А от сыновей опять телеграммки. «Поздравляем... Желаем... Целуем...» Приедут, видно, когда отца ногами вперёд понесут. В Воркуте оба. Не больно здорово, да хоть над каждым трёшником не трясись. Когда же и работать, как не смолоду! А Николай Иванович считал себя изрядно пожилым. Лицо хоть и красненькое, а вроде бы припухло, под глазами мешки порядочные. Из серой холстинки. Мятые только. Куда что ушло. Всего пятьдесят, а печень постанывает и моторчик троит. Особо, если переберёшь. Вот как вчера. Первого выдержал, к телевизору прилип, даже зауважал себя. А вот вчера... Эх! И жену-то видел, как в кино — наплывом. То маленькое личико, с гулькин нос, то во всю подушку. Хорошо, держался прямо. А сегодня вот эта командировка. Из-за неё и выходные получил: «Звезда»-то в другом конце района. Так и так через дом правиться. Ладно, не поздно встал, всё прибрал-причистил, успел в больницу забежать. Теперь главное — ноги. Они знают, они помнят, где вброд, где по жёрдочкам, где по гребешку, где и за канавкой. Похожено было! А сегодня зачем? Вот то-то и оно, что всяк по-своему с ума сходит. Пожилому человеку двадцать вёрст грязь месить, чтобы ублажить взбесившуюся бабу.

Согнутая вдвое тетрадка лежала у него во внутреннем кармане пальто. Жалоба — не жалоба, не письмо, не бандероль. Не понятно, а попробуй — не разберись. Да так надо разобраться-то, чтобы тетрабочка осталась у хозяйки,

а была бы сожжена — и того лучше. Когда он читал её первый раз — немного понял. Диво ли?

Не просто понять Фаину Сочнову! Сама-то себя каждый ли день понимает? Любила парня, и парень её любил, а вот пожалуйста: подала на него в суд за оскорбление действием! — за удар с оттяжкой правой чёрствой ладошкой по левой мягкой ягодице с образованием печеницы. Подать-то подала, попугать хотела, а где он теперь, в каких интах-воркутах? Домой не показывается. Столь-то годов! А сама принесла недоносочка от самозванно обследовавшего её участкового на предмет обнаружения печеницы.

Дорого досталось дитятко! Ходила, как по угольям, щёки все изжарила, подозревала всякого, с кем ни поздоровайся: ладно ли глядит — не изогнёт ли губки ехидная кривиночка! А оттого бесилася, что сама простовата, дурочка. Нет, все смотрели как всегда: животика-то у Фаюшки не знать. Такая же вся круглая, по ней мерять — круглее не найдёшь. Как на девичьей фотографии: глаза каренькие, круглые, шиш тебе — ни морщиночки, только щёки будто кирпичным порошком неровно присыпаны — так загорай и ты.

Телом — невоздержная — видать, и на душу легка. Нет, ты оставь-ка, оставь душу-то: эта штучка не на ХТЗ делана. А тело своё возьмёт, если питаться, конечно, не бульоном с трески, как в сельповской столовой, а картошечки чтоб не бедно, да чайку как следует, да кашицей из концентратов не ограничивайся особо-то.

Умер младенец-от, умер-охо-хой!

3

Только и заметно людям, что Фаюшка с себя не спала, рук не наложила и работу не бросила. Наоборот, как раз ей тут к завклубовству ещё библиотеку навесили: совмещай! За пятнадцать трудодней в месяц. Колхозики-то сдвоили, и ставочка библиотекариши не сразу, а тоже ушла. Только торжественные заседания, плакаты-«молнии», «тревоги», боевые листки остались. Да добавились книговыдачи, книгоноши, вызовы в район, доведение книги до каждой семьи, потом до каждого грамотного, до каждого-то, господи, дурака!

Ой, как раздумаешься!

Ну ладно, дело прошлое, позабыто-позаброшено. Фаюшка уж давно Фаина Ивановна, не только коммунист, а секретарь бригадной организации, на районных семинарах опытом делится по обеим линиям — производственной и общественной.

Ну, отколола номерок, ну, едри твою мать, кому рассказать — не поверят. Такую ахинею наплела, заклеила в газету, адрес вывела — и отправила.

Николай Иванович достал тетрадку, сложил поудобнее от ветра и стал пробегать глазами.

«Уважаемая Н. Н.!

Прошу меня извинить, но пишу как баба женщине и тоже бабе. Я решилась написать откровенно, потому что Вы всё равно знаете. Я, конечно, не знаю, что Вы знаете, только подозреваю. Потому что некоторые Ваши посыльные не сразу в контору едут, если утром, до дойки, а ко мне приворачивают: не видала-ли, мол, Зобина. Конечно, говорю, не видала, не ясновидящая. Пока полномочные до конторы дотилипают, хоть сам Палочкин за рулём, он на Игреке партизанской дорогой десять раз их обставит. Ещё чаю стакан на ходу схватит. У конторы к ёлке, знаете, у пруда-то которая, как рососомаха мохнатая, привяжет Игрека, сам на крыльце на перильцах сидит, спичечку обожжёт да в зубах поковыривает. «Ну,— говорит,— здравствуйте, гости незваные, а я,— мол,— жаркое ем, слышу: дорога стонет, опять, видно, Палочкин Гиблую курью форсирует».— Здравствуй,— говорят,— Зобин, не оскаляйся, почему опять молоко упало?

— От давления,— говорит,— оно упало.

— От какого,— говорят,— давления?

— От внутреннего,— говорит,— давления. У коров,— говорит,— на стенки желудка давление пониженное. Силос-то зимой скормили по вашему велению, на мерзляки половину извели. Ждём вот Егорьева дня.

— А что, он тебе, сена накосит?

— Да нет, примета такая: если в Евдокию-каплюжницу курочка водички напьётся, так в Егорьев день коровушка травушки наестся.

— Лёгкая у тебя жизнь, Зобин: по суеверьям, как по букварю.

— А что? Только не лёгкая, а простая, как картошка: не съедят — так посадят. Так как: на ферму или по стопарику? Нет? Рак пить не просит? — ткнёт пальцем в тощий живот командировочного.— Вишь, как поопал за дорогу-то. Много ли сейчас из тебя выдоишь?

...Ну, раз такие принципиальные (а самому нельзя вести на квартиру-то, там — шаром покати),— айда по фермам. Да так их за день упетает — жмых жмыхом, хоть в кормушки закладывай.

Не про то я сказать-то излаживалась. Может, чего не так напишу, так ведь обидно мне. Ни за что человека сняли, от живого оторвали. Много ли он там в гражданской-то обороне напракочудит? Только одна жена и попользуется. Его ли это масштабы? Вишь, приписали ему приписки какие-то. Подумаешь, пятнадцать первотёлок за нетелей по отчётности провели. Зато надой на тринадцать килограммов выше среднерайонного. Кому худо?

Наоборот, всем хорошо. Знамена да премии дак приятно получать. А о человеке не подумали. Что у него в мыслях-то? Конечно, не военные объекты, а коровы, телятники да ещё кое-кто. Прирос ведь он к нам. Уж если бы за что и ругать, так за неправильное поведение в семье. Я уж открою тебе Вам одной. Что я видела — больше сроду не увидать. Вот иду я в прошлом году из больницы по заполоскам. Эдак в июне, в середке. Да, до двадцатого. Только силосовать начали. А в больницу я бегала — справку от ларингита брала. Голос изошёл по агитбригадам. Ловкие я частушки складывала:

*Много водки выпивают
Паклин, Петлин и Рычков.
Коллектив второй бригады,
Приструните мужичков!
Неужели сад зелёный
Не сумеем расплодить?
Если нет — дак на болоте
Лучше клюкву разводить.*

Зачем вот пишу? Всё равно моего звонкого голоса не слышно.

Ну, вот и выхожу я из березничка со справкой, а безголосая (забегала с пеньков опёнки обобрать). Вижу, во ржи полстада пасётся, а где наша Дунька полоротая? И кричать — шишеньки, хоть справку изорви! Я бежать — запле-таюсь, вижу, сапоги торчат знакомые, Зобины. Ну, перепугалась до смерти. То ли спит, то ли убитый. Захожу эдак тихонько с головы, трясусь вся, при-сматриваюсь. Батюшки-светы! Лежит небольшой такой, широконыйкий, ловкий, а из-под низу Дунькина морда торчит. Закатила глаза под лоб, пристанывает. Головка-то у ёй в бороздку запрокинута. Смотрим друг на друга, как две дуры.

— Здравствуй, — говорит, — тётя Фая!

А он как впился, так и молчит.

Ну, ну и ну! Ладно, голосу не было.

А если бы всё излагать по-настоящему, никакая бумага не вытерпит, особенно школьная, на какой пишу. В общем, убежала я не знамо куда, три дня пролежала, как в справке велено. А его всё нету, присоска. Тосковать уж начала. Возьмёт да руки на себя наложит — больно просто. Ежели по правде — дак он и меня использовал в личных целях. А как не использовать? Домой-то ездить перестал, как осудили Чёрную бабу. Эдак его законную все прозывают. Только по-народному судить-то следовало, а не по-товарищески. Ишь, до чего умна, думает, все дураки: детские шары по 10 копеек за штуку торговала. Может, кто взрослый бы не сообразил, а ребяташки сразу доткнули.

...Вот, значит, лежу, слышу, скребёт чего-то. Прислушиваюсь, скребёт и скребёт. Догадалась ведь: это же Игрек на дворе стену грызёт. Привычка у него такая. Самого нет, а я уж и лошади рада... Ладно, помирились мы. Вот обидел, паразит, а я разве жаловалась? Даже бабе его ничего не сообщила. Может, не так поймёт. А Дунька — что? Бродяжка. В одном, другом месте поживёт, — да опять годы не видно.

Как тут сердиться? Прижмётся ко мне, дышит в подмышку, положит руку на живот: обхватить-то не может. Мне, поди-ко, и самой-то себя бы не обхватить. А раз и говорит: «Слушай, какую я частушку слышал. Пацанята под овином пели:

*Ёлкино — деревнюшка,
Стоит, как городок.
Всю деревню украшает
Тети Фаин передок.*

Да не дергайся, — говорит, — не злись. Это они, — говорит, — дом твой хвалят. А что? Один на всю деревню опушённый да двухэтажный». Сам хохочет да поглаживает, ну, сама знаешь где. Дом-то, верно, с виду хорош, да какой мой: низ — клуб, верх — библиотека, сама на подворье. Ну, пусть хохочет.

В общем, вы мне хуже, чем Дунька, устроили. Та хоть поздоровалась. Признавала, значит, выше себя. А теперь ходят слухи, будто он дом продаёт и уехать желает. И жену будто бы на вывоз берёт. Эдак вы все кадры из района разгоните. Это всё была констатировка. А теперь вот постановляющая часть. Как выйду на повить, как посмотрю на двор — Игрека нету, так и зайдусь слезами.

Скоро парники набивать, а где я возьму конского навозу? Даже конюшню в деревне перевели. Конечно, можно и без огурцов прожить, я грибные места знаю. Много грибных местов знаю, а моего-то, моего-то места и нет. Чего мне осталось — кто знает?.. Может, умру. А не умру, дак как скажете, так и стану жить. Вот какое моё постановление. Побежала на почту, чтобы не напахнуло передумать. Ну, всё. Заезжайте когда на чаёк. Фаина».

Николай Иванович содержание письма знал, поэтому сейчас прочитал его как-то меланхолично и зыбко. Будто одним махом схватил всё, но не разумением, а чувством, скорее даже ощущением. И от этого тревога какая-то ожила в нём. Неоправданная, по-видимому, тревога. Уж не посочувствовал ли Фаинушке?.. Ого, лужа какая впереди!

В обход, в обход надо, Николай Иванович!

И вот чудо! Он будто сжался весь в грудную клетку, всю волю собрал, задавил дыхание, весь превратился в «надо» и, ощущая огромное напряжение

в груди и голове и чуть не касаясь невесомыми подошвами земли, поплыл над лужей. Даже немножко дальше, чем необходимо, проплыл — не мог опуститься.

Ух, всё, сердце только давит! Ничего, вон уж видна аллея еловая на бугре. Отдохнуть можно будет. Уж слышно, как с однотонным спокойным свистом с одинаковой силой сочится воздух сквозь двойную хвойную стену. У кого это ума хватило ни с того ни с сего насадить красоту такую? Редкий бы не удивился, не подумал об этом. А Николай Иванович слышал, правда, тоже глухо, что некий попик дал обет обнести весь волок ельником до самой волости. Все восемнадцать вёрст с обеих сторон. Столько вёрст, сколько годов было, когда утопилась совращённая им девушка. Так ли, нет ли, а полностью не верилось. Николай Иванович был материалист, он серьёзно учился два года (потому и сумел вернуться в район) и думал, что попик не душу, а шкуру спасал, хотел смирением, добродетелью и страданием купить у мужиков сытую жизнь. Никто теперь не знает, сколько желчи питало его смирение, но, верно, немало. Иначе бы не сошёл в могилу на двухстах метрах. И новая мысль догнала Николая Ивановича. Зажгло-зажгло вдруг под кожей на темечке, будто буравчик калёный закрутился. Неужели какой из сосудиков развязался?

Развязался... развязался... что-то никак не связывается... Попик... Фаина Ивановна... А-а, вот откуда тревога-то, вот откуда сердце-то жмёт! Ну-ка, ну-ка, как это она сказала? И Николай Иванович опять как-то сумбурно вспомнил разговор-напутствие. Н. Н. говорила ему: «Об этой тетрадке пока знаем Вы да я. Пока не регистрировали. Лучше для всех, если б и мы забыли, Зобин действительно уезжает. И мы не будем его держать. Не из-за распутства, конечно, хотя и за это надрать следовало бы. Только поздно камни вдогонку кидать. А вот: самознай! Князьком жил. Знаете ведь, как зарплату выдавал? Из кармана. Кто попросит — тому и даёт. Ни ведомостей, ни расписок. А большинство колхозников до полгода ни рубля не получали. Одно хорошо: себе не грёб. И пил, как курица. Тут — чист. Но-о! Дворы новые поставил — за полрайона ссуды забрал. Двадцать лет с государством не рассчитаться. Если, конечно, не спишут, — тихонько добавила она. — В тупик загнал экономику. Вот в чём беда. Нельзя было больше оставлять. Да и моральная сторона... Если б раньше знать...

А Сочновой скажите: если не совсем из ума выжила, пусть этот бред сожжёт, старое из ума выкинет. Дальше жить надо. Но из секретарей — немедленно! Под любым предлогом. Пусть сама просится. Виктор Матёров там есть. Молодой, но ... звеньевым его назначили. По картофелю. Заочник. Поживите, присмотритесь, проведите собрание. Я на днях загляну. А её спросите:

как дальше думает жить? Ну, Вы найдёте, что сказать. Вас знают, уважают, да и опыт, кажется, некоторый в таких делах есть».

Николай Иванович слушал очень серьёзно, он был озабочен необычным заданием, потому, наверное, и последняя фраза показалась ему уместной. А потом за хлопотами забыл о ней.

«Праздничные дни можете побыть дома, навестите жену, привет передайте от меня, а третьего отправитесь. Извините, но придётся пешком».

Ага, вот когда доходить-то начало! Намекнула о «некотором опыте». Вот как, оказывается! Думаешь, и сам забыл, а выходит, люди помнят. Да и другим по секрету, видимо, передают. И хоть знали, наверное, многие, Николай Иванович обозлился на Зобина. Вот шкура!.. Ведь в одном кабинете в ту пору сидели. Vis a vis — нос в нос, как говорили древние греки. Греки! Он и натрепал — больше некому. Кое-кто лишь ухмылялись, а он уже тогда начал голосок подавать. Вот гад кареокий! Придёт утром, потычет по углам своим греческим носом:

— Неважно что-то Анюта прибирается. Отяжелела, бесовка. Придётся докладную подавать, чтобы уволили. Давай напишем, а?

Николай Иванович поднимет голову от бумаг, делает вид, что соображает.

— Только, наверно, не уволят в таком положении, — лениво добавляет Зобин.

— В каком положении?

— Ох, и недогадлив же, Николай Иванович. Ну, в каком ещё положении может быть одинокая беззащитная бабёнка, как не в этом самом? Беззащитная, понимаешь? — и тут же берётся за телефон. Через день-другой опять:

— Нет, верно, не оставяй дверь открытой. Видал, какой живот Анюте надуло? Нам-то ладно, тепло. А ей каково на сквознячках-то работать?

Николай Иванович терпит, мается. Жизнь становится противна. А Зобин при ком-нибудь снова:

*Я к милашечке во горенку
Тишком-тишком-тишком...
Стали люди поговаривать,
Что милушка с брюшком.*

Не понимает, чурбан, что при посторонних легче отлаиваться.

— Турок ты турок, балаболка, замолчишь или нет?

— Чего сорвался, Николай Иванович? Я ведь не про тебя. Сейчас заткнусь. Дай только допою, пока не забыл:

*У милашки у моей
Брюхо каравашиком.
Я стою и хохочу
И тычу карандашиком.*

Николай Иванович багровеет. Кто поручится, что пепельницей не зафитилит? А зафитили — дурак поймёт: на воре шапка горит. Вот и вертит в набрякших пальцах красный карандаш. Как выкрутиться? Кто поможет? А Зобин уж разошёлся. Смотрит на Николая Ивановича, будто задумывается:
— Ага, вот как надо-то:

*У милашки у моей
Брюхо каравашиком,
А я совсем не хохочу —
Карандаш в руках верчу!*

Николай Иванович хватает пепельницу, а Зобин уж выскочил в коридор. Давится смехом, но — никому ни слова. На все вопросы: «Принципиальный спор. О цепной реакции. Гончих кобелей. Усекаете?» И — величаво, имитируя готовность записать: «Ваше мнение, сэрочка?»

Это спасало Николая Ивановича. «Сэрочки» начинали обсасывать Зобина. И сходились в одном: турок. Через час мирились. Зобин каялся, клялся: «Засох, заглох, завязал. Спаси, сохрани и помилуй. Работать буду».

Потом Николай Иванович вдруг спросит: «Как думаешь, по мясу к Октябрьской сделаем?» Зобин ещё не успевает надеть масочку для ответа, а уж выпалит: «Конечно, сделаем. Живых людей и то делаем!» Запоздало затихнет, ждёт. А Николай Иванович не пожелает искать намёка, примет за производственную шуточку. Живут. Но...

Но однажды женщины утром принесли новость: У Анюты выкидыш. Операцию пришлось делать. Не ахти положеньице!

Не угадал, брат Зобин, про живых-то людей!

Конечно, на скору руку чего путное сотворишь? Добро ещё, так-то хоть получилось. А кто тебе условия создаст? Ишь, барин. Комфорт — дело личное. Кому что нравится. Один, вон, говорят, на гвоздях спал. Ушлый: на сквозняк не вылез, небось. Ну, ладно, не наше дело. Даже и не подсудное. Поправляется, говорят, Анюта. Питание бы надо укрепить. Как тут, что тут — ума не приложу. Вот штука-то какая. Примерно такими мыслями смущал Зобин Николая Ивановича. И до того довёл, что в один прекрасный день тот пришел на работу в тапочках. Зобин нахохотался после, а наразу удержался от ехидства:

на белом, как тапочки, лице Николая Ивановича часто моргали ресницами два красных пятна. Он не подал Зобину руку, взял два листа бумаги и одно за другим без помарок написал заявления.

В первом было: «В МК профсоюза от члена месткома (такого-то) заявление. Прошу оказать материальную помощь технической служащей (такой-то) в связи с нерождением ребенка. Сейчас она находится на излечении в больнице и сама написать заявление не может». Подписался и взял второй лист. Вывел своим красивым с левосторонним уклоном почерком шапку на имя председателя райисполкома и продолжил: «Глубоко осознавая свою личную ответственность,— тут он запнулся, подумал, обвёл взглядом родные стены и зачистил — за состояние сельского хозяйства, прошу направить меня в любой колхоз на руководящую работу. В решении прошу не указывать, что по личной просьбе». Заклеил в конверт, надписал и отдал Зобину. Сказал «прощай» и ушёл. И больше не приходил, пока не вызвали, куда надо, и не отправили, куда хотел. К первому заявлению в местком тоже отнеслись серьёзно, помощь выделили, а похихикивали уж потом.

Дома Николай Иванович объяснил, что его всё же сослали за прямоту, а подхалима Зобина оставили. Но ничего-ничего, он его выведет на чистую воду.

— Там-то хоть не таскайся,— неожиданно сказала жена.

— А что я, по-твоему...

— По-моему, ничего хорошего не выйдет.

Видишь,— показала на сыновей,— без отца вырастут.

С тем и расстались...

Николай Иванович разгорячился, вспотел, распахнул пальто, но влажный ветер так начал обшаривать его тело, что скоро он заподрагивал. Наконец, добрался до ельника, нашёл пригорок посуше и привалился к стволу.

«Ах, праведник! Ах, моралист! Всех с носом оставил. С греческим! Турок был, турком остался. Как-то там Фаюшка бесится?»

Только к вечеру увидит её Николай Иванович.

Полулежать было так приятно, удобно, будто у Фаюшки на венском стулике. Ветерок в хвое спит, как остывающий самовар, тонкие облачка клубятся и исчезают, как парок над камфоркой. Фаюшка раскраснелась (у них уж бутылка распочата), а всё ещё оправдывается:

— Оба дня по бригадам мотались, как проклятые. Опять, поди-ка, голос сорву. Только и лекарства, что пуншик. Ну, давай, Николай Иванович, с дорожки-то хорошо. Бери огурчика-то, свои, не купленные, нынче-то вот не знаю, на чём и выращу.

И попозже:

— На собрании что надо, то и говори, а сейчас-то побудь человеком, оба ведь мы с тобой Ивановичи. На-ко хромочку разведи, застоялась я что-то.

Николай Иванович будто всю жизнь только и делал, что играл, так легко и резво выходит: отвори да затвори, отвори за затвори. Фаюшка стесняется, прохаживается, на носочках полкруга сделала, повернулась, покачалась, ча-стушку выпела, будто уголья горячие рассыпала:

*С неба звёздочка упала
Четырёхпротяжная.
До чего дряля неважный —
Завлекает каждая!
Ух ты-ы!*

Николай Иванович рванул меха, нажал на басы — гармонь зарывкала. Фаюшка продробила дважды, на носках приотпрыгнула — и-их! и-их!

Николай Иванович отворачивается, а всё равно видит, как юбка дрыгает на тугих бедрах. Вот опять перед ним:

*Про меня чего сказали:
В положеньи нахожусь.
Ну, кому какое дело? —
Принесу, так и вожусь.*

Ох, весело, мутно, пьянеет голова! Фаин голос напрягается, отчаянно смелеет.

*Через реки, через горы,
Через райпотребсоюз,
Помогите, ради бога:
Старой девой остаюсь!*

«Господи, где я спать-то буду?» — в изнеможении страшится Николай Иванович, а Фаюшка уж ведёт его, ой, ведёт-от...

...Давайте-ка, давайте, остановимся лучше. Не поручусь, что в нескромности нас не заподозрят. Да и чем мы тут можем помочь? Кого спасти? Притомились люди, устали, отдохнуть следует. Им ведь ещё, помните, что предстоит? Ну-к бы кому из нас на их месте просыпаться пришлось! То-то. Давайте-ка лучше погасим свет...

«Свет? — встрепенулся вдруг Николай Иванович. — Неужели нас подслушал? Свет?» — он открыл глаза. Точно: так вчера со светом и уснул. А неес-

тественно бы со светом-то засыпать. Вот оно и навоображалось. И тут же — «нет без воображения руководящего работника!» — вспомнилась фраза из высоких уст. Не совсем тухляк, значит. Худо только, что воображал в пьяном виде. Трезвый шиш что придумаешь! Неужели все руководящие пьют?

Во логика, да? Стоп, Николай Иванович! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Не туда, брат, закидывает. Вот полежи, вытяни ручки-ножки, что ты эдакой кумелькой сунулся? Полежи, послушай, попростукалось ли в левой-то волости, образинушку в порядок приведи, причереди в избе-то, бездомник, порадуй жену — она поймёт, что ты выподдился, увидишь, как синими-то своими пальцами по твоим задубелым проведёт. Да не бери с собой сумку-то, в кармане тетрадочку донесёшь. Горло завить не забудь: весенний ветер обманчивый. Себя блюди да и к делу поостроже повернись. Ну, успокойся, никто же не знает, что тебе намерещилось. Давай вставай!

Через две недели Николай Иванович возвращался домой. Он полегчал, окреп. Иногда озирался — не видит ли кто — и чуть не пританцовывал.

Жена из больницы выписалась и ворчала по телефону, что меньшей приехал, что добрые люди уж на огородах копаются. Вот он и торопился. Тропинки подсохли. Можно жать напрямую. Жать — жать...

Он в пять шагов разбежался и прыгнул через лужу. Да, жать. Недолго и до жатвы. Вот ведь как в природе всё м-м... комплексно. Тут тебе и тает, и течёт, испаряется, набухает.

«Проклёвываешься?» — наклонился он над фиолетово-зелёной сочной завязью ягеля. — Не мёрзнешь ночами? Ну-ну...»

Тут ступишь — пузырится, там топнешь — гудит, лист в монетку — тока кончаются. Живой посев завершён. Береги, выхаживай, корми, подкармливай. Здорово всё-таки, в двенадцать дней управились! Ну, картошка, овощи-мелочи. Не поздно. При такой-то технике. Подкормку с самолёта ведут. Вон площадка заправочная у еловой аллеи. Сам дважды летал. Ой, муторно! Николай Иванович не стал смотреть в ту сторону. Аллейка богова! Чёрт-те что накипело тогда на мозгах. Он даже головой потряс. На деле-то проще, живей. Понятней.

Фаину Ивановну он встретил тогда у зерносклада на краю поля. Она заметила его издали и призывно махнула красным флажком. Он ускорил шаг. Около сеялки стояли несколько женщин в фуфайках, как и Фаина Ивановна, два подростка и Виктор Матёров, тракторист.

— Вот, — объяснила, — премию пришла вручить и флажок. Виктор, значит, победителем у нас вышел. Поздравляю Вас, Виктор Ионович, от имени парткома и правления колхоза! И впредь так держать надо. Не подведёте?

— А не! — весело сказал он и отломил нижнюю челюсть.

От этого продолговатое рыжее лицо его стало ещё длиннее.

— По коням! — добавил и повернулся к трактору, и пошёл переживать свою радость.

«Ничего детка!» — позавидовал Николай Иванович, глядя, как кривоватые в бёдрах ноги будто подворачивают под себя непророшшую землю, а широкий остов вырастает на фоне замглевшего неба. Вихлястые подростки бегут за ним, поотстав, для солидности сильно наклонясь вперёд. Кажется, подверни Виктор землю позагрёбистее — и они упадут, покатаются к ногам Николая Ивановича, к женщинам, к костру.

— Практиканты из училища. Где же на каждого техники напасть, — объяснила Фаина Ивановна.

В это время трактор молодецки пошёл под уклон и скрылся из глаз, рокотал тише, отдаваясь дрожью в прозрачном осиннике.

«Сыро на концах, тяжело поворачивать», — отметил Николай Иванович и обрадовался, когда звук снова загустел и налился ровной спокойной силой. Они невольно приближались к краю поля. «Бодро обернулся, молодец», — подумал Николай Иванович и, сделав Виктору знак сбросить обороты, прокричал:

— Не сильно, Виктор, гоняешь?

— На то и скорости, чтобы манипулировать, — серьёзно ответил тот и даже руками изобразил для наглядности.

— «Н-да, тесать да тесать ещё», — с сожалением подумал Николай Иванович и пригнулся, закуривая. Он не знал ещё, как начать разговор с Фаиной Ивановной, да вдруг в удобную минуту (они уже повернули к складу) и подал ей тетрадку. Она взяла её так спокойно и просто, будто знала, что ей что-то подадут, и бросила в костёр.

— Ни к чему теперь, Николай Иванович, — сказала больше для женщин. — Я ведь уйду. В библиотеку в профсоюзную. В леспромхоз. Квартирку обещают. Под старость-то, — усмехнулась невесело. — Так что вот, — развела руками, — по-хорошему бы дела передать.

— Ну-ну-ну, сразу и передать, — смутившись и радуясь неожиданному исходу дела, забормотал он. — Ну-ну-ну, — это ещё надо подумать.

И однако весь остаток дня провел в поле в хорошем настроении, таскал мешки, заправляя сеялку, проверял норму высева, потел и просыхал и, наконец, ему ничего не осталось, как идти к Виктору ночевать.

В спокойном уюте чистого высокого дома Николай Иванович разомлел. Тело его призывало сытный ужин и тёплый ночлег, и от ощущения близости

всего этого он вдруг проговорил: «Да-а, тут жить можно». Но Виктор его не понял и рассмеялся на похвалу.

— Я эту примитивщину всю снесу, кроме стен. Водяное отопление сделаю. Вверху ни одной чтобы печи. Кухня будет внизу. Печь, конечно, русская, только с плитой вместо шестка и с котлом. В кухне под полом — скважина. Отвернёшь — и вода. А отработанную из батарей — в парник. Я под навозом трубы проложу. Парник-то у меня с уклоном. А остынет вода — её через шланг на полив. Думаете, лучше городского не сделать? Хе-й! Не знаю только, где труб взять. А потом всем нашим старухам надо так сделать. Бригаду, понимаете, создать. Вот как по механизации ферм. Да пусть она же и делает. Деньги, сколько определяют, в кассу. Ребятам — зарплата. Чтобы не шабашка, а работа — верно? Правильно? А то у коров — новый быт, а колхозник забыт, пожилые особенно. Вон на центральной ферме — конвейер: ешь, барыня ты моя, пей, голубушка... Ах, оправиться, красавица, вздумала? Оправляйся, не стесняйся, сейчас транспортёр включу.

...А что, правильно думаю? Председатель поддержит. Я его знаю. Заводной. В парнях всё аэросани строил. А пока механиком был (он заочно институт-то кончал) — мастерскую колхозную наладил. Ни у кого ещё тогда не было.

Николай Иванович только успевал оборачиваться, топчась у стола, а Виктор с разговорами успел достать суп, ложки, нарезал хлеб.

— Садитесь, Николай Иванович, — а тот уже с трудом скрывал мысли о секретаре партийной организации. Он ещё и в парткоме не посоветовался, а мнение было почти твёрдое: его, Виктор!

— Конечно, поддержку крепкую надо, а то намаемся... Кого вместо Фаины Ивановны выбирать будете?

Николая Ивановича покорило от этой прямоты, но он не поправил Виктора.

— А кого бы ты предложил?

— А меня, — и смутился, и похотел деланно, и вышел, будто на кухню.

А Николай Иванович не знал, что и подумать. Он втайне ждал этого ответа и предосудительного ничего в нём вообще-то не находил, ну, а как же всё-таки это так, а?

— А чего, Николай Иванович? — сказал Виктор, — возвращаясь. — Я, конечно, уважаю Фаину Ивановну, но ведь частушки да плакаты — а? Не то? Конечно, не то. Головой работать надо. Рассчитывать. Раз уж нас, меньшого брата, за людей считать начали — вон и заработок пошёл, и паспорта дают, видно, надеются, не разбежимся, — что я должен делать? По обязательству 200 центнеров с гектара будет. Это по картошке. Звено у меня. И зарплата,

и доплата. Дом отделаю. Техникум кончу. Женюсь. Машину куплю. На «Запорожика» уж сейчас есть. Но это мамыны. Ох, дорогие денежки! Мои дешевле будут. А дальше куда? В кулаки? И так уж по углам материальная-та заинтересованность повела.

— Как это: по углам?

— А так: разве Фаина Ивановна сравнится со мной? А старухи? А я разве богач?

В общем, вот... Заяц трепаться не любит,— укорил он себя, услышав, что мать вошла.

Маленькая и сухонькая, держа перед собой бадейку с молоком, видимо, почувствовала что-то и из прихожей пристально заглянула в большую комнату.

— Мама, садись, поужинай.

— погоди вот.

Она процедила молоко, разлила по кастрюлям, умылась, накинула вязаную кофту и вошла.

— Здравствуйте!

Николай Иванович ответил на приветствие и запнулся, не зная, как её звать-величать.

Но Виктор выручил, представил их друг другу.

— Ну, вы ешьте, ужинайте, а я самовар наставлю, чаю вместе попьём.

Ужин прошёл за незначущим разговором о погоде, горячем и запчастях. Наелись, отодвинулись, закурили.

— Будет дымить-то, кадило, будет! Шёл бы самовар лучше принёс,— добродушно проворчала мать.

— А я, мам, лучше молочка,— и пошёл в кухню.

— Ну, дак ведь не один ты. Вот поперёшной. Солоновата свининка-та,— обратилась она к Николаю Ивановичу. Тот и сам чувствовал, что солоновата, и не думал отказываться от чайку.

Виктор внёс самовар как серебряный кубок и аккуратно поставил на светлый поднос. В комнате стало торжественней и уютней.

— Что стоишь? Шёл бы поразгулялся. Не думай, на дом не прибегут,— будто строго проговорила мать.

— Не, мам, контрольную надо делать. Я позанимаюсь пойду.

— А-а-а, ну, раз дело, так да-а-а,— её голос зазвучал уважительно.

Виктор ушёл в соседнюю комнату, а она села к самовару напротив Николая Ивановича и стала разливать чай.

Он смотрел на её пригожее чистое моложавое лицо и чувствовал по морщинкам у глаз и перебору губ, что вроде бы что-то весёленькое хочет высказать.

А она и впрямь кивнула на дверь да и:

— Ты думаешь, что он там делает? — прошептала. — Письмо строчит. Каждый день, как забухмарится, застроит планы, зачистит сапоги, засобирается, я ему: что ты всё дома да дома? Из трактора да в книгу. Пробегишься до клуба-то. Три версты не крюк. Может, и дождь перейдёт. Знаю поперёшнова. «Нет,— говорит,— мама, позаниматься надо». — «Смотри, говорю, твоё дело, я бы вот и погуляла, да...»

А глядишь, и поучит, и письмо сочинит. Двадцать ведь пятой год-от пошёл.

Николай Иванович почувствовал себя легко и просто, проще, чем дома. Там уж много годов приходилось быть настороже. Он припивал чай, улыбался да послушивал.

— Как бы свою деревенскую взял, всё бы ладно. А ну, как городская сманит? Корня-то, Коленька-й, у них нету в деревне. Ну, какая я ему корень? Все уж мы корешки сухие, подмытые,— посмотрела на левую руку и погладила её. Кожа сухо прошелестела. — Как услышу про нонешние-ти надои — три да три пятьсот, губы сами запереребираются, можно подумать — радуюсь. И верно, радуюсь: нако вот,— она встала и из-за заборки принесла в рамочке,— почитай.

В рамочку была вставлена жёлтая вырезка из газеты. В ней говорилось, что Северный крайисполком премировал пятьюстами рублями ферму колхоза «Каршенгский» за достижение почти двухтысячного надоя за 9 месяцев и повышение жирности молока до четырёх и шести десятых процента.

Николай Иванович с удивлением уставился на неё: он-то знал, сколько дохода теряют колхозы на низкой жирности да повышенной кислотности. А она так праведно и кротко помаргивает неясными глазами.

— Вот, Коленька-й, и было из чего масло-то вологодское поделывать,— довольно поджала сухие белые губы. — Вот и тянет по земле-то ходить.

— Да-а,— задумчиво протянул Николай Иванович. Он уж прикидывал, как использовать этот факт (да и другие найдутся!) на очередном слёте животноводов.

А хозяйюшка уж разговорилась:

— Не худой у меня парень-то. И думает вокурат. А вот хитрости — маленько да надо бы. Весь в родителя, в Ионушка — царство ему небесное! Тот, бывало, не доглядишь — совьётся из дому и магазин открыт! Господи, не тем будь помянут! — Она зажмурила покрасневшие глаза и натужно договорила:

— Похитрее бы — так, может, и сейчас жил. Не всё бы в первую голову. В сорок втором по чистой пришёл. А в Победу уж на могилу четвертинку да пирог-картофельник ставила.

Николай Иванович ословело слушал печальные слова её, а она проглотила комок и добавила:

— Сам велел Виктором-то записать. Пусть, говорит, я не доживу, так сын победителем будет. А я ему всё не сказываю, берегу, вроде боюсь чего-то. Вот женится уж, дак...

И вдруг она расслабила напряжённое лицо и с улыбочкой зашептала:

— Слышь-ко, после сессии-то зимой привозил свою, показывал. Ну, что сказать? На смотринах, известно, все скромные, ровно сирень в бутончиках, а не хватает чего-то, вижу... «Получше-то,— говорю,— сынок, ужли не нашёл?» «А там,— говорит,— мама, все такие».

Посмеялись приглушённо, посмотрели друг на друга и опять прыснули.

— Молоденькая ещё, экономисткой будет, учится, как хозяйство лучше вести,— хмыкнула с недоверием и опять поджала губы.— Ну, да не куда деваюсь, подскажу...

И без особенной связи утвердила:

— Город надолго не сманит, были бы корни надёжные. Вы их в дело-то пускайте, как следует...

...Николай Иванович добирал уже последние километры и впервые за многие годы чувствовал себя как новенький. Ничуть не ныло в груди, даже печень пока затаилась, и, что уж совсем странно, не хотелось выпить. Конечно, в подсознании ластилась мысль, что встреча с сыном не может обойтись без кхм... кхм... Но он будто не замечал этой ласки, просто игнорировал её, как надоедливую, но любимого щенка.

Радостное возбуждение несло его. Оно зародилось с первого дня командировки и окрепло ещё неделю назад на партийном собрании, когда коммунисты без единой оговорки выбрали Виктора своим секретарём. Тот принимал поздравления, а сердце его впервые по-настоящему сосала хорошая неожиданная тревога, и оттого выражение продолговатого рыжего лица его было недоумённым: «Что же теперь делать-то?»

А Николай Иванович торжествовал избрание Виктора как свою заслугу. Про себя он посмеивался над его фантазиями о переделке старушечьего быта и успокаивал себя тем, что дело покажет. Оно заставит отказаться от излишества, а не заставит — так некому что ли поправить, повернуть? Конечно, он чувствовал какую-то несправедливость в том, что часто ещё не человек ведёт дело, а дело ведёт человека, но не хотел додумывать на эту тему. Его самого немало «доворачивали», но с Виктором, он знал, будет сложнее, потому что того не клевал ещё жареный петух в темечко. И Николай Иванович то желал ему победы, то скорейшей весточки о том, что Виктор остепенился. И к этому

уже была предпосылочка: планчик-то на первое время они набросали умеренный. Хотя вообще-то оба варианта устраивали Николая Ивановича.

Файну Ивановну проводили тоже по-людски. Каждый сказал ей хорошее слово, а от правления колхоза ей была подарена книга местного издательства «В борьбе за Советский Север» и модный в ту пору плёночный с алюминиевыми рёбрами парник для огурцов.

Ах, чёрт, нельзя ничего вспомнить! Парник! Сразу зазвенел упрёк жены, что добрые-то люди уж в огородах копаются. Пусть копаются! Нашла чем корить! Да они с сыном за выходной весь огород взроют! И Николай Иванович представил, как они будут искоса наблюдать друг за другом в негласном, но ярком соревновании, и усмехнулся тому, что он-таки победит. А потом сделают гряду под лук, и он сам его посадит, пока сын перекуривает, а навозом закрывать будут оба. Сыну он вилашки подаст, потешится его неловкостью, а сам руками, со вкусом, вот-так, вот-так!.. Но это завтра. А сейчас — в баню! Эх, в баню-у! Он с силой зажмурился, потом резко пороботал всеми мышцами подсохшего лица и как бы со стороны окинул себя энергичным взглядом.

А что? Ничего ещё! Подглазиц как не бывало, выражение бодрое, душа на месте, правда, вот руки (он повертел кистями перед собой) подзапустил. Ну, ничего, отмоет в бане. И всё-то у него — эх! — будет чистое!

ОБИДА

Под вечер в деревне заговорили, что машина-таки пойдёт в город. Груняха кое-как процедила молоко, накинула платок с алыми цветами по чёрному полю и побежала к Иванку. Хоть и близко до Иванка, да время-то дорого: сено повернуть надо бы, сопреет трава, уж и так с неделю лежит, ночами подкошена. Сушить время, а разве днём убежишь, да с граблями-то? Завидят, докажут — не открестишься. А и сынок хорош: ну-ко в эту пору-то да провожай его. Вот остался бы да покосил-поогребал, уж о возке пока думать нечего. Нет, худая надежда — телеграммой вызывают из отпуска. И отдохнуть не дали, и брагу не припили, и внучки-белянки парным молочком не натешились...

Добро бы проводить на машине-то. От места до места, от крыльца до вагона. Самой не трястись. На автобусы надеяться нечего. Со свистом мимо проскакивают. Насадят народу где попадя. Надо не надо — всех везут. Да и не близко до автобуса: семь вёрст. Одной бы так неча и говорить, а тут с внучками. Ну ведро с мёдом да рюкзак пусть отец несёт, а девчонок куда? Веди

их за руки, верти башкой по сторонам, всё показывай да рассказывай — язык истреплешь. От ручья к ручью, от куста к кусту, то под мостик, то под кустик, то одной, то другой. Не-е-ет, Иванко хороший, хоть и Марьи-блудницы, он сvezёт. Он сvezёт, он, Иванко, хороший...

Груняха торопится, идёт, словно подныривает, далеко заноса левую ногу, а потом резко дёргая её назад. «Рупь-пять, рупь-пять», — дразнят её в деревне за походку, а за глаза зовут Потапкой. Груняха знает об этом и на прозвище не обижается. Да и всё меньше дразнителей остаётся в деревне. Скоро и совсем не останется. И подразнить будет некому. А худо, поди-ко, одной-то. А куда денешься? Михайла бог приберёт. К сыну? Это к сыну-то? Это она-то? Это по одной-то половичке ходить? Не поговори и не выругайся? Нет, нет, нет, вот проводит да и поезжай, милой, с богом! Нет, нет, нет, на своей печи помирать надо...

Груняха к Иванкову дому подлетела вгорячах. И опомнилась. «Господи, царица небесная, прости меня, грешную», — наскоро проговорила она и по тёплым от солнца ступеням вошла в прохладу сеней. Дверь нашарила сразу, но скобы на обычном месте не было!

Груняха оторопела, но вдруг вспыхнул свет, дверь отворилась, и из-за неё высунул голову Иванко.

— А, бабка Аграфёна, проходи. А я думаю, кто у дверей скребётся? Здравствуй. Проходи, садись чай пить. Чего «не хочу»? Садись, садись, — говорил он, а жена его уже пододвигала блюдце с наполненной чашкой к краю стола.

— Вот медку бери, сегодня качали.

Груняха отказывалась, но всё-таки села. Осмотрелась. Не бывала она в этом доме с сороковых годов, с тех пор, как стала подмечать, что её Мишуха-бригадир больно охотно даёт наряды Марье-вдове. Теперь, глядя на телевизор, на полосатые шторы, на ковры, на полку с книгами, Груняха вспомнила, что Иванко года три как перебрал дом. На фундамент поставил, гнилые венцы выкинул, подвёл новые, обшил, выкрасил. В тереме живут...

Удивление Ивана прошло, и всё-таки он недоумевал, зачем явилась Потапка.

С детства врезалось Ивану в память, как честила она его мать. И сейчас, глядя в её лицо, на котором рыжела на носу толстая бородавка, на её пребывающий в постоянном движении рот с мокрой нижней губой, он невольно испытывал давнюю детскую неприязнь к этой теперь уже старой женщине.

— Ну, быде, чашку, — сказала Потапка.

Груняха вежливо ставила блюдце на губу, левой рукой поднимала кверху свободный край и сливала чай в рот. Около её бородавки вилась муха.

— Гли-ко, у вас и мух нету,— удивилась она.— А у нас дак дверь не отвори— так в рожу и лезут, как собаки. Девчонок искушали— нет живого места. Добро, скажут, у баушки погостили.— Она чувствовала, что сейчас-то и можно заговорить о машине. Ну, да завтра... Ой, да не сюда ли Кочубей заворачивает? — перебила она сама себя. И то сюда.

— Надо выйти,— Иван отвернулся от окна, захватил сигареты и пошёл.

— Наливай сама, бабка Груня,— сказала ей жена Ивана.

— Ой, Аннушка-й, будет. Слышь-ко,— наклонилась к Анне,— твой-от часто в конторе бывает, не слышно, покосить-то разрешат, аль опять до белых мух? В других-то бригадах, слышать, давно тяпают.

— Не знаю, бабка Груня, и врать не буду.

— Нашему-то Кочубею давно бы можно народу сказать: косите стишка. Много ли нас осталось-то? Себе-то, поди-ко, не опоздал. А что? Всё в руках дак: и лошадь, и машина, и на тебе что.

— А не тяжело, бабка, корову-то держать?

— Как, милая, не тяжело? Одне корма все рученьки выломат. Ну, сейчас, ладно, лето, а зимой: воды наноси, согрей, пойло изладь: и хлеба туды, и свеколки, и морковки, а то и пить не будет. Нохристая.

— Продавать-то не думали?

— А я-то чего буду делать? — удивилась Груняха, округляя глаза.— Михайло лежмя лежит, да и мне? Не-е-т, я и его-то матерю, чтобы не забылся да не умер. Как же без коровы? Иной раз и сметанки захочется, и творожку. Да и повадней, сходить есть к кому, поговорить аль полаяться. Нет, милая, не думали.

— Дедушко-то Михайло всё лежит? — посочувствовала Анна.

— А что, Аннушка-й, сделаёшь? Лежит. Сейчас-то вывожу на крыльцо, на повить,— а уж муху не отогнать самому. Зиму-то всю в избе. Может, и потянет, буде с водой не уйдёт.

Груняха уже беспокоилась, что разговор и затянулся, и не про то, и чутко вострила уши — всё равно только мужицкое «бу-бу-бу» под окном. Не разобратъ. И терпеть дольше не терпится.

— Рано ли, Аннушка-й, в город-от твой собирается?

— В горо-од? И не поминал. А как проснётся, так и свернётся! — вдруг закричала она.— И неси лешой! И не приноси! И там не убрано, и тут не прибрано, навоз не выкидан, баня без крыши. Люди сено возам возят — у него не тягнуто. Одна да одна. Как в котле кипишь. Хоть разорвись!

Груняха на это вытаращила глаза, ещё сильнее выкатила сырую губу. Ей было и неловко, и нельзя уходить ни с чем.

Пришёл Иван.

— Ну, засиделась я у вас. Спасибо за чай, за сахар. Сказывают, Иванушко-й, утресь в город тебя наряжают?

— А меня, как девку под венец, нарядят да разрядят. Иной раз весь день примериваются. Из бортовых один я во всём отделении на ходу. Не работа, а нервотрёпка. Выпить некогда.

Иван уже смекнул, зачем пожаловала Потапка, и изображал раздражение, чтобы и жену утешить (он слышал её крики), и Потапку убедить, что, мол, он-то с удовольствием бы, да вишь, какие начальнички. Он был возбуждён: Кочубей давал две ночи, чтобы вывезти сено себе и ему. «Не твоё дело, что будет. Скажу, что у Потапки да у Симки-немой незаконное отобрали да в сарай свалили. Туда сегодня вожено — не разберут. А ты говори: на техуход, мол, становлюсь, не сегодня-завтра уборка, директор из отпуска бац! — а ты в полной боевой. Усёк? Хочешь жить — умеи вращаться круг начальства. Ха-ха-ха!»

— Нашему Кочубею всё неймётся, хоть за каждую кампанию голову снимай: что за посевную, что за уборочную, — добавил он.

Груняха понял, что больше разговора о проводинах не будет, что утром внучек ей придётся вести самой до автобуса и трястись в нём в город, если посадят. Её холодом окатила мысль, что дом придётся оставить на Михаила, на пустое место. «Скотину, ладно, обрядят, а ну гроза? Не вчера ли пробки выщелкнуло? Такая сушь. Дранка — порох, не приведишь — пойдёт пазгать. Ни пруда, ни телефона. В одночасье сгорит. Добро, скотина на выгоне, а как ночью? Всё сгорит, и сам сгорит. Господи, хоть бы уж поскорее! Сколь годов ни тпру, ни ну, ни в ту сторону, ни в эту. Жить не живёт и мереть не мрёт. И жизнь, и смерть — обеих омманывает...»

— Ну погоди, я те оману! Я те, блудне, попомню. «Сходи, мать, к Иванку-то, он свезёт, он, Иванко, хороший», — передразнила она. — Хорош твой Иванко! Весь в мать-распутницу.

Потапка нырнула под жердь огорода (она бежала как в забытьи, напрямиком).

— Взять бы тогда вот кол-от, да обоих к лешему! Или вымазать дёгтем, да в перьях, да кнутом-то по блюду! «Хороший Иванко!» Ишь, кобель, одной ногой во гробе, а как присох! Худо, видно, наразу-то отвадила.

Нет, хорошо отваживала мужа Груняха. И прохожему, и проезжему — всем на уши навесила, какой у неё кобель муженёк. Когда ей сказали, что Михайло с Марьей устроились головка к головке, «как два цветочка на некоси», она боком-боком да и завернула на ту поляну, где прибирали последнее сено. Нет, ни одна копна не ворохнута! Заглянула за кусты — вся поляна

измята-истоптана! Её обдало жаром, затуманило мозг, и хоть в последний момент, как впасть в ярость, в сознании мелькнуло, что тут лежали овцы, она уже ничего не соображала. Все самые тяжкие ругательства кидала она в любовников, её голос на вечерней заре хорошо доносился в деревню. Всех святых собрала, всю родню до седьмого колена. И с этим молебном двинулась в деревню. Но, подходя, меняла тон на жалостливый.

— Среди бела-то дня, бесстыдники, при живой жене да от детушек, нет ни сердца у вас, ни совести.

Люди слушали, хохотали, пряча улыбки и смех за дверями и окнами.

— Всю поляну извездили, чище коней выбили, никакая трава тут не вырастет, а и вырастет, так поганая, — выла Груняха.

Ребятишки, в том числе оба Груняхины и Марьян Иванко, бегали потом искать ту поляну, да так и не нашли.

Домой в тот раз Груняха пошла через двор, нервно играя губами. Михайло как раз поил овец из колоды.

— Что, кобелина, прискакал? — заскрипела она.

— Одурела, с возу свалилась? Смотри, не то...

— А я тебе то: вот как опояшу разок-другой по калгану-то — как щи прольёшь!

— Ну дура, ну дура...

— Умных ищешь? С постного на молосное потянуло?

Овцы давно убежали со двора, а Михайло всё хлопал глазами.

— Как на люди-то пойдёшь? Думаешь, вывеличивать будут: «Михай-ало Михайлович, Миха-айло Михайлович», — передразнила она. — Кобелина поганая — подумают.

— Ну, пусть думают, пусть думают, — сдавался Михайло.

— Ишь, благородный, рожа моя ему омерзела! На личико позарился! Сама знаю, сколь баска. Только не потаскуха. Не-е-т!

— Да ведь с личика-то, Груня, не воду пить, сама знаешь, морда-то даром и овечья, лишь бы душа человечья.

— Присуши язык, «морда-личико»! Я те дам «морду-личико»!

Нет, хорошо отваживала мужа Груняха.

...Перед отъездом сына Михайло всю ночь не спал. Взбалмошная старуха опять задала ему трёпку. Двадцать пять годов с того дня кануло, а лает, как гончая Альма по тёплому следу. Всё понимал теперь Михайло: и людей, и жизнь, — а не поздно? Понимал, что и старуха поедом ест не со зла, а горе бы извести, облегчить душу. Поезжай-ко за сто вёрст киселя хлебать: в духоте, в пыли, посади в вагон да на той же ноге обратно!

И за Марью-покойницу на арапа берёт: знает — не было. А ведь и не было! Может, и надо так. Не дал бы тогда остратки себе — что-то вышло б — неведомо...

Тянулись они друг к другу, понимали это, стыдились — ну-ко бы достыдились до дела? Михайлу и сейчас, от одних воспоминаний, становилось сладко и зябко.

Марья умерла внезапно, у сеялки, нагибаясь за мешком. Ткнулась головой в мешок, завалилась набок и всё. Михайло ещё раньше стал вянуть. От бригадирства отошёл как-то незаметно, дела повёл молодой и наглый сержант Аркаха, вскоре прозванный Кочубеем...

...Наступило утро. Груняха обрядила скотину, выгнала со двора, последний раз накормила, напоила гостей, усадила вдоль половиц.

Помолчали.

— Ну, с богом! — и девчонки зашлепали вслед за отцом, конфузливо улыбаясь дедушке, а Груняха сказала Михайле:

— Ты, отец, лежи, никуда не ползай. Молоко принесут, пироги в горке, зеркало я завешала, самовар убрала, пробки вывернуты. Ну да не век я...

— Зашла бы, мать, к Кочубею-то, может, отрядит Иванка, — пожалел он.

— Опять за своё, «морда-личико»? — прошипела она. — Сказано, не пойду боле!

Ушли. Михайло попеременно спустил ноги, с кровати встал, придерживая кальсоны, по стенке дошаркал до бокового окна.

«Синё, светло, зелено! А и рыжинку видать. И то: август...»

Внучки бодро шагают по тропке, краснея колготками.

Груняха стоит под яблоней и украдкой крестит дом. Сейчас уйдёт и она.

И оттого, что он остался один и обруган, и от вида уходящих по тропинке внучек, и просто от немощи, по сухим колким от щетины щекам Михайлы потекли слёзы.

Он горестно сжал зубы, крепко зажмурил глаза, вытер мокрые щеки.

«Эх, немочь!»

— Знать бы, что эдак лаяться будет, ещё не так бы гулять надо-то! — простодушно, без угрозы проговорил он, вцепившись в косяк.

«ДВА НЕФЁДА»

(шуточка)

Часто-не часто, случается, между бывшими не разлей-водой будто чёрная кошка пробежит, а не то и какой другой зверь.

...По длинному коридору навстречу друг другу приволакивающей походкой идут двое служащих. Один из отдела сбыта, другой из отдела снабжения. Оба в серых костюмчиках, белобрысые, каждый на левую ногу прихрамывает, Нефёд Дмитриевич и Нефёд Васильевич. Одновременно пугаются встречи, но поздно. Слева от Дмитриевича — окна зашпингалённые, слева от Васильевича — двери засургученные.

Вот она, судьба, — не увернёшься!

— Всё побегишь? — негромко приветствует в поклоне Нефёд Дмитриевич.

— Всё полаиваешь? — тихонько отвечает в кивке Нефёд Васильевич. Пристойно, вежливо, со стороны — будто поздоровались.

А уж друзья были! Семь лет в одну чернильницу макали, четыре года на одной Карюхе пахали. Не успела Карюха Дмитриевичу на ногу наступить, а уж Васильевич заприхрамывал. Да так и привык. Вот какие друзья! В одну деревню гулять бегали. За два поля, два ручья. Вот во втором-то ручье и слышали. Услышали и обрадовались. Всё-таки повадней. Как ни говори — глухо, темно, декабрь. Кажется, до мая не рассветёт. Душа зябнет.

А тут — живой звук от земли к небу. Как кстати! Только горький какой-то звук, полый, человека в струну вытягивает, позывает на вой. Волки?!

Ещё больше друзья обрадовались. Даже ноги к месту приросли.

— Вот повезло-то! — первый заметил Васильевич. — Если хорошо будешь лаять, не одного успокоим!

— Это как — лаять? Как Дружок... лаял, да? — выдробил зубами Дмитриевич.

— Да! Да! Только не так громко, чтобы надольше хватило.

— Надольше? А ты куда? — озаботился обречённый.

— Да сколько говорить-то? За ружьём я. Ты лай, лай, ну! Подманивай! И Васильевич — хвють-хвюю, хвють-хвюю — через поле, да и залетел прямо к Зинке в дом. Она в рубашке плянется, без лифчика — не по нынешней моде, конечно, а так — спать наладилась.

— Ой, — осела голосом, — запирать хотела, не придёшь, думала... Да чего ты, дурачок, не трясься, — говорит, — папы — мамы нету, не бойся. С мясом в город уехали. Я, — говорит, — тоже долго боялась. Только расписаться не обмани!

Молчит Нефёд, только чувствует, что пришёл-таки, а зачем пришёл — хоть убей!..

А второй Нефёд в ручье подлаивает, переступить боится. «Ав-ав!» — и негромко так, с провизгом, заскулить хочется. «Ав-ав!» — закинет голову, а сверху две Медведицы зрачками блестя, а у месяца рожонки бледные, молочные. Заезвайся — живо и эти отлетят!

Волки повывают, Нефёд полаивает. Минуту и другую, и пятую. Привыкать стал. Так бы лаял и лаял.

И вдруг! Только было завёл молодой залиvistую — осёкся, будто по загривку получил. Вот когда по-настоящему-то озноб Нефёда хватил! Тишина такая, что слышно, как звёзды потрескивают. Потрескивают звёзды, а волки — где?

— Окружают? — охватило всего.— О-о! На это они мастера! Дружка-то на крыльце прибрали!..

И Дмитриевич так завился к дому, будто в пятки по игле воткнуто.

...Теперь уж они не сердятся друг на друга и даже иногда с усмешкой рассказывают эту историю, будто про знакомых, разумеется. Хихикают, а у самих у каждого томится душа, будто хочется снова испытать ей озноб и трепет от волчьего воя и шороха ночных зимних звёзд. Намеренно почаще выходят покурить, надеясь на встречу. А встретятся ненароком:

— Всё побегиваешь? — поклонится один Нефёд.

— Всё полаиваешь? — кивнёт другой.

Ха-ха!

...А волки в ту ночь выли ещё долго. Для порядка. У них был мудрый и спокойный вожак.

1976 г.

ОПЯТЬ ПОВЕЗЛО

Енашка одним духом примчался к Селиванову дому. Не видел, что тот на веранде — солнце горело в стёклах, — но почувствовал: тут дядя Селя. Распахнул дверь. Селиван обрезал воск с рамок. Хоть и сильно на глаза ослаб Селиван, зато слух и нюх были что надо! А и было что понюхать! Пахло тёмсом, мёдом, воском, огуречным и укропным духом. И всё это смешивалось с кисловатым запахом выделанных кож.

— Что ты, черти гнали? Здорово! — сказал Селиван, оскребая нож о край кастрюли.

— Дядя Селя, опять повезло! — затараторил Енашка.

— А что, ещё когда везло, что ли? — с усмешкой спросил Селиван. «Глупой! Чего ему повезло?»

— Да как же! Когда норок-то брали! А тут выдра! У омутишка в заломе. Сам видал!

— А не врёшь? — засомневался Селиван. «Выдра! Чуть ли не в огороде, считай!»

— Не! Где Гопник? Бери ружьё! Побежали, уйдёт! — торопил Енашка.

Ему не терпелось вернуть хорошее расположение дяди Сели, исправить прошлогоднюю промашку. Тогда они ходили на норок. С ними была Курша, чёрная старая сука, спец по норному зверю, и Гопник. У ручья Курша заволновалась. Енашка и опомниться не успел, как грянул выстрел, и норку вместе с водой выкинуло на берег, прямо к Гопнику. Мокрая, измятая в собачьей пасти, она показалась Енашке жалкой и некрасивой. Но Селиван обрадовался, оживился, даже закурил «на кровях», и снова давай шастать, где больше лому, завалов да подмоин.

Курша скоро отшила Гопника, и он подался на мышей. Енашка звал-звал его, но тот обидно на него взглядывал, влаивал и совал морду в мышинный ход. Кобель он был рослый и сильный, хвост закручен на спине, как пружина.

— Оставь ты этого Гопника! — озлился Селиван. — Возьми вот спицу, шуруй в норе.

Енашка взял спицу — выпрямленный железный зуб от конных граблей — и стал помогать Курше. Она рыла исправно, чувствовала зверька. Ходов десятков разрыли впустую. И вдруг Селиван увидел норочью мордочку.

Норка высунулась на секунду, но, видимо, испугалась открытого места и убралась. До воды было не меньше метра по мокрому песку. Селиван подскочил к норе и изготовился.

Как он успел почувствовать нужный момент — загадка, но уже через секунду держал зверька за шкуру на вытянутой руке.

— Енашка, надевай рукавицу, держи!

Енашка засуетился, выдернул у него из кармана ватную рукавицу и потянулся к норке. Она извивалась, билась. Енашка почувствовал её живое тело, которое надо схватить, стиснуть, а он ещё этого не умел.

— Держи! — рявкнул Селиван, но Енашка от испуга разжал пальцы. Норка мгновенно исчезла в норе.

Из распоротой подушечки большого пальца Селивана текла кровь. Но он только Гопника напинал, а Енашке ничего не сказал. А лучше бы уж сказал, чем фыркать да молчать до самого дома.

Это воспоминание мелькнуло в сознании Енашки в словах и картинах, стеснило грудь тяжестью старой вины.

Но радость сегодняшней близкой удачи возбуждала его, делала смелым. Ведь это же выдра, не чета каким-то там норкам!

— Сто рублей,— вдруг ошарашил его Селиван,— есть у матери?

— А зачем? Не зна-а-ю...

— Не зна-а-ю...— передразнил Селиван.— Кто штраф платить будет?

— Какой штраф, дядя Селя!— изумился Енашка.— Там же никого нет!

Ну-у...

Пошли, наконец.

Гопник впереди бежит, за ним Енашка припрыгивает, вполоборота пританцовывает, а Селиван сзади вышагивает, прижимая ложу ружья правой рукой.

Енашка на ходу рассказывает.

— Ужу сижу, не клюёт: вода чистая. Вдруг справа, на мелкотке, за ломом— такой плеск, как корягой ворочают. Думал, утки взлетают. Какие тут утки! Вдруг тихо. Я тихо сижу, из-за травы выглядываю. А она на меня из лому уставилась. Во как уставилась!— он вытаращил на Селивана глаза.— Морда бусая, усищи торчат. Я как сидел на корточках, так и подался шагов на пять назад и подрал. Ту-ут. Не ушла-а. Не узнала она меня,— уверенно сказал Енашка.

Омутишко взяли в клещи. Селиван занял Енашкино место, ружьё готове в руках. Енашка прыгнул на кучу лома, позвал Гопника: ищи! Тот закрутился, зафыркал, задрожал ноздрями и нагло попёр в глубину реки. Но под берегом ему было всего по грудь. Берег с гнилыми пеньками и молодыми ольшинами навис над водой.

Слышалось, как под ним в обширной подмоине хлюпала взбаламученная Гопником вода. Он теперь искренне волновался. Вздвигивал, скулил, отфыркивался, смело совал голову в воду до самых ушей. Поворачивался к хозяину, коротко стонал, выскакивал на берег, совался вверх-вниз от омутка, вскакивал на завал и опять лез под коренья.

Енашка на месте повторял каждое движение Гопника, стонал и скулил вместе с ним.

Селиван скоро убедился, что выдра тут. Значит, быть ей на раздиральном крюку. Не сейчас, так утром, не утром, так днём. Даже лучше, если без

Енашки. Пусть треплет, что видели. И потому, когда Гопник нахлебался воды, устал, вымок, засомневался, стал делать круговые пробежки по лугу, Селиван не одёрнул его. Мутная вода уже не дробилась на струи, а тускло лоснилась всей массой.

Ольшняк затих, потемнел, деревенские тополя стряхнули последний ответ солнца — смеркалось.

— Ушла, видно,— зевнул Селиван и закинул ружьё за спину. Не торопясь закурил и бросил несколько спичек в завал. Сухая осока занялась быстро.

— Пусть горит, не мешает звериному ходу.

Гопник понял сигнал к отступлению, вышел из воды и начал старательно отряхиваться. Брызги летели Енашке в лицо.

Он утомился, хотелось есть, но хотелось и поймать выдру. Отступление Селивана огорчило его.

Пошли в деревню, не выискивая дорогу посуше, а прямо по солотине — по грязи.

Гопник весело бежал впереди. Незаметно было, что мок больше часу. С каким удовольствием напинал бы сейчас Енашка этого красавца! Ишь, дочего бравый. А худо, наверно, кобелю быть красивым, но глупым.

Сам-то Енашка не писаный красавец, зато... Но он не стал додумывать на эту тему: выдру-то ведь не взяли.

В своём огороде Селиван ускорил шаги, подозревал Гопника и потрепал по загривку.

— Ничего-ничего, парень, недолго уж до лосиного гону, тут ты не промах!

Он решил, что как только Енашка уберётся, он Гопника привяжет на цепь у выдриной норы, чтоб знала стерва, что стерегут. Лишь бы огонь не погас, дотянул до нужного места.

Селиван обернулся к Енашке и сказал весело:

— Что скис, охотник? Радоваться надо: сами живы — раз, душу не сгубили — два, штраф не платили — три. Выходит, опять повезло! Жаль, выдра ушла, — и нервно захохотал. — Ну, спокойной ночи, беги!

«А всё же хороший дядя Селя: весёлый, не жадный, может выстрелить дать...» — думал по дороге домой Енашка.

ДОЧКА-РАДУГА

Идёт гроза. Вода струится с карниза, как прозрачная занавеска с кистями. Лена и Света стоят между застеклёнными дверями подъезда. Блеснёт молния — они зажмурятся, загремит гром — они станут тихие и серьёзные, всё пройдёт — высовывают носики в щель, отставляя ноги от брызг. Визжат, толкаются.

Минут пять — и гроза уходит. Подружки выскакивают за прозрачную занавеску и на цыпочках, придерживая подолы, пробуют мокрый и тёплый асфальт. Одна в платье васильковом, голубенько-синем, как небо, другая в жёлтом, ромашковом, как солнце за дымкой дождя.

Нестрашная туча уходит, солнце острыми пиками подкалывает её за лес.

— Смотри, какая радуга-а-а! — показывает Лена.

— Она синя-я-а!

— Это моя-а! А вон, смотри, маленькая-а, она жёлта-я-а! Это радуга-дочка-а! — Это моя-а!

— Давай, я буду мама-радуга, а ты дочка-радуга-а!

— Дава-ай!

— Побежали-и-и! — кричит Лена.

— ...ли-и-и, — откликается Света.

И они с разбегу взлетают, как бабочки, по густому, по плотному, синему, красному, жёлтому — разному свету.

Трепещут руками, высоко, вы-ше-е.

— И-и-и!..

— А-а-а!.. — звучат их голоса далеко и вольно и в небо, и в землю, и во все-распревсе стороны света.

— Ты меня види-ишь? — кричит Лена.

— Вижу-у-у! Ты где-э?

— Я над лесо-ом!

— А я над поле-эм. Я какая-а?

— Ты хороша-я-а!

— А ты тоже-э-э!

— Пойдём к маме-э-э!

— Пойдём-о-ом!

И они сбегаются у подъезда, две славные выдумщицы, Лена и Света.

Сейчас они маме ой что расскажу-ут! И в глазах у них будет лукавая мудрость и свет.

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Деревня моя Лаврентьево — в Междуреченском районе. В течение столетий она была во владении Спасо-Прилуцкого монастыря.

В деревне стояла каменная церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы — её строили с 1800 по 1815 годы на земле помещиков, надворных советников С. П. Дурнова и А. В. Ушакова. Колокола лили вологодские купцы Макар и Елисей Лебединовы при старосте Иване Андрееве.

Теперь деревня Лаврентьево — слом да вывих, а помню я её вот такой — живой и людной.

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ!

Деревня, как дитя в кровати, нежится в огромной долине. По ней течёт Белый Шингарь. Солнечные блики играют на его плёсах и омутах. Он будто жмурится. Но дунет ветерок, и — как мурашки по телу! — по его блестящей спине пробегает рябь.

Деревня большая — о пяти концах. Каждый конец имеет своё прозвище. Большие деревенские петухи отлично знают это.

— Кукареку-у! — беспечно несётся из Нетужиловки. — Разживёмся-а!

— Только жди! — грубо кричат из Фёдоровки. — Ку-ка-ры!..

— Хата с краю-у-у! — в стороне поют парфёновские.

— Ха-ха-ха-ха! — трясётся Смешной край.

— Слава солнцу-у! — горланят введенские. Они заносчивы и форсисты.

Их край всех выше, там стоит церковь без креста.

Солнце поднимается круче. Блестит всё: соломенные и тесовые крыши, окна домов, тяжёлая листва тополей, трепетные листья осин, недалний сосновый бор на буграх. Особенно блестит река в ярких кувшинках. Дымчато блестит ситник, остатки росы на берегах.

Во дворах и в заулках звенит жесьть: старухи и молодухи доят коров. Первые струи у неловких бьют в дно подойников, звенят и брызжут, хозяйки половчее устраиваются впрысядку, сжимая ведро коленями, и упругие струи ударяют вскользь о стенки не так резко, потом всё глуше, потом с шумом в молоко, и густая пена пузырится, оседая в полных вёдрах. Потом коров провожают за мост, ласково похлопывая по крестцам. Маленький седой пастух идёт впереди стада.

Дядя Паша Бабушкин.

— Куда доить приходить? — кричат ему.

— В наволоки!..

Это обширное нескудеющее пастбище в пойме реки. Оно иссечено курьями, ручьями, старицами и удивительно богато разнотравьем: осока, пырей, тимopheевка, щавель, белая кашка, гусинец, пастушья сумка, красный клевер — приволье! Около пастухов целый день крутятся ребятишки — удят рыбу, пекут картошку, дерутся, сушат листья и учатся курить.

Днём клёв стыхает. Огромные язи, подъязки и окуни выставили в воздух спинные плавники, а некоторые и длинную покатую, как коряга, спину. Чуть колышутся розовые жабры и багряные поджаберные плавники. Сорожки, густера, окунёвая мелочь, буркаши выбрались на илистое мелководье у берегов, где обычно пьёт скот. Щуки дремлют в водорослях, полных тайны.

В деревне тихо. Народ в полях. Калитки закрыты, но не заперты. Или щепка воткнута в пробой, или палка приставлена наискось двери — издали видно: дома никого нет.

Под вечер деревня как бы «просыпается» снова: скрипят калитки, двери, отводки, звенят ведра, стучат колёса, ржут лошади, и, наконец, наступает главное событие дня — стадо идёт домой. Его встречают у моста и стар и мал. Многие спорят, какой завтра будет день.

— Красная телушка впереди — ведро будет!

— Вон эта баржа её сейчас обгонит!

«Баржа» — это самая дойная в деревне корова чёрно-пёстрой породы. Она долго выплывает из-за церковной ограды, тяжело покачивая упругим выменем.

— Зорька, милая, тпру-ко-тко-тко! — зовут красную.

Колхозные коровы идут на ферму, личные, которых не встретили, разбредаются по реке, остывают, подходят к домам и трубят в окна: «Му-у!» — требуют дойки.

Через полчаса люди с ведрами тянутся к ферме: несут сдавать молоко.

Идёт большая война — всего надо много.

И деревня отдаёт всё, что может.

ПАША — ДУРАК?

Мишка сел на порог и завернул через него сначала правую, а потом и левую ногу. Первый за утро барьер был взят. Он встал. На гладких некрашенных досках босым ногам стало тепло-тепло и немного щекотно. Он снова сел на порог и скрючил пальцы. Только вчера Мишка с матерью переехали к бабушке. Так велел отец из Красной Армии. Друзей у Мишки здесь совсем нет. Мишка подпёр голову кулаком. Высокие осины лопотали нежно и трепетно.

Листья мелко дробили лучи и ярким светом брызгали на Мишку. Глазам тоже стало щекотно. Всё тут какое-то щекотное. Мишка пошёл с крыльца.

— Иди-иди, бахвал, — сказали из-за угла.

Мишка остановился.

— Я не бахвал.

— А почто штаны на лямках, как у бахвала? — выскочил парнишка повыше его.

— А почто у тебя съехали, как у... у... — он не посмел сказать «как у старика».

— А я всё равно тебя перегоню! — и парнишка рванул к соседнему дому, только порточницы захлопали. Мишка ринулся следом, но не догнал.

— Пить хочу, пойдём. Это наш дом, — сказал длиннорюкий, когда отдышались.

В прихожей на скамейке стоял деревянный ушат с водой. В нём плавал тяжёлый медный ковшик. Хозяин вытянулся на дыпочках и накинул дверной крючок.

— Сначала загадку отгадай: утка в море — хвост на заборе, а?

— Гы, — сказал Мишка и показал на ковш.

— Ничего не «гы»: я и сам не знаю, — начал сосед затуманивать, но чувствовал, что превосходство утвердить не удалось.

— А ты читать умеешь?

— Чита-ать? — Мишка, конечно, читывал в свободное время: расстелет на полу газету, ползает по ней и визжит на разные голоса, но ведь на серьёзный вопрос и отвечать надо серьёзно.

— А я умею. Пошли!

Маленький хозяин открыл толстенную книгу и чётко утвердил палец под большой буквой.

— Кы! — сказал он гордо, затем язык побежал бегом.

*«Как ныне собирается вещей Олег
Отмстить неразумным хазарам.
Их сёла и нивы за буйный набег
Обрёт он мечам и пожарам...»*

А палец медленно поехал наискось страницы, отставая от языка.

— Я тебя тоже обреку, — радостно сказал чтец.

Мишке стало совсем тоскливо. Как хорошо бы оказаться дома!

— Хочешь, фокус покажу?

— Покажи, — нехотя согласился Мишка.

— Ложись на пол.

Мишка лёг.

— Я тебя только три раза обойду, а ты говори: «Паша — дурак! Паша — дурак!»

— Какой Паша?

— Какой-какой! Никакой, вот какой! Так все говорят, чтобы фокус получился.

— Ладно, валяй!

Фокусник протянул руку к печке и взял небольшой ухват. Мишка забормотал: «Паша дурак! Паша дурак!»

— Как бы не так! — фокусник быстро прижал ухватом Мишкину шею к полу.

Мишка изогнулся в ловушке: «Дурак! Пусти!»

— От дурака слышу. Я тебя не обзывал.

— И я не обзывал.

— А кто кричал «Пашка дурак?»

Мишка начал понимать, да поздно.

— Пусти! Я ведь не тебя...

— А кого? Если я один Паша на всю деревню... — самодовольно сказал хозяин. — Иди, бахвал!

Ухват был убран.

Мишка потёр шею. Посмотрел на ладони — в саже, вытер их о штаны и пошёл к двери. Он тянулся, сопел, подпрыгивал, касался крючка, но скинуть его не мог.

— Открой!

— Скажи: пожалуйста.

— Открой, пожалуйста!

— Скажи: Павлик, открой, пожалуйста.

Мишка опять запрыгал у двери. Опять зря.

— Павлик, открой, пожалуйста, — дрожащим голосом попросил он.

— Иди, бахвал, — Павлик скинул крючок.

— Я к тебе никогда не приду! — выскочил Мишка.

Павлик крутнулся на пятках, погрузил ковшик в воду, закрыл книгу, пнул ухват и сел у окна.

На улице жарко, рыба не клюёт, обед — не скоро, играть — не с кем. «Паша — дурак?»

Мысли были горькие.

ГОРШЕЧНИКИ

На другое лето появились новые знакомые. Они всегда ходили друг за другом: в длинных штанах — Николка, в коротких — Алексашка, в трусиках — Генашка. Собственно, Генашка ещё только учился ходить: через кочки — переступал, а не перепрыгивал, через лужи — шёл вброд, внимательно глядя только под ноги. Отец у них болел, и его не взяли на войну. Они были э-ва-ку-и-ро-ван-ны-е. Отец в пустой церкви оборудовал гончарную мастерскую и вместе с женой делал всякую посуду: чашки, плошки, горшки, корчаги. Ребята помогали носить дрова, топить печь, мять глину, крутить гончарный станок, обжигать и ставить готовую посуду на полки. Поэтому их и прозвали горшечниками. У семьи не было ни коровы, ни козы, ни кошки. Зато всем троим отец сделал диковинные свистки из той же глины. Один в виде жаворонка, другой похож на синицу, третий — на зайца. Николкин заяц гудел, как пароход, Алексашкин картавил из-за горошины, вставленной жаворонку в зоб, Генашкина синица только сипела. Но когда они менялись свистками, сипел Николкин, а Генашкин издавал вдруг чистый и тонкий звук.

Братья свистели постоянно: и на крыльце, и в реке, когда у берега дёргали ситник и ели белую пористую сахарную мякоть стебля, и на лугу, когда рвали кислицу и дикий чеснок, белую кашку, головки клевера и пастушью сумку.

Вот идут они гуськом: Николка в длинных штанах гудит, Алексашка в коротких вроде дразнится, Генашка в трусиках только сипит. А идти им мимо Павлика с Мишкой. Эти оба бросили городки и стоят с кубылялками в руках. Кубылялки — это биты. Но такого слова они не знали. Да и что такое — биты? Чего хорошего? То ли дело — кубылялки! Вон как кубыляются в воздухе, когда водящего определяют. Упадёт ручкой к тебе — выходи, нет — води!

У Павлика с Мишкой уже дружба стала завязываться, особая, тонкая, на грани войны. И скрепить её можно было только в борьбе против общего врага.

Они почувствовали это мгновенно, как только слышали горшечников. Сразу изготовились, бросив игру. А враги шли дерзко, гуськом, с музыкой, не обращая внимания на заставу. Хозяева нашлись!

Павлик и Мишка переглянулись. «За правое дело — до конца!» — сказали друг другу взглядом.

- Давайте в городки играть! — крикнул Павлик.
- Некогда нам, — ответил Николка.
- А нам какое дело! — заступил дорогу Павлик.
- Пусти! — толкнул его Николка.
- Врёшь, не пройдёшь, — упёрся Павлик.

Генашка захныкал. Синие губки противно искривились, грязный кулачок потянулся к глазам. Николка обернулся:

— Генашка, беги домой! И ты! — крикнул Алексашке.

Оглядываясь, те отбежали метров двадцать.

Мишка бросил грязью в их сторону.

Николашка вдруг всхлипнул от злой обиды, ткнул Павлику в подбородок и тоже подрал.

Друзья растерялись. Но кто бы отказался преследовать противника? Они на ходу хватали комья грязи и со смехом бросали, стараясь не попасть в оставшего Генашку.

Горшечники заскочили в дом.

Победители залегли в канаве.

Вражеский дом стоял на пригорке, как крепость. Было не ясно, как её взять. Штурмом? Осадой? Бомбардировать?

Павлик отковырнул комок влажной глины, поднял его и сам себе отдельно скомандовал:

— По гадскому хутору-у!

— Ржавой мино-о-ой!

— Ого-о-онь!

Комок ударился в стену.

— В атаку! За мно-ой! — подражая Паше, крикнул... отец горшечников.

Друзья испугались. Они не заметили, как он подошёл с тылу. Бежать было неловко, поздно. Они насупились, съёжились.

Он присел на корточки, свернул сигарку и закурил.

— Тебе нельзя курить, — сказал Мишка. Он это слышал от матери.

— Всё равно теперь, — ответил тот, как большому.

— Паша, у тебя где отец?

— На войне, где ещё?

— Пишет?

— Лонись писал. Он трёх немцев убил. Он пулемётчиком работал, — с надрывом сказал Павлик.

— А у тебя? Пишет?

— Давно не бывало.

— Он кто?

— Комиссар.

— О! — встал отец горшечников. — Приходите в церковь, по свистку сделаю, — и он пошёл в дом.

Мишка и Павлик посидели, подулись. Разговор не клеился. Встали, пошли.

- Слушай, давай Генашке ягод дадим,— предложил Мишка.
— Я им крючок отдам. Окунёвый с бородкой. А в рыло тоже заеду! Чего лезет? Нечего первому начинать! Верно?

ВОТ КАКИЕ КНЯЖИКИ!

В лесу бабка ходит согнувшись. У неё бельмо на правом глазу. А она всё равно голову вправо клонит. Приглядистее искоса-то выходит. Не удержал Мишка лапу еловую — хлестнула бабке по лицу. Свет выхлестнула. Год уже прошёл. Пообвыкла. Видит, как Мишка за год-то налился. В рост не торопится, а крепость копится.

Бабка боится заходить глубоко в лес, кружит у опушки, чтобы церковь из глаза не потерять. Её далеко видать, хоть и пониже стала без креста. Да и лес невысок: молодые ёлки-сосенки, редкие.

— Минька, ау! — для порядка бормочет бабка, обходя ёлочки одну за другой.— Не спеша ходи, не спеша гляди, листья пёстренькие, глазки востренькие... Минька, ау!

Подняла голову, насторожилась.

— Минька, ау! — прикрикнула.

Замерла, слушает.

Не откликается внучек. Только трава шуршит да кто-то сопит-шуршит за кустом.

— Вот сейчас иду! Вот сейчас приду! — погрозила бабка.

— Погоди, не ходи! — откликнулся Минька.

Он ступал бычком, трусил серым волчком, скакал зайчиком — не видать грибов. Стал вышагивать рыжей лисонькой: ногу поднимет — осмотрится, переступит — осмотрится, увидал такой гриб — просто всем грибам гриб!

Он зажмурился — гриб стоит, головой потряс — гриб опять стоит, сделал три шага — а гриб всё стоит, ещё больше становится.

Слышит Мишка, как бабка аукает, а откликнуться — голосу нет от радости. Подбежал к грибу, на колени встал — никоторому не отмеряться. Только у одного голова, как белоус, белая, на солнышке выгорела, у другого шляпка тёмная — на том же солнышке запеклась. Зато ножка сахарная, толстая, двумя руками не обхватить. Мишка дёрнул гриб — не выдернул, набок стал клонить — не клонится, стал мох подрывать — не шатается.

— Бабка, иди! — со смехом захныкал Мишка.

— Вот сейчас иду, вот сейчас приду... Ах ты, мой золотой, нашёл гриб не простой. Это гриб княжик, не простой мужик,— лукаво выговаривает бабка.

- А чего он не выдирается-а-а?
- А подходу ждёт. Не всякого с наскою возьмёшь. К тебе — так, к другому — эдак. Ты возьми да попроси.
- А как попросить?
- А вот как:

*Ах ты, гриб-боровик,
Даровит-родовит,
Родовит-даровит,
Обмануть норовит.
Подпрыгни на ножке,
Запрыгни в лукошко,—*

выпела бабка.

- Обходи три раза кругом да и приговаривай.

Мишка обходит, подгибает босые пальчики, щекотно ему на сухом скользком белоусе, слова забываются, не выговариваются, а бабка подсказывает, усмешку таит. «Пусть,— думает,— язычонко наминает, речистее будет».

- Ты закрой глаза-ти, вот и не забудешь.

Он старательно жмурится, а бабка запускает тёмную морщинистую руку в мох и подламывает корень.

- Раз, два, три! Ну, бери!

Мишка наклоняется, как бычок, ухватывает корень обеими руками.

Рывок — и он летит на спину.

— Ура! — кричит он. — Послушался!.. — Бабка, а почему корень сломался? Вон сколько в земле осталось!

— А так и надо, милушко. От него новый гриб пойдёт, да, может, не один. Ты молодец, что не весь выдернул. Все умные ребятки так делают. Тебе радость — и людям осталось.

...Вот какая удача, вот какая бабка, вот какие княжики — Мишка и белый гриб!

В тот же день Мишка рассказывал Павлику о лесной удаче. У того захватывало дух. Он тоже бегал в ближний лес с девчонками. Они бродили по высокой траве, по кустам — грибов не было. А потом вышли на сенокосную поляну. Среди серых валунов стояла невысокая толстая ёлка. Большая площадь под ней была засыпана иголками. На ней Павлик увидел столько толстых поганок!

- Смотрите! — крикнул он. — Поганки!

Девчонки сбежались.

— Это же княжики! — присела старшая, Шура. — Ай да Паша! Сам нашёл — сам и бери!

— А мне можно? Один? — попросила Любанка.

— Берите все! Тут много!

Радостные, они быстро расхватали грибы. Досталось по две-три штуки. Когда вышли в поле, стали думать, как идти по деревне с такой небольшой добычей.

— А я травы на низ нарву, — догадалась Любанка. Так и сделали. А сверху разложили корни и шляпки белых грибов. Трава проглядывала, и по деревне они шли скромненько. Мишке он в этом не признался.

— Бабка уж много засушила, целый мешок! — хвастал Павлик. — На всю зиму хватит, и на войну посылать будем.

— А у меня мама кисеты шьёт! Целое платье распоролась...

— А сам? — Мишка задумался. Что он может сам? Не скажешь ведь, что иногда для мамы он вдевает нитку в иглолку...

ТРУДОДЕНЬ

Мишка стал думать, чем он может помочь отцу. Но думать как-то не моглось. Отец смотрел с фотографий весело, в фуражке, с ромбиками в петлицах гимнастёрки, ремнями перетянут. А на одной — у «Эмки» стоит.

Правда, Мишка не совсем верил этим фотографиям. Всё напоказ. Не хорошо как-то. А нравилась ему другая: отец сидит, до пояса голый, бритый наголо, на медицинской комиссии. А сестра его слушает. А он улыбается ненарочно, и видно, что годен, на любое дело годен.

И только раздумается Мишка во сне ли наяву, как видит: сидит отец голый до пояса под ольхой на скате берега, пулемёты трещат — голову не поднять, и отступать ему некуда — река. Это любимое Мишкино место на Шингаре. Тут он первого окуня поймал. И не может он решить за отца, что делать. А в дождик, а зимой — голому? Мишка вскакивает и бежит. А если во сне — мечется и падает с кровати. Один раз и с печки упал. Прямо по приступкам. Хоть бы что! Во сне никто не убивался.

— Мишка, поедем сено возить! — крикнул в окно дядя Ваня. Он пришёл домой недавно после госпиталя.

— Сейчас! — захлебнулся от восторга Мишка.

— Собирайся да на конюшню беги! Запрягать буду!

— Ага!

Мишка забегал, надел длинные штаны, чтобы осока не резала, сунул кусок хлеба в карман — и айда! Хорошо! В жизни всегда можно отличиться. Главное — момент не упустить. Он бы ещё в прошлом году отличился, когда маленький был, да не его вина. Тогда мама собрала всех школьников полоть лён. Вышли не рано. Жара уж поднялась. Парило. Они весело шлёпали босыми ногами по сухой тропке вдоль Шингаря. Мама расставила ребят рядом друг с другом, объяснила и показала, как дёргать осот.

— Только на ленок старайтесь не ступать.

Начали работу. Осот колот руки и ноги, сухие комья земли остро давили подошву. Ленок был слабый, реденький, бледный, а осот невысокий, коренастый, налитый густой зеленью. Он сосал воду из глубины. Главный корень отрывался, а вместе с мелкими вырывались комья земли, и на каждом из них — по несколько стебельков льна. Они сразу никли. Вот бы как надо дождя!

И дождь не замедлил. Какая-то невесомая тучка вдруг разразилась трескучим громом. Крупная капля ударила Мишке в шею. Он встревожился. Все разогнулись, подняли головы. Грохнуло второй раз. Ребята присели. И все услышали шум. Это по лесу, по полю, по реке бежал дождь.

— Идите в деревню! — крикнула мама.

Все бросились бежать. Мишка был не из последних. Штаны и рубашка прилипли к телу. Пот смыло. Гром беспрестанно хохотал над бегущими, и как пастух, подстегивал их редкими крупными градинами. Белые молнии сверкали стрижами. Мишка уж добежал до дому. Осталось за угол и на крыльцо. И вдруг сверкнуло так, что из глаз брызнули звёзды. Молния ударила под ноги. Мишка ещё сгоряча вскочил в дом и скинул штаны. На полу была кровь. Вся правая пятка — красная. Мишка встал на неё — молния снова ослепила сознание.

На другой день в больнице из пятки вынули осколок стекла — тринадцать миллиметров.

— Тринадцать сантиметров! — всё лето потом хвастал Мишка друзьям. Никто не спорил — какая разница?

— ...Ты куда это бежишь-то эдак? — Марья Васильевна встала перед ним.

— Сено возить! — хотел проскочить Мишка.

— Погоди-ко, я тебя спрошу: куда мать-то с утра ушла?

— На работу всяко. Не знаю я, — недружелюбно остановился Мишка.

— Писем-то нету?

— Нету.

— Хороший у ты отец был.

Мишку кольнуло чем-то непонятным.

— Я раз денег у него просила, когда корова пала. Машину швейную отдавала — не взял. А денег дал. «Куда, — говорит, — тебе без машины? Девчонок обшивать надо».

И деркву зорить не дал. Только крест и успели спихнуть.

Мишка-таки боком-боком обошёл её да и припустил снова. А она всё поворачивалась к нему с разговором и продолжала вслед:

— А теперь вот, говорят, зря не зорили, немцу орентир оставили...

Мишка успел вовремя. Дядя Ваня только вводил в оглобли Латана. Это был старый костистый добрый мерин. Дядя Ваня, держа за узду, осаживал его. Латан осторожно переступил тяжёлыми ногами, чтобы не задеть оглоблю. Вот какая совесть у лошади: ступи не так — и запрягать не во что, и работать не надо. Мишка раскрыл рот, глядя на сивую чёлку мерина.

— Смотри: вся сбруя — перебег, седёлка, дуга — надевается с левой оглобли, а затягивается на правой. Седёлка — на боку, а перебег и дуга — на оглобле. Ты знаешь лево-право?

— Не, стороны я знаю. И поводничать надо этим боком.

— Во-во!

Мишка по-мужицки справа заскочил на шарабан и поднял руки на уровень груди, держа воображаемые вожжи.

— Помоги хомут надеть.

Дядя Ваня повернул хомут калачом вверх, Мишка расправил шлею, Латан вытянул шею и легко сунул голову в хомут. Он хорошо знал своё дело.

Доехали скоро. Бабы копнили сено. Двое подростков сгребали его в валы на конных граблях. В одной упряжке ходила Звёздка — высокая сухая кобыла с белой звездой во лбу. Мишка боялся её.

Однажды они с Пашей решили выкупать лошадей и потихоньку прокрались к конюшне. Отвернули завёртыш и вошли внутрь. Звёздка подняла голову под потолок. Мишка сразу пошёл к ней и протянул руку к чёлке. Звёздка окрысилась, прижав уши, схватила его за предплечье и дёрнула так, что он разбил лоб об её череп и отлетел в угол. Купанье сорвалось.

В другие грабли была запряжена Ласточка, весёлая и гибкая, как пига-лица, молодая кобыла. Деревенские подростки её любили и запрягали чаще других. Особенно весело было ездить за овинниками. Накладывали обычно несколько лёгких сосновых полутораметровых кряжиков и сами усаживались на них.

— Грабят! — кричал кто-нибудь, и Ласточка резко брала в галоп. Ребята орали, свистели, повозка подпрыгивала на корнях, Ласточка стлалась над до-

рогой, спасаясь от «грабителей». В поле останавливались, досуха вытирали пену с ляжек, с пахов, под шлейёй, под седёлкой и шагом подъезжали к овину...

Девки и бабы работали молча, споро. Копён было много — у-уй! Ясно, что все не свозить. Придётся метать стога.

Дядя Ваня подъехал к крайней копне. Он собрал вожжи, перекинул их через круп Латана. Тот махал хвостом, бил ногами, тряс головой, спасаясь от оводов, но стоял на месте.

— Я буду подавать, а ты принимай, где положу.

Дядя Ваня положил навильник на передний копылок тарабана, потом — на задний, потом зажал середину. Другую копну так же сложили на левый край.

— А теперь зажимай серёдку! Сначала по передку, потом сзади, а потом в серёдку жми, чтобы всегда пупом торчала.

Мишка старался. Сено колосось, труха лезла за рубашку, потная кожа чесалась, садела, пауты атаквали спину.

Наконец сложили семь копён. Воз получился высокий. Дядя Ваня вилами очесал его, бросил на воз очёски и вожжи.

— Повозничай, я его обуздаю.

— Но,— сказал Мишка. Воз качнулся и поплыл. Дядя Ваня с вилами на плече шёл сзади. Мишка вертелся на коленях. Каждая рытвинка пугала его. А впереди была канава. Совсем сухая, края разъезжены, пологие, но воз всё же покатился быстрее и затормозил на подъёме. Мишка не успел вовремя подобрать вожжи. Правая вожжа попала между гужом и дугой и потянула Латана вправо. Левое колесо пошло на бугор.

— Т-пр-у! — закричал дядя Ваня и побежал.

— Стой! — закричал и Мишка.

Но было поздно. Воз медленно-медленно покачнулся, Мишка поехал вправо неотвратно и страшно и ухнул оземь, заваленный сеном.

...Воз перекадывали долго. Сложили криво, потому что подавать сено приходилось больше с одной стороны. Мишка устал, проголодался, его всё время мучила какая-то мысль. Наконец, он спросил:

— Дядя Ваня, а нам по трудодню-то запишут?

— Не горюй, запишут, вот пообедаем, да ещё раза три завернём.

На воз сели оба. Ноги спустили наперёд. Дядя Ваня объяснил, как надо подбирать вожжи.

— Дядя Ваня, а мне по уху колесом проехало,— сказал Мишка, потирая висок.

Тот испуганно повернулся к Мишке, поглядел на оцарапанное и в самом деле красное ухо и вдруг захохотал:

— Это хорошо, что по уху. Хуже было бы, если бы по штанам. Они у тебя новые?

— Ага.

— Вот и береги. А уха не вешай!

Он обнял Мишку, заглянул в глаза, и оба опрокинулись навзничь, смеясь в такое хорошее небо...

ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ

Павлик засучил штаны и сунул ногу в край бешеной струи. Поток вырвался из омута и свирепо нёсся по скользкому глиняному ложу через узкий створ в старой плотине. Она была давно разрушена, могучие сплошные сваи опилены на уровне летней воды, покрыты серой слизью и зелёными жуткими водорослями. Их космы вечно полоскались в струях утихающей далеко за плотиной глубокой воды.

Ребята постарше легко перескочили через основную струю потока и забрались на плот гораздо ниже плотины. А Павлик перепрыгнуть бы не смог, потому что разбежаться было негде. Он раскачивался-раскачивался, стоя одной ногой в воде, и вдруг быстро ступил в поток и оттолкнулся от холодной глины на дне, летя на сырую землю.

Он сразу вскочил и, не рассучивая мокрую порточницу, запрыгал и закричал Мишке:

— Давай! Неглубоко! До колена! Тут узко!

Действительно, створ между сваями был не более метра, но так жутко неслась сквозь него вода, так непонятно манила эта тёмная глубина в боковых замоях!

Мишка ступил на сваи. Сначала они были сухие, потом мокрые от брызг, потом скользкие от слизи и зелени. Он оглянулся. Так захотелось назад, на сухой берег, ко всему, что осталось, как было, как должно быть, но не только развернуться, просто устоять на сваях и то было трудно. Он весь стал, как струна, сознание отключилось, и он сделал прыжок...

Он никогда не мог вспомнить, поскользнулся ли, отталкиваясь, или упал после прыжка, или смалодушничал и ступил в самую ярую часть потока.

Очнулся он в глубине в до странности лёгком состоянии. Его несло и крутило, но, оказывается, можно было жить и так, не опираясь на ноги, не размахивая руками, не вертя головой, которая какой-то вспышкой мысли отметила, что это приятно и хорошо, но совсем, категорически не нужно. Понемногу

это состояние изменялось, его разворачивало. Он, как поплавок, принял нормальное положение, но стал опускаться вниз. От этого можно было вполне лишиться рассудка, однако напряжённо вытянутые пальцы ног коснулись того, чего так инстинктивно и беспредельно желали. Мелкая галька и настоящий песок сказали ему, что это, может быть, не конец. Он открыл глаза. Сквозь толщу воды расплывалось яркое рыжее большое пятно. Он удивился невиданной картине и понял, что это солнце, понял, что никогда и никаким образом не сможет жить без него. Он оттолкнулся пальцами ног и покачивался вертикально, как скрытый водой топляк, потому что ещё несколько раз касался ногами дна. Но вскоре его почти перестало покачивать вверх и вниз и только давило могучей водной массой. И он сделал то, что не мог не сделать: повернулся затылком к солнцу и легко пошёл по течению. Он вышел до пояса над водой у куста ситника на середине реки и встал.

Павлик и трое горшечников в страхе бегали по берегу. Но их он не видел, а только дышал-дышал-дышал да сквозь мутную пелену различал плот с большими ребятами.

— Иди сюда,— в испуге позвали его.

Он молчал, и не мог даже радоваться, что жив, только всем телом знал, что малейшим шагом в любую сторону нельзя изменять это состояние.

Плот медленно поплыл в его сторону. Один из ребят, торопясь, соскочил с плота и потащил его к Мишке.

...Развели костёр, хотя и так было жарко.

— Ты блевать будешь? — спросил Павлик.

— Зачем?

— По всем правилам блевать надо. Все утопленники так делают.

Кто-то фыркнул, фыркнул и Мишка, и тут захохотали все.

— Я тебе кричал. Ты слышал? — спросил Павлик.

— Чего кричал?

— Не тони, гад, матери скажу!

Опять смешно получилось.

— А вы думаете, почему этот омут Анниным зовут? — кивнул Енька Белов в ту сторону.

— Анна какая-нибудь утонула,— сказал Витаха.

— Вон тополя видите? — показал Енька за реку.— Тут Поповка стояла, дома три. Поп-от настоящий был, а попадья Анна — вертихвостка, но кррасивая! — восторженно выговорил он. Ему было уже лет тринадцать, и у костра никто не сомневался, что он знал толк в красоте.

— Это бабы у нас дома трясли. Вот поп — на службу, а попадья — платье на руку да и к Николе-на-Стану. Тамошний поп сам коммуны устроил.

А этому-то каково? А ему всё старостиха церковная, Тюлениха, нашёптывала, все дрязги. Во зараза!

Ещё молодая была, это уж годов двадцать с чем-то прошло, а век не рабывала, зараза. И сейчас единоличники.

Ребята вникали в путаную Енькину речь. Эти события казались им такой стариной старинной!

— Вот и пошла она раз купаться,— Енька засмотрел неподолгу на каждого, замигал и нахмурился,— и не пришла.

— Утонула?

— Ага.

— Нашли?

— Наверно, не знаю. А поп-то всё потом в деревню идёт, а сам всё в реку смотрит. Бабы дивятся: чего он вверх по течению высматривает? А Тюлениха опять хохочет: «Ничего удивительного. Такая уж была супротивная. И утонула, дак, всяко, супротив течения плыла».

Енька встал.

— Пойдём! — сказал Витахе.— Коровы тронулись.

Солнце качнулось вправо. Прибежал ветерок. Рябь заиграла на плёсе. Стадо поднялось, радуясь ветру.

Пастухи ушли, они пасли первое лето. Старенький дядя Паша прошлой осенью сгорел в овине. Переутомился. Днём пас, а ночами сушил рожь. В овине и спал.

Костёр погас. Угольки мерцали из-под сизой золы.

— Ись хочу,— сказал Павлик.

Мишка сразу почувствовал, как слюной наполняется рот, и взглянул на горшечников. Колька стоял скуластенький, с карими сухими голодными глазами, Алексашка, стоя на коленках, вопросительно смотрел на него, лицо покрыто прыщами и красными пятнами, Генашка немощно подтягивал трусики на вздувшийся живот.

«Как паучок»,— подумал Мишка.

Отец у горшечников умер зимой, и его хоронили в мёрзлую февральскую землю. Лёгкий гроб подростки и бабы несли на руках. Мишка с Павликом из окна смотрели на жидкую процессию, отжимая друг друга лбами.

Жутко им стало, когда увидели, что впереди процессии идёт Генашка в большой отцовской шапке и с иконой в руках. Видно, Тюлениха надоумила баб пустить первой чистую душу малыша. Душа смотрела из его непомерно больших глаз безразлично и обречённо, готовая шагнуть хоть и в могилу.

Мишке и Павлику жилось, конечно, проще. В обоих домах были коровы, картошки и овощей хватало на круглый год. И всё равно приходилось со-

бирать колосья, дикий чеснок, щипать клевер, варить суп-рататуи из щавеля, крапивы, свекольной ботвы, собирать вёснами оставшуюся на грядках и колхозных полях гнилую картошку, льняной жмых тоже шёл в дело, как и ягель, из которого варили суп, а из прошлогоднего, толчённого в ступе, пекли лепёшки. Деревенские бабы в поисках съестного догадались скоблить пробковый слой из-под берёсты, кадмий, как узнают ребята его название позже, на уроках ботаники.

В общем, домашняя пища и с голоду елась через силу.

— Пойдём к Тюленихе, — предложил Павлик.

— Зачем?

— Попросим чего-нибудь.

— А эти, — Мишка кивнул на горшечников, — наядбедничают, что я тонул.

— Не наядбедничают! — громко, чтобы слышали братья, сказал Павлик. —

А наядбедничают — самих утопим, как котят! — пристращал он невыполнимой и потому самой страшной угрозой.

— Иди ты! — огрызнулся Николка и взял Генашку за руку.

ВОРЫ

Павлик и Мишка миновали Нетужиловку, перешли через мост и направились в Введенское. Дом Тюленихи стоял особняком, опушённый, высокий, на кирпичном фундаменте, в окружении высоких берёз и лип. На широком дворе стоял каретный сарай, торчали крыши ледника и колодца. Густо летали пчёлы.

Говорили, что такую особицу завёл то ли дед, то ли прадед нынешних хозяев. Когда-то служил он швейцаром в ресторане на Невском и однажды удачно пошарил в шубе у залётного сибирского гостя.

— У них всё есть. Единоличники дак. Рыбу ловят, мёд гонят... Дадут чего-нибудь, — подбодрил Павлик Мишку.

Они прошли по жаркому крыльцу, по холодной крашеной внутренней лестнице наверх, открыли двойные филенчатые двери с витыми бронзовыми ручками. Их никто не встретил. Дверь в передние комнаты была закрыта. Справа стояла большая русская печь, в кухне на столике на большой тарелке виднелись корки ржаного пирога-рыбника, и пахло довоенно, празднично.

Павлик быстро шагнул к столу. Мишка двинулся за ним, но на печи что-то зашевелилось, и прямо перед Мишкой с печи спустилась нога в подшитом валенке, а потом и вторая. Мишка онемел, прижавшись к стене, задрал глаза

на валенки. Тем временем старик на печи сел. Это был отец Тюленихи, настоящий бородатый водяной, никак не менее восьмидесяти лет. Всю жизнь он промышлял рыбой, мок и мёрз, кости у него ныли. Он и сейчас ставил сети на самолов, забивал заездки, вязал сети и давал охочим людям на паях орудия лова.

Колхозы были для него порождением дьявола, но своего, и он не вредил им, но и не знался с ними. Гитлер был дьявол в образе чужого человека, и он отправил на борьбу с ним сына и двоих внуков. Он неумело, но искренне молился за них и за Победу — и на тебе, дьяволята проникли и в его дом!

Он онемел от такой наглости и своего бессилия и не столько угрожающе, сколько испуганно тряс бородой и мычал в вытянутые трясущиеся губы, одновременно осеняя Мишку неуверенным крестом.

— С-с-свят, с-вят, свят! — ходуном ходило его перевозбуждённое тело.

Павлик схватил несколько кусков и выскочил из избы. Мишка бросился за ним в нервном ознобе.

— И-иди нормально! — сказал Павлик у крыльца.

— На! — подал Мишке кусок. Они вышли из чужого огорода. Навстречу маячила Тюлениха. Они, давась, проглотили то, чем успели набить рты, и рассовали остальные куски за рубашки и по карманам.

— Откуда это ребятки-то бегут? — ласково запела Тюлениха.

Надо было отвечать, чтобы чего-нибудь не то не подумала: они ведь поняли, что она видела их выходящими из огорода.

— Да рыбу удил на Кобыльем омуте, да не клюёт дак... — отводя глаза, сказал Павлик хорошим тоном.

— А уды-ти где?

— Да наживили на ночь на щуку, — совсем хорошо сообщил Павлик.

— Ай, молодцы! А я думаю, откуда это они бегут.

Но они её раздумий уже не слушали.

— Ну, видишь, и ничего! — возбуждённо запрыгал Павлик, оглядываясь на Мишку.

— С одной спички костёр разожгу! Любую карту покрою! — ухарски закричал Павлик.

— На любом ветру прикурю! — прогоняя страх, подхватил Мишка.

ПЕРЕПРАВА

Этот Мишка тот ещё тип! Последний урок не начался, а он уж соображал, как через Якшу переправиться. Не там же, где и дурак перейдёт. По ла-авинке! Ещё бы по мостику с перильцами! Небось солдаты или партизаны не по лавинкам ходят. Ему даже смешно стало. Пусть Пашка да Ника с девчонками по лавинке ходят. Конечно, эту переправу лавинкой-то нельзя называть, просто доски по насту накинаны. А под ним вода жёлтая кипит, как в туннеле. Пробила-таки Якша своё русло. Его так за зиму снегом застрогало, что только по ивняку и определишь, где река. Ну, река не река, летом воробью по колено, а вон как разлилась, на сотню метров, огороды затопила, к домам подступала.

Хорошо ещё, под снегом пробились, зато мост развернула по течению. Хм, опять чинить! Мишка торопится к своему испытанию, оглядываясь — нет, не видать ни Пашки, ни Ники. По голой луговине он смело подходит к снежному мосту и радуясь (утром переходил!), и холодея (один же всё-таки) ступает на снег. Он крадёт на цыпочках, продёргиваясь вверх при каждом шаге, стремясь облегчить свой вес, портфельчик к груди подтягивает и тоже поддёргивает его вверх в такт шагам. Ещё только чуть-чуть — и... Горячо и радостно становится телу. Дома не похвастает: заругают, зато Пашке он нос утрёт. Он следы свои покажет. И спорить нечего. Вот. И вдруг сознание его темнеет, падает в какое-то нулевое состояние, исчезает, он только чувствует, что, ах, как не надо бы того, что происходит, ах, как не надо бы! А происходит всего ничего. Просто снежная глыба не подпирает, не держит ногу, она рушится в мутный поток. Беда!

Тут можно заорать, завизжать, захлебнуться водой и страхом. Но Мишке некогда захлёбываться. Портфельчик раскрылся, зачерпнул воды, выпали пенал, тетради, книжки. Куда он без учебников! Никуда. Мишка ловит их левой рукой, течение его подталкивает, правой скребёт по скользкому илистому берегу и вдруг замечает, что бежит ногами по дну. Это его так ободрило, что он стал хватать книжки обеими руками. Метров пятнадцать протащило его потоком. Наконец он вцепился руками в старую грязную осоку и на карачках выполз на берег, с которого начинал переход. Скорее домой, пока никто не видит! Он трусит к переправе, вода брызжет из сапогов, стекает с пальтишка. Он с опаской пробирается по доскам и наискосок, огородами, бежит к дому.

— Бабка, а я выкупался! — нарочно бодро кричит он, чтобы та в панику не ударилась, зря не ругалась.

— Ну, так полезай на печь, — спокойно донеслось из кухни.

Мишка стаскивает раскисшие сапоги, ставит их на приступок, закидывает на печь пальтецо и вместе с портфелем лезет на горячие кирпичи. Тихонько раскладывает на кожежке книги и тетради, а потом уже стаскивает скользкие грязные штаны и рубашку. Прямо в шапке ложится на валенки, тащит под себя фуфайку и покрывается гусиной кожей.

— Иди-ко поешь, а нет — на печь подам. Мне на ферму пора.

— Пода-ай! — ему боязно показываться нагишом, а и поесть самый срок.

Бабушка ставит на край печи стакан молока, накрытый большим ломтем хлеба.

— Ты молока-то поменьше припивай, а хлеба-то откусывай побольше, — вот сыт и будешь.

Мишка так и старается делать, но всё равно хлеба остаётся ещё на стакан. Но больше нельзя. Это он знает. Это все знают. Надо сдавать молоко. Надо кормить армию. Но об этом не говорят. Просто помнят. И Мишка снова старается представить фронт, бой, отца и его товарищей. Но кроме кладбища около церкви с высокой кирпичной оградой, где они постоянно играют, он не может вообразить другого места для войны. Правда, есть ещё возле деревни песчаный бугор в окружении болотины, Воротиловскими кустиками зовётся — тоже место сомнительное. Говорят, что когда-то тут окрестные мужики воротили отряд поляков ли, татар ли — кто знает? Только с тех пор в сухие ясные ночи вспыхивают, горят, передвигаются огоньки, а кто-то, говорят, видел медленно плывущий гроб с горящей над ним свечкой. Эти рассказы совсем было призаглохли, а с войной опять начали оживать. Но жутко от них только по вечерам, а с ватагой да у костра, в котором печётся картошка, — хоть бы хны. Земля рассыпчатая, песчаная, вересковые прутья горят жарко, картошка не пригорает в прогретом песке. Да, словно тут жить, словно возвращаться по вечерам с измазанным лицом и заскорузлыми шелушащимися руками, но вевать? Мишка чувствует, что для такой войны, какая теперь, Воротиловские кустики маловаты. Там гудят самолёты, бухают пушки, пулемёты трещат, гранаты рвутся, ни попить, ни поесть, а когда же спать?

Мишке, конечно, поспать времени хватит. Во сне он чувствует, что отец где-то тут, рядом, вот он лежит, вот он бежит, вот он стреляет, но — удивительное дело! — Мишка не видит его позы, шинели, винтовки, лица, знакомого по фотографиям весёлого родного лица...

Отцу Мишки не суждено было вернуться с войны.

Орешки

КАК ПЕРЕЙТИ ПОЛЕ

(Рассказ А. Е. Люсковой, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР)

Присядем и помолчим. И комнату взглядом окинем. Под часами — крупная фотография. На шейбухтовском угоре кружком сидят деревенские школьники, слушают Александру Евгеньевну, один даже рот приоткрыл.

А она — со Звездой Героя, платочек белый за ушки, густые травы льнут к ногам, солнце за дымкой не жжёт — греет.

Родная земля! Всем ты давала силу, кто всерьёз прикасался к тебе!

Александра Евгеньевна с подругами установила восемнадцать всесоюзных и мировых рекордов по воспроизводству и откорму свиней, получила всенародное признание и мировую известность.

На коленях, на диване, на стульях — фотографии, письма, документы и книги. В них — дни и годы её круто «заваренной» жизни. Вот она в библиотеке Молочного института, вот на кафедре Тимирязевской академии, вот на коллегии Министерства сельского хозяйства страны. Четыре созыва подряд — с 1946 по 1962 год — она избиралась депутатом Верховного Совета СССР.



Люскова Александра Евгеньевна

Ей писали из Китая, Кореи, Чехословакии, Болгарии, с берегов Атлантики.

Она объехала всю европейскую часть страны, делясь опытом.

— А у меня тоже есть две матки люсковны,— сказала ей как-то молодая белорусская коллега.

«Ну, люсковны так люсковны,— подумала,— зови, как зовётся, лишь бы дело шло...»

КАК ОЗИМЬ В ПОЛЕ...

1. Отец

Отец мой, Евгений Фёдорович, мужик был разный. Лапти смолоду плёл отменные, сапогов до смерти не шивал, в небо выше берёзы не лазивал, глубже могилы ям не капывал. Топором — не плотник, плугом — не пахотник, иглой — не портняжка, не шорник, ружьём — не забавник,— а вот поди ты: дома — да всё чужие — ставил, землю — чужую — пахал, упряжь — чужую — ладил, зверьё — наше — бил. Покряхтывал да похохатывал: «Кому бы на час, а мы, гляди, днём свернём».

Деревня наша Коцыно круг пригорка как поясок круг пупка: десять домов вперехлест глазами. Кой в задворки другому глядит, кой на соседа глазком покашивает, а все главным-то оком на праводенное.

А и вставало же оно! Из-за Северных Увалов невидимых, из-за синих глухих лесов, а мы его сперва на западе видели: цеплялось оно за крест золотой храма Казанской Божьей Матери, что на Святой горе, и по куполам, шпилям, по мохнатуму сизому боку горы золотой пыльной стекало в долину.

Как сейчас себя вижу: в гороховом поле сижу, сама как горошина, платье в горошек, мухи, пчелы, пауты звенят, воздух звенит, а я знай плоски в карманы ошипываю, не замечаю, что и сама вся звеню... Господи, за что мне такая долгая жизнь?

При церкви школа была двухклассная церковноприходская. Учила там Евстолия Ивановна Смараглова. Вот один раз и поехал отец проводить её да и запропал. Запропал и запропал. Мать с ума сходит, нам тоже невесело. На другой день вечером круг стола сидим, картошку едим все восьмеро, в каганце лучина горит, мать скотину поит, вдруг полозья проскрипнули.

Входит отец: «Здорово-те! Вот те, мать, от нового грамотея!» — И подаёт ей валёк, новый, ловкий, дубовый, а по спинке-то не басы, буквы выписаны: «МАТИ». Это он нам сам прочитал.

А потом старший брат Николай вырубил эти буквы у крыльца на третьем бревне.

А ещё после это бревно в землю ушло...

2. Мать

Маму мою, не в пример отцу, звали попросте, по-настоящему, совсем по-русски: Марья Ивановна. Восьмеро нас у ней было. Я — четвёртая, ровесница века, с девятисотого года.

Мама невысокая, подбористая, сухая и крепкая. Красивей её я не знала. И твоей-то матери, поди-ко, красивее нет? Бывало, тащит ношу — самой не видать, — остановится да и давай нас отделявать: скотину распустили, дьяволята, квохта опять без цыплят, колоды без воды трескаются — ничего приятнее этой ругани нету, век бы слушала! — да так под ношей-то и стоит, и стоит.

За мужа, за отца-то моего, она вышла в пору да вовремя, восемнадцати годов, а приданое в ту пору было известное: шуба — не говори — барашковая (норки ведь и тогда на сторону шли), с поречьем по кантам, по оторочке, значит. Ну, рушники там, подушки да пальто летнее. Что про него сказать? Ну суконное, ну подкладка от Буторова, ну пальто, значит.

Невелика, теперь вижу, мамонька, а, бывало, гром гремит по злым праздникам: все за столом, а задорнице не то что места нет — всем уладить торопится, полуприсядет да: «Ну, со светлым всех праздничком!» — и три капельки в квас. Обегала закусывать: «Пусть пожгёт!» — и опять гремит к печке в стукарях. Это ботинки такие, башмаки. Тоже приданое. Из кожи из толстой, до полуикры. Подошва — не на одну жизнь. По три килограмма башмак. Годов пятьдесят носила. Ну, берегла, конечно. В церковь ли, из церкви — на руке стукари, на другой — платье. Тоже чтобы по росе не охлюпать.

А отец да свёкор — те всё в лаптях. Ну-ко, ноге-то сколь хорошо!

А уж жали, косили — всё босиком, босиком. От ледохода до ледостава — всё босиком. И как не болели?

3. Земля

На земле родились — земля и примет. Только торопиться не надо. Возделывать своё. Тогда и она тебе будет пухом.

...Ну, что это я? А вот что: сама с шести лет в труде. Сидишь по зимам-то за пряслицей, нитку сучишь, а качалка на ноге: после меня ещё четверо, все моей правой ногой выкачаны. Этой вот. Сама диву даюсь. Семья — десятеро, а земли — на троих едоков. Попробуй-ко пропитайся!

И рады бы лишнюю коровёнку продержатъ, телёнка продать, молоко-то раньше не пили, мало ли надо: сапоги, рубашку, пиджачишко какой — в чём в школу-то бегать!

Сама-то я босиком к Вознесенью свигала. А много ли по заморозкам натропишь? Так и кончилось ученье моё. А всё прочитаю и всё напишу. Ко всему трудности научат. А если «ой» да «неохота»... Ладно.

Поддеревни только мало-мальски жили, а другая половина — бедней бедного. После перемеру — при Советской уж власти — жить только начали. Лён стали сеять. А семян-то трудно где взять. Всё же по деревням дома двужитные стали ставить. Опушились, покрылись.

Четверо братьев — Николай, Александр, Михаил да Василий — к Ривлину ушли, на лесопилку: завод такой на Сухоне был, в устье Шейбухты. Когда дома — братья, а ушли — вроде и нет их. Те же батраки, только ещё хуже: оторвыши.

Без земли — ни туды, ни сюды. Пока мир стоит — только от земли хорошую жизнь нажить можно. Лет десяти была — у Порошина, помню, землю покупали. Помещик такой был в Святогорье. Три гектара купили. Кочкаръ да кустарник, ивняк, что железо плетёное.

Поставил отец сарай у ручья. В нём и жили, пока корчевали да чистили. И корьё за попутье драли. Овод не овод — дерёшь. Такую деляну разделили — мать небесная! Я и скажи тятя: «Гладко-то сколь!»

— Погоди, — говорит, — косить пойдёшь — всю гладость найдёшь. Вся на косе окажется.

И верно: косили с тяпка. Тятя впереди, а мы вкривь-вкось — каждый свою лахтеечку. Потом соберёмся у каши, знай пыхтим. Век не вставать бы! Кто во что: как травы накосим, как копны скатаем, как в сарай сметаем, кому зимой сено возить, кому повозничать просить, а мне всё выпадало самовар наставлять да работничков поджидать.

А и самовара у самих не было. Видывать-то видывали, а чай пили из чугуна. То с соченьями из крахмала, то с вяленицей из репы ли брюквы. Да кваску вместо чаю-то подольём. На ораву — всё вкусное. А как-то зимой привёз тятя голову сахару. Окружили: как да с чем его едят? Не скоро расчухали. Вот смеху-то!

...Так и сидим, кашу доедим, чаем запьём со смородиновым листом. Скорее бы вечер!

Тятя вскочит — и к солнышку: «Эй-эй! Праводённышко! Уснуло, что ли? Не бывало в чужих-то людях? Ну-ну, не сердись, на покой катись! У нас и дела-то на уповод. Семеро помогут — так один смахну!»

Вскакивали и мы. Откуда и силы брались!

4. В колхоз

В колхоз мы из первых записались. Двух лошадей, трёх коров, телёнка, овец — всё сдали. Не готовились, как некоторые, не продавали, не резали, всё сдали с чистой душой. Потом овцы — глупая скотинка — обратно пришли. Колхоз назывался «Будённовец». Название геройское, а дано шутили — по жеребцу. Конферма в колхозе была. А в производителе выписали жеребца будённовской породы. Каштановый, в белых чулках до колен, в гетрах, пононешнему, шея с аршин, голова как из сухой сосны тёсана. Игровый, плясун. Копыта — как чашечки из серого мрамора. Но баб да девок до лошадей не допускали. В полеводство их! Триста дел в году — и все разные. Кажин день голова забита, а чем? Я и до того досыта набатрачилась. Бывало, весь сенокос отведёшь на Востроксе, за двадцать километров, за ситцевый платок да ещё и в ноги поклонисься. Не одна я, все батрачки так.

Мы и в колхозе истово работали, споро, а чего-то ещё хотелось. Тут и подвернулся случай. Иду как-то с полосы, а навстречу Манефа Корюкина.

— Пойдём-ко, Шура, ко мне.

Я вначале не поняла. Подругами никогда не были. Та на тринадцать годов старше.

— Да не домой зову, не чай пить. На ферму зову, свиначкой.

«Свиначкой?» Больно не в чести было это дело. Ладно ещё в своём хозяйстве одного-другого поросёнка выкормить. А на ферме? Грязь, вонь, визг. А от народу — как? Хуже свиначки и слова нет!

— Мне ведь не лишь бы кого. Мне ведь головастую помощницу надо. Мне ведь жить-то охота не как-нибудь. Мне ведь чего-то да хорошее сделать хочется.

— Ну, думай! — раз видит, что я молчу. И пошла. И я пошла.

«Свиначкой?» Сама-то Манефа раньше учительницей была. В начальной школе для взрослых. Счёту и письму учила. Манефой Владимировной, по отчеству звали. Нате: в свиначки сунулась. Да и ферму на свой двор пустила. Заработок сманил? Верно, и это дело не последнее, раз отец больной. А только ли в этом дело? «Хорошее ей сделать хочется!» А кому не хочется? Мне не хочется? Дураку не хочется!

Как я жила? Как озимь в поле: и вымокну, и вымерзну, и к солнышку потянусь. Колоситься пора бы.

И вечером я пошла.

Вот иду, вся тревожливая, и боюсь, и решилась, и вижу, Манефа на меня из ворот глядит, и я на себя её глазами гляжу: вот кубышка идёт, маленькая

да точёная, крепкая да проворная, «не уступлю!» — думает. И опять на Манефу гляжу: до чего уж тончаявая — вища ивовая, косу пепельно-русую теребит. «Не бойся, не подведу!»

— На правлении-то уж,— говорит,— Шура-й, решили.

Вот как.

ДЕЛО ЧЕСТИ

1. Пожар

И пошла у нас новая жизнь. И до того завертелась, что голова кругом. С тех пор, не совру, ни один председатель, ни один бригадир наряду не даывали. Зато уж мы-то их наряжали: то загон загороди, то колоды долби, то двор утепляй, то вентиляцию подавай. Мы с самого начала по науке пошли. Книжки читаем да спорим, где что услышим — обсудим. Ни одно дело без совета не делали. А в полуслове не бывало. И всё вместе: одна пасёт, другая клетки скребёт, одна косит да возит, другая корм разносит.

А опоросы начнутся — не дай и не приведи! Зато пасти — рай! Пастбище-то по ручьевине, вольготно, трава жирная, сахарная, ванны грязевые — под боком. Курорт! Я уж в годах была, а как новенькая радовалась каждому дню. А в тот день что-то давило. Жарко, духовито было, потно. Поросята из грязи не вылезали, хрюкали вяло, со стоном. В седьмом часу погнала домой. Ветерок потянул с северо-востока, а из-за Казанской-то супротив него по шажку туча поднималась. Потемнело. Тревожно сделалось. Скотина и люди с какой-то оглядкой, но споро стремились к жилью. Гром стучал редко и тяжело.

Смеркалось. Гроза не приближалась. Деревня на покой забралась. И мы ставень в горнице закрыли. Сплю-сплю, а сама чувствую, как поросёнка из соски пою, а он верещит, а молоко мне на руку каплет. Я как отдёрну руку-то да локтем об стену! Брызги из глаз! Проморгалась — батюшки: с потолка-то ручьём на одеяло, на руку.

А тут как верескнёт да верескнёт! — в горнице светло. В ставне-то щели, и сквозь них фиолетовым, жёлтым — глаза режет!

Мужа в бок ткнула — вскочил, кричу шёпотом: «Робят не напугай!» Постель свернула, мешок тюриком на голову — и на ферму. Дождь полощет, ноги скользят, грянет — чуть не вприсядку бегу. Слава богу, успела. Под крышей стою, на косяк отдышиваюсь. Брызги с застреха до пояса бьют! Вдруг око-

ло столба телефонного как в ладошки дважды прохлопнуло, огненные ленты кинулись по проводам, и в тот миг так треснуло, будто парусину рванули разом на много верст. Забили в лемех. Пожар? Где? Вижу, люди ко мне бегут.

— Не видишь? Горим!

— Открывай ворота!

— Лестница, лестница где?

— Молока давай, молока!

Молоком молонью-ту заливали.

Кинулась на крыльцо: ворота-ти изнутри засовом заложены. Манефа Владимировна навстречу: тащит отца.

Распахнула ворота — народ к клеткам мимо меня. Вижу, и мой тут. Робят бросил. Туча раскололась: часть на Сухону, часть в болото, на Вышино; дождь одряб, ветер — на диво — стих.

В хлевах сумрак, шум, ругань, свиньи визжат, вертятся, фонарь опрокинули; мы с Манефой сосунков таскаем, маток выводим. Дом как свечечка тает, будто того и ждал.

Чёрного дыму почти не было: солома — та сразу просохла, порохом пропыхала в пять минут, огонь спал, но стал жарче, весело тёк по бревнам вниз до земли.

Добро погрел старик косточки, как и не стаивал на земле!

Люди пятились, отступали, молчали. Подлетели дэпэдэшники с пожарной машиной. Лихо развернулись — и остались на дрожках. Лошадь начала стричь траву, косясь на огонь.

А мы с Манефой — делать нечего — стали собирать стадо и погнали к ручью.

Туман стоял от земли до неба. Поредел в одиннадцатом часу. Пришёл председатель. Сказал, что правление решило поставить новую избу, выдать ссуду на обзаведенье; ведь в одном мокром платье осталась Манефа Владимировна. Ещё подумал и добавил, что в райкоме поддержали эти решения.

А стадо разместили в семи частных хлевах. Вот и загоняешь по вечерам, кого куда, как угорелая. Кто поможет, а кто хихикнет: «Мало еще им, всё не уgomонятся». И слышишь, бывало, сзади смешки, а всё вперёд идёшь.

...Через время и меня пожар посетил. И дома никого не было, и Илья Пророк не гремел, а тоже хорошо выгорело, чисто.

2. Своим ключиком

Ни о чём с ней не сговаривались, да и слов зря не тратили. Пусть балабоят, кому досуг. Пуще прежнего в работу впились. У нас уж и свои секреты завелись. Приёмы труда, методика по-научному. Только мы свою методику не под замком держали, а любому и каждому готовы были рассказать. Да не больно-то поначалу спрашивали.

Только на районных семинарах да через газету отчитывались. А и это немало.

Дело-то чаще не в деле, а в подходе к нему. Всё примечай, запоминай да пробуй. Начинали с простенького. И глупому ясно, что матки должны быть упитанные. А вот как кормов напастись, как их приготовить, чтобы аппетит возбудить? Самых-то солощих, прожорливых — тех на племя. Да чтобы по росту, по весу, по фигуре соответствовали. Да чтобы от маток от плодовитых были.

Правда, американский фермер Гарст позже многим нашим говаривал, что он не обращает внимания на родословную. Были бы рост и вес.

Ну, во-первых, это он про крупный рогатый скот, а во-вторых, «от худого семени не жди хорошего племени». Не зря сказано.

Какая у нас задача была? Чтобы больше поросят в каждом помёте рождалось, чтобы росли не по дням, а по часам.

Вот какая короткая методика получилась. На деле-то — годы и годы. Десятилетия. Да и сейчас ещё думаю, что можно бы сделать быстрее да лучше? Что упущено? Неделано?

Чтобы люди доверили, надо десять раз доказать. Статистику, то есть множество фактов, накопить. Сроки, рационы, добавки, порядок кормления, сохранность молодняка, привесы — всё учесть. Сотни таблиц вычертить. Ну тут уж нам зоотехники да учёные помогали. Что нам посоветуют, что у нас возьмут, — вместе науку-то двигали. А уж практику ... всё вот этими руками.

Вот какая она бывала, практика-то. Через год примерно после пожара опоросы как пошли да пошли! За одни сутки шестеро маток опорожнились. Одна за другой! Батюшки-светы! Девяносто шесть голов! Как спасти, как сохранить! Хватит ли молока у маток?

В общем-то мы уже готовы были к такому. Не одинова проверили, что надо каждого приучить к своему соску. Так матка лучше молоко отдаёт. Тех, которые послабее, к передним соскам. Они более молочные. А как не перепутать? Вот и метишь, кого угольком, кого карандашиком химическим, до пяти чёрточек награфим, да и у матки все бока исписаны. Мы уж знали, что

кормить их надо больше двадцати раз в сутки. Только поворачивайся! Да то хорошо, что кормление у свиней быстрое. Матка будто выстреливает молоко в рот своим детенышам. Секунды какие-то, ну, минута. Успей каждого подсадить, голодом не оставить. А у сотни-то голов эти секунды в непрерывные часы складываются. Да ещё изюминка: у двух маток было по восемнадцать поросят, а сосков-то по четырнадцать. Два билетика на одно место! Вот тут и не обидь, не растревожь, аппетит не испорти! Господи! Ни за одним своим дитём так не ухаживали.

А когда мы получили маток из Череповецкого госплемрассадника от Пластинина, у них вообще было по восемь сосков. Это уж сами до четырнадцати довели, да ещё по паре наметилось. Вот что такое отбор, подбор да направленное воспитание!

Так и работаем, времени счёт потеряли, сами себя забыли. Кто ни придёт — отмахиваемся: не до вас!

Наконец, разогнулась Манефа Владимировна: «Вроде, Шура-й, мы сегодня не завтракали!» Вот выдержка! Трое суток маковой росинки во рту не было, а она ещё шутит! Вот какое возбуждение было, вот какой азарт! А всё оттого, что сознавали: ладно делаем. Гордились друг другом.

И всё-таки тяжело. Манефа Владимировна не раз говорила и писала: «Если бы я в то время (вскоре после пожара в 1932 году) не побывала в Москве на съезде передовиков свиноводства, я не выдержала бы трудностей и насмешек и бросила бы свою работу».

Ну, и про меня говаривала, дело прошлое, что уж скрывать: «Ничто у неё не выпадало из рук, за что ни возьмётся».

Вот какая у меня подруга была верная! На путь наставила да добрую треть проводила. Так и стоит перед глазами. «Не бойся, не подведу!»

3. Признание

Верно говорят: нет пророка в своём отечестве. Как мы ни изощрялись, что ни делали: и работаем сколько надо, и доход колхозу даём, а всё будто чужие. Одно слово — свинарки. Только те, кто не за одну деревню думали, заприметили нас. А мы знай руку набиваем, методику отработываем. Тренаж себе такой приспособили: можем ли от одной матки за год тонну продукции в живом весе получить. А придумал его украинский свиновод Рой.

К тому времени и у нас условия позволяли: построил колхоз свинарник новый, типовой, на кирпичных столбах; тепло, светло, прифермский участок выделили четырнадцать гектаров. Великое дело — свои корма!

На 1935 год обязательство приняли: тонну-опорос за год! Тут уж ухо остро держи. Тут уж каждого сохрани, не дай бог чихнёт, пылинке не дай упасть.

А как же? Корову так вон как обложили! Три тонны да больше молока подай не грехи! А овцу? Шкура — на обувь, одежду, мясо — на шашлык, кости — на студень, требуха — на рубец, рога да копыта — на гребни. Почему бы и к свиньям не так? Интенсивным должно быть всё животноводство!

Первое сосание давали через час-два после опороса. Как только инстинкт сработает, желудочек запросит. Тут и начиналось: первую пятидневку по двадцать два — двадцать четыре раза кормили материнским молоком. С пятого по десятый дни начинали по два-три раза коровым подкармливать, по пятьдесят граммов за дачку. Потом — кашей овсяной. Помаленьку приучали к овсу поджаренному, давали ячмень, добавляли красную глину, толчёный уголь. Грубые корма вводили в рацион только с сорокового дня.

Долго ли, коротко ли — год прошёл. Взвесили, подсчитали — есть тонна-опорос! Не бывало ещё такого в стране!

Ну, уж тут стало полегче. Не рукам, нет — душа вздохнула. Ни сомнений, ни страха. Всё можем!

В тридцать шестом вызвали Манефу Владимировну на первое Всесоюзное совещание передовиков сельского хозяйства в Москву. Тут-то и услышала из первых уст: «Труд в СССР есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!» Как на крыльях домой летела! Шутка ли: орден Ленина на груди горит, а ферму — семьястами рублями премировали! Патефон дали, весы десятичные.

Порадовались — и за дело. Молчим, работаем, думаем. Вдруг и говорит, как бы между прочим: «За своих поросят так никто премии не давал. Да и чудно было бы спрашивать. А тут: двор — колхозный, корма — колхозные. Сами, прах возьми, и то колхозные, — засмеялась. — А ты как думаешь?»

А как я думаю? Всему колхозу премия — вот как! Часть денег сразу в дело пошла: накупили ведер, лопат, корыт для фермы. А на остальные решили устроить угощение колхозникам. Приурочили к дожинкам. В церкви, клуб в ней был, собрались. Булки белые на столах, сахару вдоволь — редкому не в диковинку. Где и народу взялось? Да не думайте, что на угощение мы зря деньги на ветер выбросили. В тот вечер не только выпивали да закусывали, а больше мы о своей ферме и свиньях рассказывали. И прямо скажу, что с тех пор колхозники и на ферму, и на нас иначе смотреть стали.

На другой год послали земляки Манефу Владимировну своим депутатом в Верховный Совет СССР. Признали-таки. То-то и дорого. Дороже всего!

ДЕЛО СЛАВЫ

1. Принимаем М. И. Калинина

На Всесоюзную сельскохозяйственную выставку свиней отбирали мы тщательно, строго. Мыслимо ли: из Шейбухты — в Москву, без билета, с фермой. Лишь бы кого не возьмёшь. В сороковом году, помню, на одиннадцать лошадей до пристани провожали. На одних повозках свиньи в садках, на других — корма. Погрузишь на баржу, из баржи — в вагоны. Долог путь до московских павильонов! Вся издёргаешься. А у животных тоже нервы. Не сразу в себя приходят. Но вообще-то в Москве им не хуже жилось. Да и нам кое в чём полегче. Корма — по заявке, в любом виде, в любой расфасовке. Температура, вентиляция — оптимальные. Минеральные добавки, лечебные препараты — на любой вкус. Зоотехническая, ветеринарная служба — на высоте. Зато попробуй-ко целые дни на чужих глазах работать! Люди-то разные: иной в дело вникает, а иной нас, как диковинку, рассматривает. Ну, мы-то особо не тушевались. Неурочных посетителей не жаловали. Как дома себя чувствовали.

Кормление — всему основа. Вон один в Англии был — здоровый, упитанный, чуть не век прожил, а спросили, за счёт чего, ухмыльнулся: «Я, — говорит, — ни разу в жизни к обеду не опоздал».

А тут: седьмой час утра, завтрак в разгаре — на тебе: ворота распахиваются, группа мужиков (ну, пускай мужчин — одеты-то хорошо) идёт. Один проворный ворота распахнул да и в сторонку. А передо мной — ну, выдвала же где-то! — этакий небольшой, в годах уж в хороших, очки слесарские, железные, борода вроде кисти малярной, истёртой. Я в проёме-то расшарашилась: «Что ты, милой, двери-то распахнул? Давай, давай, тебя ведь не выталкивать!»

Тут Манефа Владимировна подлетела, фукает на меня, оттирает: «Здравствуйте, гости дорогие, здравствуйте! Проходите, Михаил Иванович, пожалуйста!»

Вот так раз: сам президент с членами правительства!

Вот где видала-то: на фотографиях! А Манефа-та в лицо хорошо знала: вместе заседали в Кремле.

Стушевалась я немножко, а сама себе думаю: «Раненько встаёт «всесоюзный староста»! Могли бы и предупредить!»

Дальше — чин чином: провели, обсказали. Прощаться стал — руку подал. «Серьёзный, — говорит, — народ в Вологде. Не страшно и Америку обгонять». И улыбнулся, да так хорошо! А я и до сих пор неловкость чувствую.

2. Рекорд! Ещё рекорд!

Тридцатые годы! Дружные, молодые, азартные. «Утро красит нежным светом...» По всей стране слышно: «Даёшь!»

Даёшь Турксиб, Магнитку, Днепрогэс! Пятилетки — одна за другой — досрочно, как с горы, катятся!

В тридцать девятом мы дали тонну-опорос за три месяца двадцать семь дней! Второе быстрее первого опыта. Вот это рекорд! А к слову сказать, и его побили сами же. Только попозднее, в тысяча девятьсот пятидесятом. От Июньки, матка такая была, под номером 856, первый помёт из девятнадцати поросят достиг тысячекилограммового веса за три месяца и девятнадцать дней. А мясо-то! Не то что теперь в странах Общего рынка. Нашпигуют стимуляторами роста, а потом и взрослые-то травятся, не только дети. Наше — чистое, от земли да от великого прилежания.

Ну, вот особо понервничали в сороковом году. Приехали в Москву, разместились.

Я ещё на районном совещании у нас в Шуйском слово дала: получить за год от одной матки приплоду четыре тонны живого веса. В зале, слышу, шушукуются: загибает, мол. А я тетрадочку на трибуну да с цифрами: вот первый помёт — девятнадцать штук, вот второй — семнадцать, третий, пускай, пятнадцать получу. Вот вес в месячном возрасте, вот за квартал, а вот — к концу года. Ну, как?

Согласились: пожалуй, выйдет. А одна и говорит:

— Ещё бы: у неё всё подсчитано дак...

Смех и грех!

С тем и поехала. В двенадцать ночи перед дорогой покормила. Два помёта с собой, а третий уж там, на выставке, принародно принимала. Да ещё бегала белорусам помогать. Вот какая повитуха! Ну, я и не уставала. Мне и не хотелось устать никогда. Каждый день в радости: «экспонаты»-то мои знай похрюкивают да растут.

А один поросёнок возьми да копыто и сбей! Беда. Ест-пьёт по-прежнему, а сидя. Для развития движение нужно. Я к докторам. «Прирезать!» — говорят. Я, наверно, позеленела.

— Ну уж, — говорю, — нет уж, — говорю. — Режьте, — говорю, — своих пациентов, сколь угодно, а этого чтобы вылечить!

Заставила. Отходили. В зачёт пошёл.

На выставке все знали, что иду на рекорд. Каждую пятидневку поросят взвешивали. А они на весы, как учёные, шли. Как у Дурова. Цирк! По две-

три штуки бегут коридорчиком, глаза красные, глупые, пустые. Это уж сок желудочный у них выделяется, гонит за лакомством после весов.

Киношники каждый день вертятся. Но снимают правдиво. Документальный фильм получился. Хороший. Хранится, наверно, в архивах ВДНХ.

А как «Свинарка и пастух» вышел, многие спрашивали, не с меня ли списали?

— Душа, — говорю, — моя, а остальное — наше.

Не знаю, угодила ли. Не специалист.

Грянул срок.

Народу в манеже — яблоку негде упасть. Я уж результат почти точно знаю, а всё равно сердце дребезжит. У весов-то не кто-нибудь стоит, а Редькин Андрей Петрович, профессор, с ассистентами. В оба глаза смотрят, объявляют, записывают. Наконец, итог огласили: четыре тонны семьсот пятьдесят четыре килограмма семьсот граммов! Страшно вымолвить!

Редькин переспросил: «Правильно?»

— Правильно! — кричат. Многие считали.

Есть мировой рекорд!

Вечером нас чествовали. Завалили цветами. Вон их страсть какая на выставке!

Павлу Тимофеевичу Комарову, первому секретарю нашего обкома партии, оправдываться пришлось: «Ни от кого мы их не утаивали, не скрывали. Просто они у нас скромницы. До поры до времени — молчок!» Шутит, конечно.

Нам с Манефой Владимировной — по медали, колхозу — машина грузовая и Диплом первой степени.

Одна гора с плеч! Теперь бы домой скорей да за дело!

3. «А ты записался добровольцем?»

Как вспомнишь те годы, сердце сосёт, сосёт. Тревога охватит: всё ли сделала? Не скрывалась ли за чужой спиной, не скривила ли в чём? Будто снова в душу глядит красноармеец с плаката: «А ты записался добровольцем?»

Отойдёшь, поуспокоишься — вроде, ладно, вроде, по-людски прожито.

С началом войны наша задача изменилась. Кормить армию! Как можно больше продукции! Вот мы и старались, выращивали свиней на племя. В первом военном году сдали почти сто семь с половиной центнеров свиноподпродукции, в том числе больше восьмидесяти трёх племенной. Сотни племенных свинок отправили в другие колхозы. Прифермский участок стал полностью нашей заботой. Пахали, сеяли, косили, возили — всё почти сами. Сами и двор утепляли на зиму.

Учёт по-прежнему строжайший вели. За один год — с 23 марта 1942 по 23 марта 1943 — от свиноматки Ялты номер 132 за три опороса получили пятьдесят поросят и от шести её дочек — пятьдесят шесть поросят, всего сто шесть штук. Прежний рекорд побили. Общий живой вес их составил пять тысяч девяносто семь килограммов. Деловой выход от пяти свиноматок — по 26,8 поросёнка при стопроцентной сохранности. А всего по ферме за 1943 год получено 487 поросят, по 24,3 головы на свиноматку. Особенно порадовала нас Июнька. С 23 марта 1943 года по 25 июня 1944 года она принесла сто двадцать восемь поросят. Сто восемь из них мы сдали наивысшим классом — «Элита» и первым.

Мои дорогие помощницы Короткова Лидия Николаевна и Аносова Анна Ивановна получили благодарности от обкома партии и облисполкома.

Одни ли мы так работали? Считаю, весь народ, исключений мало было. В лесу, на сплаве, на полях живота не щадили. Трактористы — наполовину женщины, девчонки молодые. Всё для армии, всё для Победы!

Вещи тёплые собирали, деньги, продукты, сдавали скот. На танковую колонну, на самолёты, в помощь освобождённым областям... А займы? Сколько их было! Последние отдавали, всё, что могли.

Про меня, к примеру, говорили и писали, что от своего хозяйства сто килограммов мяса в фонд обороны сдала. Так-то оно вроде и так, да не совсем так. Нечего сдать-то было. А премию мне от колхоза дали, верно. Трёх поросят. Кормить-то чем? Нечем! Вот опять на ферму и свела. Выходит, что так.

...На году троих в армию проводила. Мужа да двух сыновей. Легко ли? Старший, Константин, погиб за Невель Калининской области. Анатолий семь с половиной лет на Дальнем Востоке отстукал, Михаил — семь. По три года только младшие — Рафаил да Порфирий. А всего-то больше четверти века отслужили мои мужики.

И вот удивительно! Всю войну на прифермском участке, хоть и руки не всегда доходили, урожай рос отменный. Особо ячмень пёр, на горе врагам. Зерно литое, тяжёлое, как картечь. Александр Алексеевич, муж-то, как домой вернулся, первым делом сказал: «Ну, мати, от Берлина прошёл (они лошадей по домам гнали) — нигде лучше твоего ячменя не видал».

Мир! Трудный, желанный.

Теперь-то уж заживём! И верно: тридцать пять лет в покое. Кое-кто забываться стал. Деньги, тряпки, кольца, машины. Ловчат, толкаются. Грубее народ стал. Почитайте-ко газеты, за любое число, кроме праздничных. Многие на грани совести живут. Закон не запрещает, совесть, видно, тоже. Кто сумеет, тот ухватит. В хорошей семье так не делается. Иначе, иначе в войну

жили. И в скудости умели достоинство сохранить. Ну, и речь, конечно, о жизни шла, о Родине. Тоже понять надо.

В сорок шестом году мы с Коротковой Лидией Николаевной да с Аносовой Анной Ивановной (Манефа Владимировна оставила работу по болезни) получили Государственные премии, лауреатами стали. За войну, за хорошие показатели, за рекорды, за то, что сделали ферму племенной. Как подумаешь — верно: никто не указывал, никто не подгонял. Добровольно шли и делали сколько надо. Хорошо на душе было, чисто, надёжно!

ДЕЛО ДОБЛЕСТИ И ГЕРОЙСТВА

1. Хозяйственным способом

Десять лет простоял свинарник, пять из них — военные годы. Не тот, конечно, догляд. Полы, углы, нижние венцы — всё сопрело. Новый надо бы строить. А плотников-то своих нет. Подвернулись шабашники. Волчья бригада — так их тогда называли. Буйские ли, владимирские — не помню. Долготьё на коротьё переделывать мастера. Хороших разве отпустят на сторону да в ту-то пору? Ладно, приставили к ним старшим своего колхозника, мастера Худобина Алексея Романовича. Он всё дело и повернул. А я — вроде толкача. Бригаду накормить, моху надрать, тёс подвезти — каждой дыре затычка. Только за гвоздями раз пяток в Вологду огрела! А крыть чем? Соломой — позорно, дранкой — обидно, железом — нет его. А ферма-то знаменитая, племенная. Шифером, говорят, надо!

Ладно! Выпросилась в Москву, в министерстве своём наряд выбила на брянский завод, командировку оформила, села в поезд — качу.

Прикатила — пожалуйста:

— Вот вам шифер. Во что грузить прикажете?

Хоть стой, хоть падай! В подоле не унесёшь. У них все вагоны расписаны, что под что. Завернулась да на той же ноге в Москву. К тому же чиновнику. Ну я ему сказала! Понял. В Калугу прилетела — без проволочки вагон выдвали. Видно, звонил чиновник-то.

Снова в Брянск. Тридцать первое декабря. Вечер. В окнах ёлки. Метёт. До завода добралась, говорят: «Если до двадцати четырёх часов не погрузишь да не выпихнешь вагон за ворота — пиши пропало. В Новом году — новые фонды. Ваших нет!»

Ах ты, крючок без бородки — всё дело сорвётся! Ну, нет! Прибежала к грузчикам — работу кончают, посовестила, поговорила, сунула триста рублей — через час мой вагон выскочил!

Стою на ветру в потёмках. До города километров четырнадцать. Вдруг такси. Уселась. Боюсь. Ни встречного-поперечного. Туда ли везёт! Слышно было: пошаливают на дорогах-то. Нет, всё ладно: к облизполкому доставил. В гостиницу уж пешком добралась. Мне бы чайку попить да поспать. Сижу в вестибюле, а передо мной администраторша с ноги на ногу колышется, как расшива старинная на зыбях. Ничего у неё для меня нету: ни чаю, ни места, ни номера.

— Нельзя ли хоть кипятку достать да на стульях ночь скоротать? — говорю, а сама расстегиваюсь, платок на плечи спускаю да за гребёнку берусь. Значки-то на груди и открылись: лауреатский да депутата Верховного Совета СССР.

Ну, вот и весь сказ: всё у неё, оказывается, есть. Противно. Но я тогда, верно, устала. Не от работы — какая работа?! От бестолочи.

Теперь-то что: в силу вошли, опыта набрались. В каждом районе новостройки. Специализированные тресты, мехколонны.

В том же Междуречье возьми: два объекта строят две конторы — сельстрой да межколхозстрой.

Двое дорогу курочат, двое бензин жгут, двое порожние в город бегут. Может, в Междуречье-то одна бы организация справилась? А другая — в Соколе, например? Ручаюсь, в полтора раза дешевле бы было. А может, в пяти-шести районах навалиться всем миром? Сделать быстро да хорошо, чем во всех понемножку, медленно да плохо? А может, ещё как по-хозяйски-то, а?

2. В гостях у Сталина

Невелико дело — по гостям ходить. Нашла чем хвастаться! Ну, во-первых, не много-то и находила, ни у кого порогов не обивала, а, во-вторых, и ходила — так не абы к кому. Да и случай-то был не из рядовых. В декабре сорок девятого Сталину Иосифу Виссарионовичу исполнилось семьдесят. Дата. Любого поздравить не грех.

Великой честью считаю, что была позвана. Конечно, и пришла не с пустыми руками. Мы на месте-то не застаивались. Год от году вперёд шли. В сорок восьмом и к прифермскому участку отнеслись посерьёзней: севооборот семипольный ввели. Особое внимание уделили поддержанию постоянной — двенадцать-пятнадцать градусов — температуры в свиарнике. При активной вентиляции.

Всё это сказалось на продуктивности животных. По двадцать семь поросят от свиноматки получили. Тоже впервые в стране.

Так что попала я в компанию знаменитой костромички П. А. Малининой. И рядом известные всей стране люди сидели: Евдокимова, Гунина из Ярославской, Ананьина из Ивановской областей. Вместе и жили в гостинице «Москва». Вместе и в президиуме торжества сидели. Всего семьдесят один человек. Так решило заседание старейших депутатов. Мы все стайкой позади и устроились, в затылок Мао Цзедуну с компанией... Знал, знал Иосиф Виссарионович, кого возле себя держать, на глазах!

Рядом с нами — немецкая делегация. Знаем, что за люди: коммунисты, единомышленники, а — немцы. Давно ли война кончилась?! Мы-то политики не ахти. Всё время меж собой шушукались. Особо ворчала Малинина. Порывалась «по душам» потолковать.

За праздничным столом — двадцать один тост! Понятно, что губы мочили да салфетками промокали. Речи хорошие слушали: за дружбу народов, за мир, за коммунизм!

А перед глазами страна — холодная, голодная, великая.

Наскоком не возьмёшь, а душа рвётся. Да делать нечего: десять дней положено отгостить. Вот какая премия! Здорово нас за эти дни накачали! Другой всю жизнь в Москве проживёт, а того не увидит. Театры, музеи, концерты, выставки — душа зрячей делается. И твоему стремлению предела нет!

...Молча ходили в Горках Ленинских. И на празднике это полезно: подумать и помолчать обо всём...

ВОТ ВАМ МОЙ ПОСОШОК

Не зря старики сказывали: век живи — век учись, терпенье и труд всё перетрут.

Большое мы полюшко перешли. И взрастили на нём социализм полной чашей. На полюшке этом — пот и кровь нашего народа. Верится, что мы трудились не даром. Умнее ли вы нас? Не знаю. Добрее ли вы нас? Не знаю. Сильнее ли Родину любите? Доказать надо... Больше нашего вы знаете — это точно. Но работать так, как мы, вы не будете — тоже точно. Время другое. Возможности другие. Небывалые. А есть-пить всё равно надо.

У земли хватит всего на всех. Стойте на ней прочно, работайте дружно, спорьте уважительно. Смотрите на неё, как на мать родную, ласково, берите у неё экономно, отдавайте щедро!

На полях — не сравнимая с прежней техника, в животноводстве — не фермы, фабрики по производству молока и мяса. Соревнуйтесь за лучшее отношение к делу, за лучшую организацию работы, за честь рабочую соревнуйтесь.

И в этом мы вам не худший пример. Да и опыт наш рано на полку класть. Комплексы — хорошо, а своя-та ферма любому предприятию не помешает. Подсобное хозяйство подсобное и есть!

Высших наград и званий удостоилась я. За что? За результаты? За мировые рекорды? По документам — дак так. А по душе — дак за отношение к делу, за рабочую честь. Еду вот недавно в троллейбусе. Компания в джинсах. А что: для работы вещь ноская. У нас раньше не было. Один потешает: «В совхоз, мне говорят, тебя завтра, в „Передовой”!» — «А я там, говорю, ничего не сеял», — хохочет, остроумец, а у самого пушок под носом, как у майской у вербушки.

Я и не удержалась: «Тебя самого, говорю, милой, может, там посеяли, да, видно, сорвали безо время. Поезжай, говорю, может, ещё и привьёшься. Это старой лесине не просто, а сырую вербушку — только ткни». Покраснел, запыхтел, а не огрызнулся — душевный, видать, кхе-хе. Беда с эдакими, право.

Сердце-то и болит: и меня-то там нету, да и этот не больно спешит.

Милые мои! Кончаю я вам свою байку. Вот я на кухоньке сижу, чаёк попиваю, люблюсь на вас мысленно да думаю: «Старикам бы в городах-то жить! Дров — не надо, речка из крана течёт, чай-сахар — по телефону заказывай».

Посошок свой верный в угол поставила: кому надо, берите. Вот он: терпенье и труд всё перетрут. Безотказный. Любому послужит. Берите!

ПОБРАТИМЫ

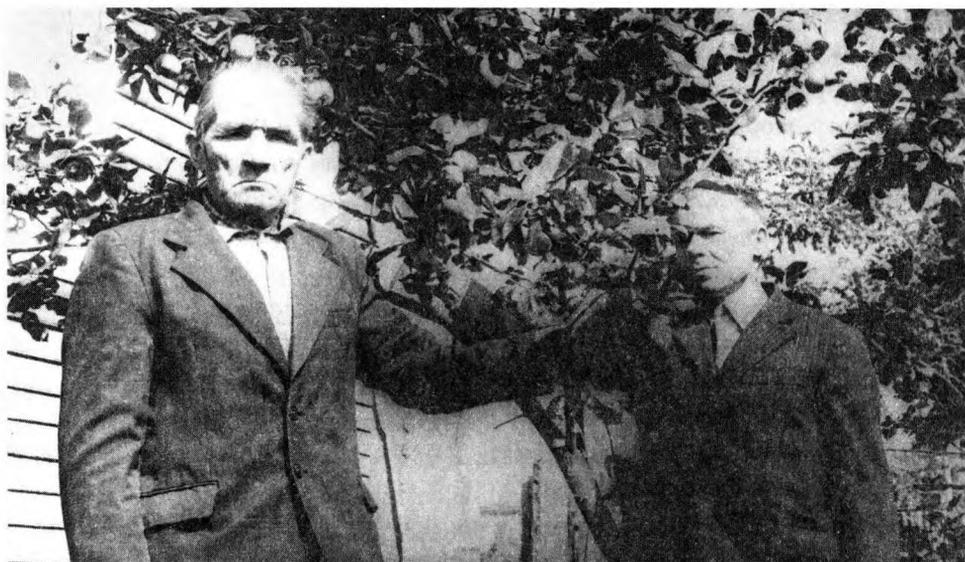
(Рассказы разведчиков)

О ЧЁМ ДУМАТЬ НА ВОЙНЕ

Глухов с Базлеевым были призваны в Красную Армию в один день — 8 февраля 1942 года. К фронту подбирались долго. В кавалерии послужили под Ленинградом, в противотанковой роте, потом попали в отдельную автоматную роту. И только в начале мая маршем отправились на фронт. В частях ждали наступления. По всему было видно: вот-вот...

— А не помнишь, Михаил Михайлович, что чувствовал перед первым боем? — спросил я Глухова.

— С Олёшкой чего же почувствуешь? Одни смешки да хаханьки. Вот, помню, у немцев репродуктор на ёлке орёт в нашу сторону. Зазывает нас, значит. Олёшка подтолкнёт политрука: слышишь? Тот заоглядывается, зашипит, а нам смешно.



Базлеев Алексей Евгеньевич (слева) и Глухов Михаил Михайлович

...Он меня тоже спрашивал, как ты. Помню, построили нас, приказ о наступлении прочитали. Он мне кулаком в каску колотит, будто в квартиру стучит:

— Чего, Мишка, думаешь?

— А ничего не думаю.

— Молодец!

До чего с ним весело было!

А некоторые, видно, думали. Один у нас форсистый был. Так вот прямо в строю белые перчатки снял, бросил на землю и заплакал: «Теперь они мне больше не нужны...» А может, зря злились-то, может, он музыкант какой был?

...Ракета брызнула. Вся рота — сто два человека — поднялась. Командир Миша Ходяков, тамбовец, лейтенант, — впереди. Бежим без хитрости: «Ура-а!» Немец огнём сечёт. Ребята только кувыркаются. Растерялись, легли. Я в канаве лежу. Вижу, Гришка Михайлов ползёт, в голову ранен, но несильно: только зацепило кожу. Рукой мне махнул — ладонь вся в крови. Гляжу — мизинца нету...

Лежим с ним, ждём. Светает. Слева от нас Ходяков и Базлеев окопались. И нам к ним захотелось. Чуть дёрнулись — очередь. Страшней того Олёшка хрипит: «Убирайся! Не шевелись!»

Вскоре нас артиллеристы выручили. Остатки роты были отведены во второй эшелон. Чтобы подумать. Да не одним нам, солдатам...

В НАБЛЮДЕНИИ

У нас в разведку брали только добровольцев. Мы с Базлеевым тоже вызвались в эту особую группу воинов. Почему особую? Потому, что разведчик должен всё видеть и слышать, но быть невидимым и неслышимым, многое знать и в случае нужды всё «забыть», даже имя и звание, быть строжайше дисциплинированным, изобретательным, лёгким на ходу. Риск и осторожность, чувство опасности и достоинство — всё в нём, в разведчике.

— Однажды сидим, — хриловатым голосом рассказывает Михаил Михайлович, — чай кипятим — Ходяков, Олёха и я. Истребитель немецкий летит. Наш костёр чуть виден.

— Айда в землянку! — командует Ходяков.

Переждали. Олёха вылез, хохочет:

— Сволочь, чай пролил!

А в это время Бараев суп нёс — тоже пролил, и из щеки осколок торчит.

Было от чего повзрослеть! У кого в характере нет твёрдости, сразу выявлялось. Помкомвзвода — замечали — трусоват. За одну ночь наступления весь побелел. И беречься стал очень. Землянку ему персональную вырыли под двумя ёлками. Лаз — как барсучья нора. Вот начал как-то немец мины покидывать. Помкомвзвода рванулся к землянке, да понял: не успеет в нору, распластался на земле, замер. А новая минка — шмяк! — около лаза и по песочку закатилась в него. Сплоховал, видно, немецкий третий номер, не свинтил колпачок. Вот и не взорвалась, но предупредила: не ищи, мол, отдельной судьбы!

Разведка, если позволяли условия, готовилась тщательно. Бывало, по три дня наблюдали за передним краем врага. Однажды пришлось ползти в наблюдение вдвоём с одним биноклем. Вот ползём. Дело утром, светло. Впереди широкий куст ивняка.

— Давай вправо! — шепчет Базлеев мне.

Обогнули, сползаемся. Между нами кто-то лежит. Оба на него смотрим: шинель наша, ботинки, обмотки, за обмотку ложка заткнута. Жив? И чувствую, как тошнота подступает: головы-то у него нет.

Олёха первый опомнился и опять на своё перевёл:

— Во русский человек! Головы нет, а ложку не бросил!

От этих слов и я в чувство вернулся. Но не оглядывался. Заставил себя забыть о нём на время.

Всё внимание на задачу пошло. Наблюдаем. Ничего особенного не происходит. Только жарко: июнь. Немец-связист катушку тащит. Старшему моему, видно, тоже надоело томиться.

— Мишка, давай схватим! — он всегда был решительный.
— Молчи,— говорю,— не ори, обед у них. Рядом котелки брякают.
Вечером вернулись, доложили, что видели.

ЗА ЧТО ДАЮТ ОРДЕНА

И стали мы настоящие разведчики. Базлеева в дивизионную разведку зачислили, меня — в полковую. 18 июня 1942 года пришёл строжайший приказ: взять «языка». Нашей группе парня незнакомого придали. Поглядываем: каков? Высокий, красивый, резкий такой. Потом-то я понял: это нас ему придали. Развитой, удалой оказался, лучше нас — так и сказать.

Поползли. Правило такое: касаться пятки впереди ползущего. Парень первый, я за ним, за мной Аложков, Щепелин — оба сокольские. У нас лимонки, штук по десять, ППШ. Щепелин только кустиком шевельнул — хлестнул пулемёт. Чуть не в упор. Пламя как из паяльной лампы. И Аложков мою пятку выпустил — тоже готов. Парень-то головой в дерево уткинулся, лёжа гранаты кидает. Шесть штук бросил — пулемёт бьёт. Мне и руку не вынуть — остригает. Подкатываю лимонки ему. Тут и около меня граната упала. Чувствую — нет ноги.

— Ногу оторвало,— хриплю, а сам последнюю гранату подкатываю.

— Разворачивайся, ползи!

Я только начал раскантироваться — осколок и разрывная пуля по коленке. Но гранатка моя помогла. Пулемёт замолк.

Парень вскочил: «Держись за мой автомат! Только крепче!» — и во весь рост в свои окопы. Волоком меня и тащил.

Вот это человек! Встретить бы сейчас, я бы ему свою Славу 3-й степени прикрепил!

КАК ОТОГНАТЬ СМЕРТЬ

Вытащил он меня к своим. А там откуда ни возьмись Базлеев. Видно, раньше пришли. Помню, штаны с меня сняли, бинты достают... А немец минами начал забрасывать. Одна бруствер разворотила. Оглушило, засыпало. В сознание пришёл на рассвете. Лежу один, голый, мокрый. Базлеев с ребятами вернулись, перевязали, понесли. Через реку вброд пришлось. Выкупали. А дальше — в санбат...

По дороге гнойный процесс начался. Креплюсь, не мычу. На какой-то остановке подходит старичок и жалостно пальцем на меня показывает:

— Этот паренёк дак умрёт.

Я и сам знаю, что худо, но категорически, по-нашему, говорю ему, что не умру.

— Как-как говоришь, Михаил Михайлович? — это уж я его спрашиваю.

— Категорически, а повторять не буду, — смеётся Глухов. — Так вот на эти мои слова старичок вежливо плюнул и отошёл. А я — будто смерть отогнал. Долга ещё была песня, а настроение в гору пошло. Ногу ампутировали в Боровичах всю, а в левой четыре осколка остались. Недавно жена один плоскогубцами вытащила. От гранаты. Весь в завитулинках. А доктор Шитов весной восемьдесят третьего года из руки вынул штук пять осколочков костяных. Понял? А я и раны этой не знал. Просто рука заныла-заныла — пришлось в больницу. Эдак дело пойдёт — совсем когда-нибудь вылечат!

Бессмертный буду. Добро!

КАК БЕРЕЧЬ ЕДИНСТВЕННУЮ НОГУ

*Тело твоё
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережёт свою единственную ногу.*

Крепко писал Маяковский! Только пока я не встретился с Глуховым, не понимал, как это солдат «бережёт свою единственную ногу».

Через полгода после ранения, 17 января 1943 года, Глухова выписали из госпиталя. Пришёл домой — шинель да костыль. Мать одна. Отец умер в тот день, когда Михаила ранило. Случайное совпадение — много было таких случайностей. Надо жить, надо работать. У матери кожа была куплена. «Буду сапоги шить», — думает Михаил. А матери жалко добро портить. «Поучиться бы, — говорит, — надо!» А где переупрямить? Первые ей и сшил, вторые — сестре, одни продал — костюм купил. Уверенность появилась. Летом косить стал учиться заново. С корзинку, с две накашивал, с копну, а потом разошёлся да девять копен в один день! Воз! Сосед подошёл, усомнился, но Глухов ему сказал:

— След-от видишь?

По каждому прокосу костылём была полоса прочерчена. Мужик! Кор-милец!

С сорок шестого заказов на сапоги не стало. Голод. На валенки перешёл: зиму-то не обманешь. Екатерина Михайловна, жена, стала хорошей помощницей. А начали с того, что «лучок» не тем концом повесили, а решётке и места нет. Ничего, приноровились, да этим и семью подняли.

Михаил Михайлович признаётся, что первые валенки неровные были. «Шерсти,— говорит,— не понимал». Трудные были годы. Пища — крапива, ягель, клевер, отруби. Имуущество — одна фуфайка на двоих да деревянная бадья. А дисциплина, строгость — теперь и сравнить не с чем!

Вызывает его однажды начальник артели инвалидов к себе в Шуйское — это четырнадцать километров костылять.

— За что катаешь? — спрашивает.

За всё катать приходилось: за дрова, за хлеб, за шерсть, за молоко, за сено.

— Почему без квитанции?

— Как без квитанции?

Выяснилось, что не донёс уполномоченный до кассы артели те шестьсот рублей, которые послал с ним Глухов, пропил. Ну, не стали гробить человека; засчитали в уплату его хромовые сапоги, которые были в ремонте в мастерской.

Пошла по району добрая слава про мастера Глухова. От заказов отбою нет: многие хотели пофорсить в валенках его работы.

Дети Глухова сызмала к труду приставлялись: шерсть щипать да смотреть за меньшими.

Как только скопилось немного денег, купили новые вёдра, и вышел Глухов на крыльцо и расхлестнул старую бадью об угол.

Я видывал его в работе в домашней мастерской: жар, пар, в котле валенки «варятся», в сухом теле ни жирилки, мышцы, как камешки-голяши, под кожей катаются...

Сейчас мы сидим в светлой горнице на втором этаже его просторного дома. Екатерина Михайловна разливает чай.

Дочь Нина забежала на минутку по делу. Все дети разлетелись по стране, только она и живёт рядом с родителями. Внучек заскочил похвастать грибами: на час вывернулся, и вот — корзина.

Лад, покой и уют душевный!

Екатерина Михайловна вспоминает годы крестьянских забот: «Лошадка — во! Плуг настроен — ручки держать не надо. Красота! Домой идти неохота. По восьмидесяти соток пахивала».

Достаток уже давно прижился в ладном доме Глуховых.

Недавно они покрасили дом. Одной краски шестьдесят банок ушло. Добрые люди пройдут ли, проедут — залюбуются.

Однажды сосед Глухова по больничной палате, дородный, из бывших руководителей, спросил его:

— Ты сколько зарабатываешь?

— А встань с кровати, сколько на одной ноге простоишь?

Не лезет в карман за словом Глухов. Но дородный не унимался:

— Во мне сто с гаком, в тебе — пятьдесят. Да и спортсмен ты, велосипедист.

— Вот и возу пятьдесят на одной, а ты свои сто на двух повози попробуй.

Любит Глухов велосипед. И часто предпочитает его своему «Запорожцу». Летом и зимой поглядишь — катит: костыль вдоль рамы, на левой педали — противовес. Вся жизнь Глухова — сплошное упрямство. В ней и ответ на все заданные и незаданные Глухову вопросы.

— По восемнадцати часиков не присаживался. На женские валенки сколько времени нужно? Часов двадцать. Из них сидя сколько можно? Часа три, только пока сращиваю. Вот и сосчитай мой заработок, — говорит он мне.

Не менее пяти тонн шерсти перекатал Глухов. Что добавить? Наверно, только так и можно было сберечь и единственную ногу, и честь, и достоинство, и семью, и жизнь.

ЖДЁМ ГЛУХОВА

На другой день иду я вместе с фотокорреспондентом Володиёв Нужиным к Базлееву. Алексей Евгеньевич у своего дома. Крышу он докрыл, теперь оценивает работу.

Здороваемся. Ладонь у него жёсткая, пошире и потолще моей. Существенная такая ладонь! Ждём Глухова. Вот-вот должен подъехать.

— У, смелый он человек! И озорной. Пошли раз в наблюдение, а за кустом наш солдат без головы лежит, ложка в обмотку заткнута. «Во, — говорит, — русский человек: головы нет, а ложку не бросил». Вечером его вытащили.

Я усмехаюсь невольно: забыли, черти, кто что говорил. Ну, неважно. Зато живут душа в душу. Сено, дрова, мёд ли, валенки — чем богат, тем и рад один другому. Другой раз и «на каменку плеснуть», и совет добрый подать, и просто издали переглянуться: порядок!

Три уж года Базлеев на пенсии. Но без работы — ни часу. В прошлом году от своих двух коров сдал пять тонн молока государству. За такое радение райпотребсоюз продал ему ручную бензокосилку. Так что корма опять в достатке, с лесных полян, не травленных химией.

С войны он вернулся осенью сорок пятого. Был приказ: демобилизовать тех, у кого больше трёх ранений. У Базлеева было четыре.

Дома семья большая, карточки. Отец договор заключил с колхозом имени Чапаева рубить лес для района. По два килограмма зерна за кубометр. Кроме хлеба, премию заработали: ботинки и две рубашки каждому.

В сорок шестом Базлеев женился. Но через шесть лет жена умерла. Навсегда вошла печаль в сердце Базлеева. Вот уже и внуки взрослые.

— Один дак двухметровый,— улыбается Алексей Евгеньевич.— Это химия их в рост гонит. Во всём она: в хлебе, молоке, мясе, фруктах-овоцах. Мы-то на здоровой пище закрепи. Смолоду.

Около пожарки щёлкнула дверка машины. Вскоре подошел Глухов. Подоздоровались они с Базлеевым с сухой нежностью.

Кратковременный по сводке дождь закапал сильнее. Мы пошли в дом.

ЧТО ТАКОЕ «ГУТ»?

— Мы тебя на палатке выносили. А через Волхов — по настилу на лоша-
дых. Стонал сильно,— рассказывал Базлеев Глухову.

— Ещё бы: на каждом брёвнышке кости об осколок скребли.

— А меня тоже после первого ранения землячok на полуторке вывозил в тыл, Журавлёв из Шиченьги. Он после войны в мастерских лесопункта работал.

— Ну, я из-за недосмотра своего пострадал. Наблюдали, наблюдали, а лобового пулемёта не засекали. Это ведь рядом, какие-то десятки метров до врага.

— Бывало, сидишь, всё тихо,— продолжал Глухов.— Вдруг голос:

— Рус, махорку получал?

— Получал!

— От мины прикуривать будешь?

И ведь не соврут. Но мы тоже не лыком шиты:

— Фриц, песни любишь?

— Я, я!

— Сядь поудобнее, сейчас «катюша» споёт!

— Знаешь, что всего хуже на войне? — это Базлеев ко мне обращается.

— Спать никогда не давали, — сразу отвечает Глухов.

— Во, во! По трое суток наблюдали. День и ночь. Худо разведчикам в обороне. Кажется, кто на тебя ни глянет, чуть ли не кричит: «Языка!»

Один раз за часовым охотились. У них дзот на сопке, от него окоп к реке. Нас шестеро было. Всем бросаться нельзя, вдруг удерёт. Трое отрезали ему дорогу, трое — на него. Тоже, вишь, всё надо планоно, — с хитринкой улыбается Базлеев. — На товарища надеешься, как на себя. Бросок — метров с двадцати...

— Видал, как кошка мышей ловит? — добавил Глухов.

Ну, это-то уж больно, думаю, просто.

— Часовой здоровый был. Но сдался сразу. Австрияк. Эти сразу голосуют. Кровные арийцы — ого, просто не возьмёшь! Один раз подползли, тихо, хорошо. Я одного по каске, он так и сел. В землянке услышали. Я туда гранату. А немца не можем этого обратить. Вдруг — взрыв. Двое из наших кричат: «Лёха, ранило!» — «Отползайте!» Я пулемёт схватил за пламегаситель, часового друг прикончил ножом, бегу, а сзади лента пулемётная тащится. Спасибо, пехота наша помогла. Раненых вынесли. Генерал после доклада недовольно сказал:

— Правильно, Базлеев!

Но часы-таки подарил. Именные, кировские. Да... А этот, австрияк, хорошо пошёл. Мы его сразу в реку. Водой сплывили. Без выстрела.

На сухое место вытащили, он и спрашивает:

— Камрад, пук? — и указательным пальцем в висок показывает. «Нашёл приятеля!» — думаю.

— Нет, — говорю, — работать будешь. Арбайтен!

— Гут, гут! — боится поверить, но повеселел.

Я и сам знаю, что «гут»: отпуск за него полагался, только не знал тогда, что двадцать суток дадут.

Идём мокрые, светает. У нашего комбата старик-часовой у землянки. Спит. Винтовка меж ног. Вот пленного-то брать! Я ему пистолет под нос и шепотом:

— Хенде хох!

Алексей Евгеньевич и сейчас шёпотом изображает:

— Что спишь-то? И комбата утащат... Не бойся, не доложу.

А шёпот у Базлеева и сейчас такой проникновенный, что тот часовой, если жив, наверно, до сих пор во сне вздрагивает и шарит винтовку между ног.

..Чистая была та операция. Даже без поддерживающей группы. И все участники её получили медали «За отвагу».

ЧТО СОЛДАТУ ПО ДУШЕ

По душе солдату порядок. С кем ни поговоришь — все на этом сходятся и ругают неразбериху. И не только на войне, но и в мирные дни любого руководителя в первую очередь ценят за организацию дела. Всегда и всюду подтверждается ленинская мысль о том, что рабочий человек не боится дисциплины, организации. В ней он обретает силу.

Старые разведчики вспоминали много эпизодов, когда люди гибли из-за малейшего нарушения дисциплины.

— Заметили нашу группу однажды, — говорит Базлеев. — Укрылись в землянке. Немец бьёт. А солдат Вальков уполз, чтобы снять вещмешок с убитого. Ночью по одному выползали — пришлось и Валькова тащить, только мёртвого.

— У нас тоже Сашка Барабанов с Паршеньги вздумал пострелять, голову высунул — хлоп, всё ... — добавляет Глухов.

Одного солдата спас от расстрела простой русский валенок. Солдат нарочно подставил ногу под машину, а валенок-то крепче натурой оказался, выдержал. Так Валенком и прозвали солдата.

С восторгом рассказывает Базлеев о полковнике Козинове, ленинградце. Ему приказали вывести попавший в окружение полк в район Псков-Луга. Он на иссечённом пулями «У-2» приземлился в расположении полка, соединился с партизанами, разведчиков через линию обороны выслал.

— Во дисциплину сделал! А солдат уважал. Мы к нему два раза ходили группой по пятнадцать человек. Мины носили батальонные. По две штуки в тряпки завернёшь — и пошёл... Полк он вывел. После Герой Советского Союза генерал-майор Козинов командовал 256-й Нарвской Краснознамённой дивизией.

— ...Из нашей семьи воевало уже четверо, вру: Николай уж был убит, — продолжал рассказ Базлеев. — Да и отец, под Сталинградом раненный, лежал в госпитале в Тюмени. Брат Владимир в Карелии воевал. И вдруг получаю от младшего, от Серёги, письмо: «Хочу добровольно на фронт, отомстить за отца, за брата Николая». Попал он на Дальний Восток.

А я железную дорогу держу у деревни Мелковичи. Деревни, конечно, нет, одна церковь разбитая осталась. Нас мало, их — рота идёт. Рисковый момент! Да чтобы нас!.. Врукопашную выскочили. Четверых в плен взяли. А у нас убили Володю Кобзева. Ранцы, фляги обрезали с убитых, подкрепились, сидим. Утром — мать честная! — три танка с десантом на нас прут. Подбить нечем.

Решаем отходить до противотанкового рва. Мины посыпались. Двоих ранило. Отошли в лес. Вдруг батько на танке едет:

— Видите железную дорогу? Чтобы не оседлал немец!

— Есть! — с ним много не поговоришь. Окопались, как следует. ПТР нам привезли — добро, питание приехало — тоже ладно.

...Не пропустили. Соседи помогли. Сорокапятки у них были. Хорошо били!

Когда передавали об этом бое по Центральному радио, отец в госпитале услышал свою фамилию и с кровати упал! Едва сестричка уговорила, что жив я, что второй медалью «За отвагу» награждён.

Вот как бывает: в тебя бьют — всё мимо, а невзначай... Только в Нарву ворвались, улицу перебегаю — снаряд в стену, а осколок — в голову, беспмятство... Куда-то привезли, смотрю — Вологда. Положили в госпиталь, на Маяковского, 6, где пединститут был.

Как поправился, к отцу пришёл. Он уже конюхом служил в Красных казармах. Говорю ему, что домой выписали, он от радости заплакал.

Иду по городу — навстречу Николай Михайлович Бокач, наш комвзвода. В отпуске. Родом из Улан-Удэ, туда-сюда разве обернёшься? Вот и решил в Междуречье, в Макарово, к родным Михаила Олунина, выполнить его предсмертный наказ. Михаилу всё внутри осколок порвал.

Я Бокачу: поеду с тобой на фронт и всё. Он разве против? И начальство военное уговорили. Вот это порядок!

А к Олуниным съездили... Как после этого мог я дома сидеть?

...Успели в Курляндию. На дожимание. Мощная группировка немецких войск была к морю прижата. Знаешь, как у борцов: один уж кверху брюхом, на шее — на пятках держится, а ещё могуч. Только оплошай! Мы не оплошали. Дожали.

Я орден Славы 3-й степени получил, а Бокача тяжело ранило. Обе ноги перебило.

— Досталось вам! — сочувственно проговорил Михаил Михайлович.

— Ой-ой...

ПОРА ПРОЩАТЬСЯ...

— Вот, мужики, давно я вас знаю, а ни разу с орденами-медалями не видывал. Почему?

— Ну-у,— протянул Базлеев, и по тону выходило: ишь чего захотел! Дак зачем? Вроде неудобно. Дело-то прошлое.

Я не стал спорить: многолетняя привычка, природная скромность... Да мало ли что.

— А иногда не мешало бы,— как-то виновато проговорил Глухов.— Раз на автовокзале подошёл за билетом без очереди. Человек пять и стояло-то. И вот одна девушка, комсомолка, наверно (значки-то они теперь редко носят), давай меня честить. Я говорю: «Милая, сорок один год на одной битой ноге хожу, мозоль замучила, стоять невмочь».

— И что?

— А откуда она знает, что мне, вроде, положено без очереди? — начал раздражаться Глухов.— В школе ей, может, не сказали, дома не успели, пока-то сама поймёт...

— Пока поймёт, новые вырастут, которым объяснять надо,— сказал Володя Нужин, так же, как и я, внимательно слушавший рассказы старых разведчиков.

Я невольно подумал: висят в музеях портреты великих героев, смотрят с бесчисленных стендов хорошие, но ставшие иконными люди, и ходят среди нас знакомые неизвестные герои, и нередко мы задеваем их и плечом, и взглядом...

Время подкатило к полудню. Солнышко выглянуло из-за облаков. Володя оживился. Вышли на улицу. Алексей Евгеньевич стряхнул воду с плёнки, которой была укрыта косилка.

— Мешанина-то помнишь? — вдруг спросил Базлеев.

— А-а... Помню. Век не забыть.

И Глухов рассказал маленькую историйку. В один из послевоенных годов надоело ему вручную на жерновах зерно молоть. Неловко было. Добро бы о двух ногах. А тут одной точки опоры никак не хватает. Вот и придумал ветрячок. На крыше крылья водрузил, к жерновам передачу верёвочную протянул. Примитивно, да лиха беда начало... С килограмм зерна смолот, милиционер тут как тут:

— Складывай крылья, иначе штраф триста рублей!

— Нда-с,— крикнул Володя.

И каждый из нас, наверно, подумал: тогда бы косилочки-то, а не штраф. Хотя и сейчас не поздно...

А Володя уже зовёт, на солнышко показывает: уйдёт.

Встали под яблоню. Глухов Базлееву яблоко протягивает, а тот уже напрыгся, серьёзен, не до яблока. Так и вышли, как в столбняке.

...Сейчас снова смотрю на их фото. И снова слышу ответ на свой последний вопрос:

— Что, по-вашему, главное в жизни?

— Как что? — сразу встрепенулся Базлеев.— Люби семью, отца, мать...

— Родину-мать,— добавил Глухов.

— Всё и будет, как надо,— закончил Базлеев.

— Да,— сказал Глухов.

ДЕВЯТИЛОВ, ВПЕРЁД!



Девятилов Николай Николаевич

Николай Александрович Каберов, работник междуреченской газеты, рассказывает: «Первый раз я попал в колхоз «Память Ленина» давно, по случаю какого-то собрания. Мороз — брёвна трещат. Люди сидят, ёжятся, дышат в воротники, валенком о валенок поколачивают. Мне со сцены всё видно. Вдруг заходит мужичок, осанистый, сел в первый ряд и ноги вытянул. Собрание идёт, мужичок сидит. Я еле карандаш держу, ног совсем не чувствую, а он в резиновых сапогах — и хоть что! Наклонился к предрику, киваю: «Он что, совсем не мёрзнет?» Тот усмехнулся: «Со всем. Давно уж. Молчи!» И тут я начал догадываться...»

О войне Колька Десятлов услышал, когда к покосникам в урочище Княгинино нарочный прибежал, чтобы вручить повестки Алексею Монзикову и Василию Логинову. Заспешили домой. По воде долго — двадцать вёрст. Рванули прямо, через болото. Тут всего семь.

Дома проводы. Бабы плачут, гармони рыдают, пароход гудит: «Жду-у!» Колька тоже гармони схватил, понизовскую наяривает, запекает, ребята подхватывают:

*Наденем серые котомочки,
Пойдём из деревень.*

Весь колхоз валит к пристани. Богатый был колхоз. До трёх килограммов хлеба на трудодень приходилось, не говоря об овощах. А ещё только жить начали сообща-то. С тридцать второго года. У отца Десятлова была до колхоза одна лошадь, одна корова, ну, сбруя, плуг — бедновато. А тут, в колхозе, — и богаче, и веселей.

...И пошли мужики на войну! Только из Малой Ихалицы двадцать человек друг за другом. Навсегда ушли Емелины, Морозенковы, четверо Приёмшевых, четверо Логиновых... Шестнадцать из двадцати...

А Колька в октябре отправился рыть окопы. Через сорок два года Н. Н. Десятлов снова побывает в этих местах, в санатории «Новый источник». Потешит свой остеохондроз, начинавшийся, может быть, в здешних непригодившихся окопах.

К Девятиловым ведёт меня Пётр Носков, приятель Девятиловых-младших, по-сыновьи уважающий старшего. Лидии Николаевны, хозяйки, дома нет. Николай Николаевич сумерничает один.

— Николай Николаевич, чаем напоишь? — задорно кричит Пётр.

— Напою. Да ведь не станешь пить-то.

— Стану!

— Чай-то?

И оба хохочут. Хозяин с дивана видит в зеркале, что у Петра за спиной ещё кто-то стоит, и Пётр просто выигрывает время. Приходится мне раскрыть карты. Тщетно. Разговорить Девятилова не удаётся. На гармошке? Да, пиликал. Частушек не помнит, драк — не было, работали — много.

Пришла хозяйка.

— Лидия Николаевна, а как вы познакомились?

— Тридцать седьмой год живём, дак... познакомились.

Смех и грех!

И вдруг добавляет:

— Теперь бы ни за что не полюбила.

По голосу слышу, что лукавит. Вот оно! Заговорила душа! И выяснилось, наконец, что и любовь была у колхозного конюха и молоденькой лаборантки с Кожуховского маслозавода, и скамейка под берёзой на сухонском берегу, и гармонь пела, и частушки сыпались, и дети в свой срок рождались.

Старший, Александр, — известный мелиоратор, живёт теперь в Литеге Сокольского района. Коммунист.

— Мы его в своём колхозе в партию принимали, — говорит Николай Николаевич.

— А какие вопросы задавали? — хочу я узнать, о чём спрашивал отец сына.

— Чего много спрашивать-то? Так видно. Он из армии кандидатом пришёл.

— Вот как? Понятно.

Валентин, второй сын, тоже в совхозе, механизатор, а дочери Галина и Людмила поблизости, в Шуйском, живут. Семь внуков у Девятиловых-старших.

Но годы идут. И силы тают. Девятиловы просят у райисполкома благоустроенную квартиру. Дрова, вода, баня — всё это уже не просто. Вот и отгадка настороженности к новому человеку: не по их ли заботам пришёл? Нам ведь часто кажется, что всем есть дело до наших нужд.

И верно. Заместитель председателя райисполкома Г. В. Рогозин сказал мне, что райисполком озабочен положением Девятиловых и к сорокалетию Победы их проблемы непременно разрешит.

Я сказал им об этом, разумеется, с позволения Геннадия Васильевича. Партийный призыв «Никто не забыт, ничто не забыто» должен воплощаться в жизнь в любом случае.

— Осенью пятьдесят третьего года требуют вдруг в военкомат повесткой форменной, — продолжает рассказ Николай Николаевич. — Ну, сел я на белого коня, оглянулся. Лужи блестят, домашние стоят машут, кто-то фотоаппаратом щёлкнул. Видишь, какой генерал? — тычет он в фотокарточку. — Дорога — не ближний свет. По хлябям по кожуховским.

Зачем зовут? Ругать — снят с учёта, хвалить — за что? Еду-еду, не свищу, думаю. Раз зовут, значит, что-то такое было. Что? Призван 12 августа 1942 года. Военную науку прошёл в Красных казармах в Вологде.

Младший сержант. На «практику» попал под Калинин. Везли долго. Явились — его уж берут. Чуть не опоздали.

Потом автоматчик второй роты 91-й стрелковой дивизии. Бой за Чернушки. Матросов амбразуру собой закрыл, а мне и делать ничего особенного не надо было. Лежал, бежал, стрелял, как все. О Саше мы после узнали.

...Вот еду, живой на живом, на ёлочки смотрю, что в прошлом — помню, что в будущем — не ведаю. А у него, у Матросова? Ничего уже нет и не будет? Но ни одного человека в стране не найти, кто бы не знал о нём. Значит, живёт он? В нас? И совесть тревожит: а я бы смог?

Понимаешь, бывают такие моменты... Хуже всего, когда от тебя ничего не зависит. Сидел у связи. В мае это было. Телефон у комбата. Налёт. Пятых — насмерть, четверых достали. Меня два месяца лечили, а и до сих пор недослышу. Или вот у деревни Тараканово. Только бы воевать, а она в ногу — тюк! Опять неделю хромай!

Ещё чище — под Холмом. За «языком» на Октябрьские ходил. Взяли. Возвращаемся перед светом. А она, дура усатая, того и ждёт. Двое убиты, один ранен. Всем — ордена, мне — Красной Звезды. За что вот награды дают?

Так и воюю. Опять февраль. Высотка. Не помню названия. Мы из лесу выступили. До неё — метров четыреста, перед ней — речка. Я уже ординарцем у комроты капитана Догадина. Хороший мужик! Никогда не ругивался, всё хлопцами звал... Хлопцы легли. Снег сырой. Пули норы роют. Иной вздрогнет — и уронит лицо. Поднимать ребят надо. Молодые все хлопцы. Да и я не старик — двадцатый год. Только и разницы, что всяким оружием мечен.

Вижу, капитан приподнимается и на меня глядит: «Девятилов, вперёд!» — одному мне слышно.

— Страшно было? — не вытерпел я.

— Неловко как-то. Сначала. А потом — человек я! Человек! Я могу! Презираю! Бегу, кричу. Ребята рядом. И вдруг! Ноги отстали. Лечу...

Домой вернулся из Азии, из Семипалатинска. Всё ещё двадцати нет. Ну, делать нечего. Снова надо плясать учиться...

— А ходить-то умел?

— Немного. Поневоле пойдёшь, когда плясать охота. Что в голове-то? У тебя чего было в двадцать годов?

Я вспоминаю. Верно, надо плясать!

— Куда инвалиду? Прямой путь — в сапожники, — продолжает Деятелилов. — Мастерская была в Ихалице. Два года работал. Мастером стал. Но ликвидировали мастерскую. Стал конюхом. До двадцати лошадей бывало на конюшне. А летом все работы делал.

— А что нравилось?

— На косилке на конной. Здорово! Плывёшь по наволоку — все зори кнутом ошибёшь. Пароходы идут — палуба выше берегов. «Леваневский» завидит: «у-у-у!» — говорит. Узнаёт, приятель. На войну меня увозил. И место моё вон, у трубы...

В шестьдесят пятом, в июне, приехал ко мне Беляков, председатель. Знаю, зачем, молчу. У меня уж дышло на дуге, лошади на ночь навязаны, всё проверено, смазано, ножи выточены. Всё равно на косилке, кроме меня, некому. Народ-то уж начал хорошо убывать...

— Деятелилов!

Всё обговорено раньше, но он из комиссаров, до всего ему есть дело и время.

— А?

— Завтра начинаем. Лошадей — любых, точило крутить пацаны будут, ляг пораньше — и вперёд!

— Ну, а ты? — спрашиваю я.

— Понимаешь, бывают такие моменты... Встал пораньше — и вперёд! Сто пятьдесят гектаров скосил на силос и на сено. Опять орден дали, «Знак Почёта», в следующем году.

...Да, человек без обеих ног, на протезах, сделал то, что посильно далеко не каждому здоровому. Геройски воевал, чтобы геройски работать.

И совсем не случайно, что Деятелилов был участником одной из первых конференций сторонников мира в нашей области.

Николай Николаевич, а в военкомат-то ты доехал в пятьдесят третьем году?

— Как же, как же. На белом коне. «Награда нашла героя»,— написали потом в газете. Орден Славы 3-й степени. Мне на фронте ещё говорили, что представлен, да до того ли было? Это за ту высотку, до которой не добежал. Не помню названия, но была...

Он стискивает зубы.

И я воочию вижу, как правильно живёт этот человек, с боевой юности мысленно повторяя тихий приказ комроты, давно ставший его внутренней сутью: «Девятилов, вперёд!»

И он идёт.

ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ... НА СЕБЯ...

*Штрихи к портрету ветерана войны и труда
Валерия Фёдоровича Лукичёва*



Лукичёв Валерий Фёдорович.
Таким прибыл на фронт

Ему было 18 лет, когда 10 ноября на город Фастов двинулась лавина немецких танков, а он, Валера Лукичёв, корректировал с НП стрельбу нашей артиллерии.

Ему было приказано держать связь во что бы то ни стало.

В самый критический момент боя к Лукичёву прибежал комсорг полка И. Слабинюк. Он, передав данные для огня РС, закричал в трубку:

— Вызываем огонь на себя! Дайте огня! Огня дайте!

Огня дали не скупю.

Свой пост Валерий Лукичёв не покинул до конца сражения. Атака танков была отбита...

За этот бой он был представлен к ордену Боевого Красного Знамени, а комсорг полка получил звание Героя Советского Союза.

Через день или два Лукичѳ побывал на этом поле. Даже побродил среди подбитых танков. Их было уничтожено 19.

«На душе было жутче, чем в том бою»,— пишет Валерий Фѳedorович.

Уму непостижимо, как и выжил восемнадцатилетний солдатик.

«Валерьюшка, тебя спасли мои слезы и Бог!» — ответила мать на его письмо.

...В этом году ему справили восьмидесятилетие, а он продолжает идти по жизни прямо, гордо и скромно.

А сколько всего он успел сделать доброго для нас, современников! Да и для наших потомков.

Он автор многих книг: «О рыбаке и рыбке» (1991 г.), «Житники. Бухтины деда Никанора» (1997 г.), «В журавлином краю» и «Родовое древо» (2004 г.), «Вологжане гвардейцы-зенитчики 286 гвардейского...» (2002 г.)

Вот такое у него разнообразное творчество. Кроме того, он снимал фильмы о пребывании космонавтов в Северодвинске, Минске и Вологде. За 22 года опубликовал более 300 газетных материалов.

Не только для каждого дома, для каждого человека в его родных деревнях нашлось у него доброе слово, но и для поля, речки, поскотины, школы и мельницы — тоже. Он мастерски владеет подлинно литературным народным словом.

Последняя на сегодня книжка Валерия Фѳedorовича — «Жизнь природы. Мои наблюдения».

Она красиво издана и снабжена прекрасными иллюстрациями.

«Книга будет поддержкой и для учителей по естественным предметам для занятий по зоологии, краеведению, экологии, природе родного края...» — так пишет о книге Н. Власова, методист кафедры естественно-научного образования ВИРО.

Вот так и живѳет ветеран войны и труда Валерий Фѳedorович Лукичѳ. Изю дня в день. Из года в год.

К его юбилею я написал такие слова, посвящѳенные ему и его сверстникам:

*Никогда ничего не просили.
Божий мир беззаветно любя,
За родню, за народ, за Россию
Вызывали огонь на себя!*

*Если снова сыграют тревогу,
Встанем все, не жалея колен.
Но сдадимся лишь Господу Богу
В ожидаемый сладостный плен!..*

На девятом десятке лет Валерий Федорович Лукичёв при поддержке специалистов областного Государственного архива активно работает над темой «Природа в выразительных средствах языка».

Дай Бог ему здоровья и сил!

СОЛДАТСКИЙ РАССКАЗ

*Рассказ Дмитрия Александровича Попова был записан
Мануилом Алексеевичем Свистуновым*

*в конце восьмидесятых годов прошлого века во время подворного обхода
жителей Ботановского сельсовета Междуреченского района*

Отец мой — Попов Александр Владимирович, 1894 года рождения, прожил всего сорок лет. Участник первой мировой войны. Еле тёплый домой пришёл. Он был печник. Не успеет домой прийти — сразу и едут за ним. Печи мог класть всякие. В нашей деревне Кисляково было семь печников. Поразному у них жизнь сложилась. Орлов Павел Феофанович — работал день и ночь — окулачили. «Но, Пашуха-й, ты и спать не даёшь», — бывало, говаривала ему жена. А сама она и пахала, и крышу крыла, и тёс пилила. Окулачили и дом увезли.

А мама, Анна Дмитриевна, родом из Наместова, в два раза дольше отца жила, умерла на восьмидесятом году.

В школу ходил в Гузарёво. Кончил три класса. Пошёл в пастухи. Работал в колхозе. В армию призван в августе 1942 года. Воевал на Калининском, Центральном фронтах, был на Керченском полуострове, в Белоруссии, закончил войну в Восточной Пруссии. Победу встретил в госпитале. Выписали 10 мая 1945 года. Три раза ранен.

Жить неохота. Я даже никому не верю, что жить охота. (Дмитрий Александрович тяжело дышит, хрипит, раскидывая снег, и хотя живёт в Игумнице-ве, в благоустроенной квартире, чувствуется, что жизнь хотелось бы прожить иначе, да уж ничего не сделаешь...)

Первый раз ранен в 1943 году на Центральном фронте, в Смоленской области. Пошли в атаку. После Курской победы. Пулей, из пулемёта, из блиндажа. У меня в руках винтовка. Автомат получил в 1944 году. Лежал долго. Не вставал. В Ессентуках.

Второй раз ранен в Керчи, 21 января 1944 года. Тоже с винтовкой был. Тоже пулей. Как деревенская драка. Целое утро то они нас, то мы их гоним. Немец гранатой закатил чуть не в лицо. Ладно, не взорвалась. Утром выпал

снег. Немцы надели маскхалаты. А у нас не было. Подползли они близко. Уж если гранатой докинул дак...

Однажды помкомвзвода в затишье говорит:

— Попов, расскажи, как в Вологодской области гуляют?

А я чего-то вышел, вернулся — прямое попадание в блиндаж... Война, смотри, интересная штука. Привыкнешь — определяешь, что летит — снаряд или мина и где упадёт.

Третий раз попало в Восточной Пруссии. Тут осколком. Я был полковым автоматчиком. Сказали, что штаб в селе, а оно не освобождено. Заехали, а там фрицы. Мы рассовались кто куда. Фауст-патрон взорвался, одного убило, меня ранило. Тонкая, как от ведра, железка.

— В госпиталь не поеду, — говорю. Майор заорал:

— Ты воевать не хочешь!

А мне свою роту жалко. Полтора месяца лежал, с 25 марта по 10 мая срок пятого года. Вот те и лёгонькое ранение! Не зря, видно, майор орал.

После госпиталя попал в сапёрный батальон своей же дивизии. «Вот, — думаю, — где подорвусь!». Собирали снаряды, мины, отвозили, взрывали. С миноискателем ходили и так, без него. Всё обезвредить надо. До августа с минами занимался. В августе перевели из Кенигсберга в Казань. Комдив татарин был.

Стали делать квартиры начальству. Там мин не было. Дрова дорогие были. Мы их заготовляли. Мост через Казанку строили. Дубы могучие. Поперёшки (пилы) не хватало. Друг Коля Гаврилов сагитировал съездить к нему в Любань. В Москве поймали: в авиацию сунули... Два лишних года служил. В роте охраны самолётов. Пришёл домой — погоня с птичками. Кормили хорошо. Пшённой каши не хотели. Особенно в авиашколе!

А дома — нет и мороженой картошки. Это был март 1948 года. У матери не было даже куриц. В МТС один год работал — на тракторную бригаду учётчик-заправщик. Потом заболели глаза. Не разрешили работать с бензином. Был бригадиром, заведовал отделением. Выгонят да снова поставят. Сто десять рублей получал. Заканчивал пастухом. Один год сделали зарплату с выработки — по 180 рублей на месяц получил. Много показалось. Опять на оклад посадили.

А хорошо работать и до войны умели. Огородником колхоза в ту пору был Костя Зобин. Турнепс рос такой, что двух турнепсин не унести. Нечего зря и вытаскивать. Огурцы росли в открытом поле. Пахали грядками...

Хороший был в «Красном побережье» председатель Николай Дмитриевич Волков. Залезет на скирду и не даёт передышки. Не завалить его никак.

И хлеба давал, и навоз возили куда надо... Хозяйственный председатель был Дмитрий Александрович Макаров, копейку берёт. А теперь кто повезёт навоз в Гузарёво да Барское?.. Сизов был — да, толковый. А Лазурину всё ладно было. Один раз догнал, поговорил и развернулся по овсу (на машине). Какой директор!..

Затеяли перестройку вот, а не всё и построено. Другой раз и глаза бы не смотрели на такие дела...

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА!

— Сергей Андреевич! Заходи чай пить,— кричу я из открытого окна лет восемь назад, и он неспешно широкими шагами идёт от телятника. Вот останавливается, поворачивается, думает.

— Некогда! — и спокойно идёт дальше. Всю жизнь я его видел только в работе.

— А давно ли ты без выходных?

— Семь!

— Чего?

— Годов!

— А без отпуска?

— А столько же.

Какой-то весёлый бес щекотит мои нервы, я тоже без выходных и отпусков занимаюсь невидимой для других работой и не знаю, будет ли от неё прок, а он пашет, косит, строит, поит, кормит — живёт. Это его право. Отнять это право — отнять жизнь.

Это право он защищал так, что трижды (обратите внимание на сроки) — 15 октября, 25 октября, 1 ноября — всё в 1944 году — получал благодарности от Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. А позже были благодарности от маршала Гречко.

Шестнадцать лет Сергей Андреевич Бочёнков начал работать в колхозе «Доброволец» Гузарёвского сельсовета, с началом войны строил аэродром, рыл окопы, а 17 сентября 1942 года вместе с Иннокентием Петуховым ушёл в десантники в морскую пехоту.

Полуостров Рыбачий простреливался немцами насквозь, их самолёты гонялись даже за одиночными солдатами. Сергей служил в первом батальоне 12-й бригады морской пехоты. На вооружении были 82-миллиметровые миномёты, станковые и ручные пулемёты, противотанковые ружья, автоматы

и винтовки. И вот Печенга. Морской десант с полуострова на побережье. 10 октября 1944 года. Весь батальон — по 24 человека на катер «Морской охотник» — и сквозь пули, разрывы, огонь и дым — на материк, на берег, занять плацдарм. Быстрота, натиск, маневренность. Два трапа в воду и по 12 человек с оружием бегом — и в бой! Первые — автоматчики. Скалы, верёвки, расщелины, грудь на грудь, огонь в упор. Нужна поддержка. Миномётчики ставят свои «самовары», на попечении Сергея — ствол, лафет и плита. «Огонь!» — и заквакали вверх, на скалы, в траншеи. Наводчик у него — Белобородов, третий номер — Фурцев. Оба много старше.

«Давай, — кричит командир взвода лейтенант Лазарев. — У меня дядя — адмирал!» Эту шутку все знали, а помогала и тут.

«Давай!»... Снаряд прилетел не вовремя. Белобородова — насмерть, Фурцев — ранен, Сергея опрокинуло, засыпало землёй, камнем, мохом...

— Очнулся я быстро, часа через три-четыре...

— Ничего себе быстро, — подсмеивается жена Нина Александровна.

— Так говорили, конечно, сам не помню. А ни к каким медикам и не ходил.

Всю ночь шли до Печенги. Два домика было и часовенка с колокольней. Колокол низко висел. Можно было прочесть, что отлит в 1905 году. И язык висел. Но они не звонили.

Через сутки десант на Линахамари. Днём. Всё горит: склады, причалы. Прыгали на горящие доски и бежали по ним. Немцы взорвали многое: орудия, пороховой склад, а продовольственный не успели, хоть и был заминирован. Полгода вся бригада питалась, ещё бы: склад — 250 метров длиной. Чего там только не было: сухая картошка, сухое молоко, концентраты, яичный порошок...

Наши потери — 37 убитых, немцев — 67 похоронено. Затем — десант на Киркинес. Это уже Норвегия. Авиация поработала так, что десантникам сопротивления, можно сказать, не было. Были там шесть дней. Почему не дали Норвегию пройти, — и по сей день не знаю. Три бригады были готовы. Две, кроме нашей, сразу же перебросили на другие участки.

Так кончились для Сергея бои. А служба на Рыбачьем продолжалась. Не одну строительную профессию освоил он за это время. Потом, в мирные дни, пригодилось.

За плуг взялся в мае 1947 года, потом на косилку сел, потом рожь жал, потом...

Как-то посеяли вручную 60 гектаров, а заборонить трактора нет и нет. Председатель колхоза Александр Феофанович и не просит вроде, а:

— Надо бы, Сергей, как-то...

— Ладно, на паре сцепкой попробую.

«Попробовал» за три дня.

Рожь, бывало, на семена приходилось об овинники выхлѣстывать. Смешно? Смешно-то смешно, а лучшее зерно в землю-то попадало. Ну и рожь тогда narосла! По полтора килограмма на трудодень присчиталось.

Наверное, в том же сорок седьмом получил мобзадание: заготовить 150 кубометров леса. Сделал. Как коммунист взял обязательство еще 150 кубометров. Сделал и это. А всего 362 кубометра. Лучковкой. А потом... Шесть коровников и телятников с бригадой построил, зерносклад, пять жилых домов, тѣс пилил, дранку драл, девять лет коров пас, за телятами ходил.

Я перебираю документы, Нина Александровна достаёт из шкафа «парадный» пиджак. На нём семь медалей, орден Отечественной войны второй степени, нагрудные знаки.

Сергей Андреевич что-то перебирает в памяти.

— Рыбачий — это ключ к Мурманску, это такое место, откуда отступить нельзя.

— Вот, вот,— подхватывает Нина Александровна,— с этого бы и начинал.

А я думаю, что и закончить этим неплохо: настоящий человек всегда занимает в жизни такое место, с которого отступить некуда!

ЛЕГЕНДА О ЧЁРНОМ ШИНГОРЕ

Димитрий Прилуцкий на Междуречье

В «Историко-статистическом описании церкви Святого Димитрия, что на Чёрном Шингоре», составленном в 1853 г. благочинным Алвистом Светлосановым, говорится: «О причине построения сей церкви есть устное предание, что преподобный Димитрий Прилуцкий, по пришествии своём из Переяслава в пределы Вологды, приходил сюда и намеревался устроить храм, но был прогнан местными жителями. И по преставлении преподобного, по прошествии довольно длительного времени, местные жители, жалея о поступке предков своих, построили деревянный храм во имя преподобного Димитрия. А между тем имели благоговейное почтение к камню, на котором будто бы преподобный Димитрий во время своего прихода сидел. Онъй камень находился на кладбище и при построении каменной церкви вложен в стену под колокольню, по левую сторону входа в церковь, где и ныне виден. Но никаких особенных признаков на нём не находится».

На Чёрный Шингорь преподобный Димитрий приходил после ухода из основанного им Воскресенского Великореченского монастыря в 1371 г. Не найдя взаимопонимания с местным населением на реке Великой, он через

короткое время обнаружил, что и в глубь Авнеги его стремление не будет более благоприятным, и решительно повернул на Вологду, просвещаемую христианским учением уже более двух веков.

Место Димитрием было выбрано прекрасное: высокий сухой правый берег Чёрного Шингоря в обрамлении полукольца мощного сосняка. Находится это место в Авнеге — одной из волостей бывшего Грязовецкого уезда, а ещё раньше — бывшего Авнегского княжества. Авнега в примерном переводе с финно-угорского наречия означает «отдалённая (отделённая) вода». Это, кстати, нашло отражение и в нынешнем названии района — Междуреченский.

По здешним местам протекает три Шингоря — Красный, Белый и Чёрный, различаются они по цвету воды, соответственно названиям. Все они имеют истоки у основания Святой горы.

Сколько времени пробыл Димитрий на Чёрном Шингоре и почему оттуда ушёл, можно только догадываться. Основанием для предположений служат сведения из его «Жития», об уходе преподобного с реки Великой.

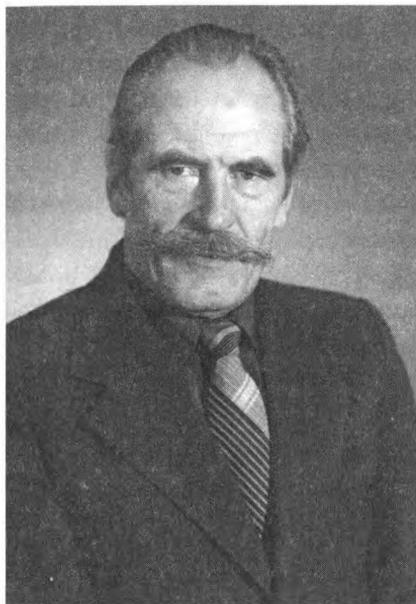
Крестьяне окрестных селений опасались, что «сеё великий старец и, близ нас жити будет и по мале времени овладеет нами и сёлы нашими» и потребовали, чтобы он удалился, заявив ему, как сказано в «Житии»: «Отче, неудобно есть нам твоё зде пребывание». Эти выражения и стали для официальных историков основой для версии (скорее, бесспорного положения), о «классовой» борьбе крестьян с духовенством в нашей местности. Но, во-первых, с полным ли основанием можно называть местных жителей крестьянами (т. е. христианами)? Наверное, только условно, имея в виду их языческое мировоззрение и хозяйственную «промышленность» — охоту, рыболовство и собирательство. Христиане сочли бы за честь и счастье принять у себя подвижников православия, что и сделали в скором времени вологодцы.

Во-вторых, согласно рукописи неизвестного автора «Слава о явлении мощей Григория и Кассиана на Авнезе...», составленной на основании местных сказаний о деяниях авнежских чудотворцев Григория и Кассиана, нравы обитателей древнерусского Севера не отличались стройностью, строгостью и соборностью: «А благочестием и учением здешняя страна не просвещена, а злобою и завистью, и прелестию помрачнена...»

То есть несовместимость духовного облика преподобного с местной традицией и его отторжение лежали не столько в среде экономических интересов, но в более глубокой, мировоззренческой, духовной — в несовместимости язычества и православия. Конечно же, опытному взгляду Димитрия достаточно было очень непродолжительного общения, чтобы увидеть временную бесперспективность своей миссии на Чёрном Шингоре и в Авнеге вообще. Так что его пребывание здесь могло ограничиться несколькими часами или сутками, не более.

Попутно можно заметить и следующее: исследователи, сосредоточившись на требованиях местных жителей Димитрию удалиться из их пределов, не обращают внимания на то, кто были эти люди. В «Житии» говорится, что они пришли «от прилежащие тамо веси, авнега зовомые». Я завидую тем, кто может убедительно объяснить, что такое «весь» в этом контексте: народ, деревня? Что такое «авенга»: местность, одно из племен веси? Я этих ответов не знаю. Каменная же церковь, дожившая до 60-х годов нашего века, одноэтажная, холодная, в одной связи с тёплой церковью и колокольнею, построена в 1790 г. Гибельные времена церковь Димитрия Прилуцкого переживала со всем православием. После 1939 г. в ней размещалась мастерская по изготовлению валяной обуви, с 50-х годов — ремонтная мастерская, а в 70-е её разобрали на кирпич для хозяйственных нужд совхоза. Кладка церкви была прочная, большое количество битого кирпича и целые глыбы его и сейчас валяются на церковной территории и на кладбище в густых зарослях молодых тополей. Где-то находится и тот без «особенных признаков» камень, на котором будто бы сидел преподобный Димитрий.

НЕЗАБУДКИ НА МОГИЛУ



Смирнов Николай Сергеевич

Плохо мы знаем своих земляков. Вот и у меня при описании деревни Гаврилицево роду Смирнова Николая Сергеевича посвящено всего семь строчек. Теперь уж хоть после смерти его кулаками помахать. Он родился в 1926 году в крестьянской семье. Отец Сергей Ксенофонтович воевал под Сталинградом и после госпиталя направлен на Обуховский завод в Ленинграде да и похоронен уже в 1945 году на Обуховском же кладбище.

А сам Николай взят в армию 6 ноября 1943 года, за 23 дня до семнадцатилетия, потому и прошел по учёту как доброволец. Служил на Сахалине и вернулся через семь лет. Работал в Старосельской МТС и по её направлению окончил курсы радиостов в Великом Устюге.

Своим чередом складывалась семейная жизнь. 7 февраля 1953 года состоялось её важнейшее событие — свадьба. Жена Галина Ивановна работала вместе с мужем.

Надо сказать, что МТС занимала здание порушенной двухэтажной церкви Ильи Пророка. О древности этой церкви упоминается в описании явления мощей Григория и Кассиана Авнежских.

«Когда в сновидении означенному человеку именем Феодору явился муж средним возрастом, широко имея бороду, священническая белая риза носяй, глагола ему: Феодоре, иди... ко игумену Михаилу и приставнику Благоверного Князя Симеона Иоанну по реклому рыло (т. е. по прозвищу Ваня Рыло), и третью неделю иди к церкви Святого Пророка Ильи»...

Гробы с мощами Григория и Кассиана были обнаружены в 1524 году после пребывания под спудом около полутора сотен лет. То есть церковь Ильи Пророка значительно старше этой даты.

В описании церкви начала нашего века говорится: «Длина здания 18 сажен, иконы большею частью греческого письма. Ризница стоит 130 рублей. Серебра в сосудах, крестах и дарохранительнице 10 фунтов 56 золотников. Колоколов — девять: пять зазвонных, а самый большой — 181 пуд 32 фунта.

Но к пятидесятым годам ничего этого уже не было. Сохранялась лишь роспись.

Отступление первое.

Сидели как-то женщины в бухгалтерии МТС перед вечером. Вдруг Галина как встрепенётся: «Господи, у меня ведь кладовая не закрыта!» Да бегом! Заперла и слышит: вот как в алтаре женщина плачет! Женщина? В алтаре?! И плачет-то горько так!

А в алтаре тогда такие работы делали: ковали, клепали, лудили, паяли, вытачивали. Какая там женщина?! А эта всё плачет неутешно... Галина — туда, а там — замок на дверях! Мороз по коже, волосы дыбом, опрометью — вон!

— Куда сломя голову? — воскликнул встречный.

— Полено под ногу на лесенке попало! — сообразила ответ.

И уж потом в келейке бывшей монашке всё и рассказала.

— Это Богородица плачет — сокрушается за грехи наши тяжкие! Да не говори никому: только на смех подымут!

Галина и молчала, и мужу рассказала через много лет, когда сама к вере пришла...

После некоторых метаний Николай Сергеевич закончил очно Воркутинский горный техникум в 1957 году и был направлен диспетчером на 18-ю шахту. А Галина от техникума (работала в бухгалтерии) уже получила квартиру.

Николая же так захватило горное дело, что в 1962 году закончил Ленинградский горный институт и стал работать в Печорском НИИ в лаборатории Умнова. А тот в соответствии с фамилией и посоветовал: «Иди на шахту! Расти!». И пошёл Николай на самый сложный участок, на дегазацию. Были кой-какие идеи, и вместе с главным инженером шахты Бессоновым стали готовить диссертацию под руководством профессора Г. А. Айруни. Начало семидесятых было радостным для четы Смирновых. Дважды он получал премии как автор разработки вопросов теории дегазации пластов средней и малой мощности.

Тогда, к сожалению, случилась на шахте крупная авария с человеческими жертвами, и вопросы дегазации и вентиляции зазвучали особенно остро. Им была посвящена кандидатская диссертация Николая Смирнова, успешно защищённая 9 июня 1971 года.

С 1977 года он уже работал директором Воркутинского филиала Ленинградского горного института, получил учёное звание доцента по кафедре горного дела, опубликовал более двадцати трудов по проблемам строительства и эксплуатации угледобывающих предприятий Воркутинского месторождения. Он открыл УВП института в Инте, при нём почти удвоилось число студентов института, которое составило 1370 человек.

Отступление второе.

Вот что вспоминает Леонид Лукич Сорока. В 1950 году он окончил семь классов в Чернигове. Тогда же был объявлен сталинский призыв на освоение Севера. Старшая сестра, возвращаясь из отпуска, взяла Леонида с собой в Воркуту. Там он поступил в горный техникум. А поступить было нелегко, так как вне конкурса брали двадцать пять демобилизованных, двадцать пять коми, а остальным — конкурс 1:10. Старостой группы у Леонида оказался Николай Смирнов, и он был трудолюбив, настойчив, учился на пятёрки. Группу держал, по словам Леонида, в узде, к каждому относился как старший брат. Они и дальше встречались, работая близ друг друга. Николай на производстве и в институте всегда думал о том, как улучшить работу.

А что такое Воркута прошедших десятилетий?

По мнению Л. Л. Сороки, это был во многом образцовый город. По улицам ходить было безопасно что днём, что ночью. Получку в общежитиях не прятали, до Горбачёва люди в Воркуте двери вообще не запирали. А ведь работали и с заключёнными.

Кстати, Л. Л. Сорока знает только два случая невинно осуждённых. Один — за то, что служил полицаем. Но юные следопыты нашли документ о направлении его в полицаи командованием партизанского отряда. Второй случай касается комбата, расстрелявшего паникёра в бою. Оба эти человека были реабилитированы.

А у заключённых при выполнении норм условия содержания были вполне приличными, а уж если достигал 110 процентов выработки — полагался так называемый «пятый котёл», который включал в себя элементарный набор продуктов по потребности, а также ежедневно масло и кофе. Зарплата работавших заключённых делилась на три части: треть — лагерю, треть — на содержание, треть — на личный счёт.

Л. Л. Сорока стал одним из крупных руководителей и встречал в Воркуте явление Ельцина («Вот как с тобой стоял!»)

— Сколько вы получаете? — спросил толпу Е. Б. Н.

— Восемьсот! — прокричали почти все.

— Да я бы за такие деньги и робу не надел! — скривился вождь.

И понеслось вразнос...

А когда шахтёры дубасили касками по московской брусчатке, Леонид Лукич, проходя, усмехнулся:

— Вам бы не касками, головами стучать-то...

Смутились многие, узнавая его.

Мы ограничимся двумя отступлениями в рассказе о нашем земляке, теми, которые могли бы, по мнению его родных и друзей, быть сделаны им самим. О самом же Николае Сергеевиче Смирнове скажем ещё следующее.

Он был награждён орденами шахтёрской славы всех трёх степеней, орденом Отечественной войны, удостоен звания «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР». Но к наградам относился весьма кисло и не стремился к ним. Медаль же в честь 55-летия Победы вообще отказался получать: «Я советский гражданин!»

...Согласитесь, коротка человеческая жизнь, чтобы успеть стать совершенным. Но он шёл по этому пути.

Примечание, приведённое редакцией районной газеты «Междуречье» при первой публикации очерка.

Галина Ивановна Смирнова посвятила покойному супругу стихи и просила опубликовать их. Пусть эти строки будут и нашей данью уважения.

*Проходят дни. Мелькают числа.
И ты давно уже иной.
И чем возвышеннее мысли,
Тем ниже небо надо мной.
Живите с радостью, люди!
Но по ушедшему скорбя,
Букет июньских незабудок
Я не забуду для тебя!*

ПЛАЧ О ЧЁРНОМ ЛЕБЕДЕ (СНОВИДЬ)

К 20-летию со дня смерти Н. М. Рубцова

ЦВЕТЫ ПОД СНЕГОМ

Целый месяц я гонялся за сборником Николая Рубцова «Лирика» издательства «Современник». Говорили, что сборник мощно оформлен гравюрами Юрия Коннова.

И вот иду я, нерадостно возбуждённый, с книгой в руках наискосок через улицу Мира. От дверей магазина уже метров сто, и можно раскрыть добычу: мало ли где купил!

Сознание, раздражённое длительным унижением, с ходу отвергает гравюру на суперобложке: кудряво! Кудряво!

Пальцы быстро перебирают иллюстрации: не то, не то, а вот, кажется... да! Широко разгорается свет над Родиной, полной покоя, и в каждой, наверно, избе или во поле, как на этой гравюре, когда-то стояла или стоит женщина на последнем десятке лет со свечой в руках, и в сознании её теснятся образы — по одному, по двое, группами, простоволосые, в будённовках, в пилотках, строгие, весёлые навсегда... «Сиротский смысл семейных фотографий!»! Жестокий век!

Век невиданных свержений и свершений, научного дерзания и нравственной неосторожности, величия и низости духа, самоотвержения и эгоизма, ожиданий и невстреч, стремлений — и пут. Жестокий век!

Но и люди добры же!

Мы встретились с Павлом Бурлаковым, другом детства, и вспомнили, как хоронили убитого не нами стрижа, копали ямку, выстилали лопухом, строга

крест, и он даже за руку меня взял, рассматривая сохранившийся шрам от садового ножика.

А на экране в это время показали территорию в дельте Амазонки, где американцы разом отравили два индейских племени — 7000 человек...

Ничего, не всплакнули.

Человек не слышит звуков определенной частоты, высоких или низких, он равно слепнет от тьмы и яркого света. Он рождён жить в определённом биологическом «коридоре». И порог боли существует для него только «коридорный», человеческий, не выше и не ниже. Соответствующий. Человеку невозможно ощутить мыслимое, но выходящее за грани чувства.

*И какое может быть крушение,
Если столько в поезде народу?*

Я с новым настроением перебираю гравюры. И досада опять глухо вползает в душу. «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны»...

Не ведомый отрок, а легковесный пижон в петровской позе на недвижимом в скаке коне висит над домами. Нет и намёка на «мелькнувшую лёгкую тень».

Я иду, бормочу, мне уступают дорогу, но кто-то справа вроде заглядывает через плечо. Не жалко, смотри. Тяжёлые чушки судов-утигов, безжизненные ЛЭПы, приземистость тяжёлых сооружений, мрачное несовместие северных строений с небоскрёбами — как тут сказать: «Я был в лесу листом, я был в лесу дождём. Поверьте мне: я чист душою»? Как?

— Ну а чего бы ты хотел?

Вопрос по существу, как раз над ним я неотчётливо и думал, не придумал ничего определённого и ответил:

— Хотеть — значит мочь. Хотя бы в малой степени. А я не могу. И потому, наверно, только чувствую какое-то томление, «напряжение материи», так сказать.

— А ты со мной не темни, материалист, напряженец!

О, нахал! Да кто это так со мной разговаривает? Я с неприязнью поворачиваюсь к нечаянному спутнику: в глазах ершистый задор, на губах — улыбка, готовая и к безмолвному извинению, и к язвительной иронии.

Я в недоумении: никогда его не видал, но, несомненно, знаю, знаю по фотографиям и особенно по портрету работы Юрия Воронова, где Николай Михайлович изображён на фоне вологодского Кремля.

Но почему он такой молодой?! Ведь он же старше меня почти на два года.

И я пытаюсь (а он берёт в это время книгу из моих рук), пытаюсь дорисовать его сухое и крепкое лицо несколькими мазками морщин под глазами, чуть утяжелить нос, подбородок, утолстить щёки, сдунуть последние волосинки с головы. Фигура его становится пошире, поступь потяжелей,— и я усмехаюсь: под себя подогнал. Со стороны посмотреть — два отпышка идут! Славно!

— Чего лыбишься? Учти: это первая моя порядочно изданная книга. И Юрию Коннову спасибо.

Мне было бы неудобно возражать, а льстиво поддакивать не в моём характере, и некоторое время мы идём молча.

Поэзия едина во всём, а стихи и гравюра — лишь очень далёкие друг от друга формы её проявления.

— Но ваши стихи легки, подвижны, они живут, меняются. Я сомневаюсь, как можно выразить гравюрой... — И я процитировал стеснительно, скрывая эмоциональную окраску:

*И всей душой, которую не жаль
Всю потопить в таинственном и милом,
Овладевает светлая печаль,
Как лунный свет овладевает миром.*

— Прекрати, если хочешь со мной разговаривать. Я к тебе по-человечески, а ты — «выкаты»? Я с фининспекторами о поэзии не разговариваю.

Я иду не торопясь, мне легко от этого лая, но на вы, пожалуй, и в самом деле ни к чему.

— Ладно. А разве есть такая гравюра? — он потрепал страницы.

— Нет.

— И быть не может! — горячо вскрикнул он. — То, что может поэзия, не всегда может другой вид искусства.

— «В минуты музыки печальной...»

— Что? — насторожился он.

— «...Не говорите ни о чём»? — спросил я.

— Да! Одной музыке доступно всё. Всё, что только могу представить.

А гравюры ты не тронь.

Они глубоки, многоплановы, эмоциональны. И в каждой мысль. А последняя — смотри: цветы и книги — всё под снегом, и женщина уходит в сумерки. Она мирит меня с миром. Может, благодаря ей я относительно спокойно выслушиваю твои глупости? — готовый рассмеяться, он бодливо взглянул на меня. Почувствовав потепление, я возразил:

— Тяжеловаты. Ведь даже каменная или чугунная вязь могут производить впечатление кружева.

— А может, твоя вязь передать не впечатление, а ощущение опасности, тревоги, предостережь и призвать? А? — Он развернул ко мне книгу.— Смотри: над могилами предков, над всем живым — «они несут на флагах чёрный крест, они крестами небо закрестили»...

Я снова взглянул на гравюру. В ужасе ржёт молодая кобыла, спутались травы на кладбище под гнётом флагов с чёрными крестами, штыков и пик, орудийных и оружейных стволов. И мне стало очень неудобно, тревожно.

— Ну, тут согласен. Здорово тут.— Но сдаваться мне не хотелось.

— А ужасные ЛЭПы, бетон, причалы, призраки небоскрёбов — это к чему?

Рубцов неожиданно весело засмеялся.

— А что, оставить одну старушку с козой?

Вот вам Рубцов! Он пастух, сирота, беспризорник житейский и нравственный. Не слушайте его! Плюньте в его сторону! Так, что ли? Кому это выгодно? Кому нужна такая кротость? — он уже разъярился.

— Ну, ясно кому...

— Ясно ватт на сорок. «Россия во мгле» — этим выгодно! А нашим-то дуракам к чему изображать меня подпаском у Есенина?

— Наверно, чтоб самим выглядеть современными, модерновыми.

— Вот! А Юрий Коннов меня в современность втаскивает. Чтобы отшить тех, кто бьёт по рукам, чтобы я не лез в кузов прогресса.

Возможно, и так, подумал я, но и другое желание, наверно, присутствовало. Пусть неосознанное, но было. Хотя вряд ли не осознанное у художника такой философской силы. Ведь все мы стремимся подправить, «подредактировать» друг друга. И тратим на это всю жизнь. Только тут все наши величайшие победы и горькие поражения.

— А ты знаешь, что такое современность?

Ух ты, вопросец! Охвати в момент океан океанов! Наверно, на моём лице отразилось нечто туманное.

— Честь и правда! — строго сказал он.— Во все времена так бывало. На Марс перелетим — и там мерой всех мер будет только это. Символ моего детства — лошадь, символ зрелости — автомобиль. Вопрос: что более нравственно?

— А разве может быть такой вопрос?

— Хм. Всё, что попадает в руки человека, немедленно становится потенциалом нравственности. Так что я не знаю, что более достойно поэтизации. А для некоторых вопрос решён раз навсегда. Смотри! — он протянул книгу. Я стал читать: «Эх, коня да удаль азиата...», представляя Рубцова скачущим

на аргамаче вдоль Обводного канала в Ленинграде. С первых слов мной невольно овладело веселье, улыбка растянула рот, я не мог сдерживаться. И когда ещё раз вслух прочитал:

*Но должно быть, просто и без смеха
Ты мне скажешь: «Боже упаси!
Почему на лошади приехал?
Разве мало в городе такси?» —*

мы оба захохотали и над нелепицей картины, и над нелепицей человеческого сознания.

Хохочущие, мы разошлись, махнув друг другу. И с тех пор стали встречаться.

РУЧНЫЕ МОЛНИИ

На работу я приезжал очень рано, и мы успевали до девяти наговориться вдвоём. Чаще всего мы отправлялись на Соборную горку, с которой открывался вид на улицу его имени. Но об этом мы никогда не разговаривали. Погода стояла ядрёная, кругом было зелено, несмотря на середину сентября. Годовой цикл вершился с запозданием. Весело сиял новой позолотой кривой крест на кремлёвской колокольне.

— Нынче уберут. Всё-о! — радостно шептал он.

— Тебя «всё терзают грани»?..

— «Меж городом и селом», — на низкой ноте, задумчиво поддержал он.

И я рассказал ему о своей воскресной поездке в родные места. Я брёл лесом, чтобы под вечер выйти в Жоброво, деревню, никак не менее десяти лет назад покинутую последним жителем. Раньше в лесу было много вырубков для колхозных полей, теперь они заросли, идти было трудно, и я взял направление на мелькнувший просвет. Здесь производились рубки ухода, осветление леса, и я с надеждой полез вперёд, наступая на прутья, прогибаясь под ними, перелезая через стволы, отводя ветки. И буквально через три минуты взмок. Сапоги вязли в чернозёме, один сучок держал за штаны, другой упирался в спину, один прут сорвал шапку, другой обручем подцепил под горло. Я захохотал. А кто нормально захочет в такой обстановке? Достал нож и начал рубить направо и налево. Ивовые, черемуховые, ольховые прутья живой сцепившейся массой шевелились вокруг меня при каждом движении. Позднее я узнал, что это называется осветлять лес способом разбрасывания. Не очень сложный, а всё-таки термин. Он означает: бросай там, где срубил-отрубил.

Но что ждало меня впереди? Завал! Почти непреодолимый завал из поверженных елей, сосен, берёз, мелколесья, нагромождённых вкривь-вкось вместе со многими тонно-кубометрами земли. Пришлось ползти, лезть, извиваться, подтягиваться, чтобы с трёхметровой высоты вдруг увидеть: на месте старой узкой дороги зиял широкий, метров сорока, коридор с начатками могучего, высокого и широкого дорожного полотна. Глубокие автоколеи тянулись между насыпью и завалом. На выходе в поле отдыхал «фиат», сокрушивший лес и землю.

Я вышел из леса. На всхолмке стояли отдельные купы деревьев, в основном, черёмухи и тополя, окружённые непролазным репейником и крапивой. Это и были остатки Жоброва, бывшей большой по местным понятиям деревни. Вокруг неё сконцентрировалось сто пятьдесят-сто шестьдесят гектаров хорошего овса. Невдалеке бормотали несколько уцелевших тетеревов. По овсу в разных направлениях тянулись лошадиные и медвежьи тропы, следы пеших, конных и «механизированных» охотников.

Река Чёрный Шингарь была перегорожена широкими запрудами. Перегорожена без труб, намертво, в двух местах. По этим насыпям будут перегонять комбайны.

— Сначала убили деревню, потом ископабили лес и землю, потом задушили реку?

— Да.

— Так и живут... «способом разбрасывания»?.. А ты что сделал?

— Тебе вот рассказал.

— Ты негодяй. Подумай, как сам жить станешь,— и он ушёл, как и не был со мной.

Но чаще мы разговаривали о литературе. Только один раз он спросил:

— Дорогу-то хоть доделали?

— Больно скор. На пятилетку хватит. Да и вспомнят о ней, наверно, через год, когда снова надо будет комбайны перегонять.

На этот раз он тяжело посмотрел на меня и ничего не сказал.

А в спорах он быстро раздражался.

— Ну что ты всё зудишь? «Проезжим-приезжим». Какая разница? Кто заметит?

— Шестиклассники. Один-два из класса правильно поймут, а у остальных ошибка так и войдёт в сознание. Язык обеднелся.

— Но в этом-то издании правильно напечатано: «За гостем проезжим по следу», то есть мелькнувшим, запомнившимся чем-то, поманившим за собой.

— В этом правильно.

— Ну вот.

И— в наступление:

— Сам-то кропаешь ещё?

Обидно, чёрт, спрашивает, и я вру:

— Кропаю.

— Ну-ка.

Приходится читать давнее:

*Неужель во мне ума не хватит
Разглядеть, что вовсе не поэт,
Что не рифмы у меня — ухваты,
Что мозгов под полубоксом нет?
Что напрасно, дерзкий, колупаю
Самопиской белые листы.
Что не вириши мне б пускать по маю —
Драть бы лыко, лапти бы плести?
С головой, бессонницей томимой,
Мне ль мечтать о славе, о богах?
Слава — есть, но пролетает мимо.
Боги — есть, но нынче все в бегах...*

— Завязал, значит? Это, несомненно, стихи, но не поэзия... Ну что там у тебя ещё? Нападай! — Он отомстил мне, доволен и благодушен.

— Вот у тебя написано, как вы ходили ловить налимов над речными корягами. Как бабочек, да?

Он опять вспыхивает, а я знаю, что это просто опечатка. Меня в это время ласкает воспоминание из детства. Мы запрудили речку, вода ушла, и мы стали шарить налимов. Я запустил руку в завал по самое плечо и гладил что-то холодное и скользкое. И никак не мог ухватить это скользкое. Пришлось сказать ребятам. Толя Сироткин (он был гораздо старше) успешно вытащил из норы большого пятнистого чёрта.

От волнения и радости я прыгал и орал: «Это мой! Это мой!» Я хотел лишь сказать, что первый нашёл налима, но ребята смеялись. Было обидно.

— Я отвечаю только за то, что написал. А за то, что напечатано, пусть отвечает редактор. Действительно, иногда книжку страшно открыть. И ты учти: будешь что-то печатать, бейся до последнего, иначе остригут до... Им же там платят за уменьшение объёма.

— Да я пошутил. Понятно же.

— Ну а всерьёз?

— «Смирно на лугу траву жуют стреноженные кони...»

— Конечно же: мирно. Смирно — дисциплинированно, мирно — объёмнее: покойно, умиротворённо. Э!..

— А ещё?
— А что ещё?
— А что у тебя делают кони? Жуют! Докатились! Кони — жуют. Какие же это кони? Это сельповские лошади будут жевать, если им хлеба накрошить.

— Ты злой!
— Я добрый. Злые скажут: пусть у него кони жуют. Меньше веры.
— А что ты предлагаешь?
— А ты вспомни звук и движение голов, когда лошади стригут траву. Стригут!

— Да? — он прислушался: — «Мирно на лугу траву стригут стреноженные кони»... Звучит!.. Что теперь делать-то?

— Думать надо.

И я перевёл разговор на то, что, видимо, благодаря Василию Оботурову восстановлено слово «высоких» применительно к журавлям. Вместо каких-то там «любимцев».

...Вот летят, вот летят...

Отворите скорее ворота,

Выходите скорей,

Чтоб взглянуть на высоких своих!

— Да, именно высокие! Это слово заключает нравственное и эстетическое отношение нашего народа к любимым птицам, — так заключил Николай Михайлович и разошёлся: — Давай ещё!

— Даю. «Солнечный блеск твой чудесный с нашей играет рекой»...

— Что-то не то. Что?

— Блеск. Это слово не проясняет, а затуманивает смысл. Блеск — это отражение света от чего-то. А солнце — не галоша! Она хотя и блестит, а не является, извини уж, источником света.

— Ты злой!

— Я добрый. Даже для галоши блеск — не главное. Тем более для солнца, для поэзии, для себя.

— Да-а... Надо восстановить по старым изданиям, по рукописи. Как же проглядели-то?

Он затосковал:

— Сколько де-ла...

Но энергичная его натура искала выхода, хотя бы временного, направленного вовне. И он опять заговорил напористо и с подковыркой:

— Ну уж, если ты такой грамотей, объясни, почему пишешь «Плач о чёрном лебедю», а не «по чёрному лебедю»? Было же у Хемингуэя «По ком звонит колокол»!

— Было. И неправильно. Грамматически правильно было бы: о ком звонит колокол. Но это было бы неверно по смыслу. А если предлог «по», то надо: «По кому звонит колокол». А в нашем случае «Плач по чёрному лебедю». А я тебя хоронить не собираюсь. И захотел бы, да не смогу. Ты даже сам, наверно, не знаешь, в скольких миллионах одушевлён и материализован.

— Ишь ты: «одушевлён и материализован»... Чёрный-то?

— А это ты сам себя подкрашивал. Никого не обманешь. Народ разберётся, обелит.

— Думаешь? — Такая тоска струилась из его глаз при этих словах! — «Отдам всю душу октябрю и маю», — к чему кричать после Есенина? Ты заметил: нет у меня стихов вообще к праздникам.

— Ну, для этого есть десятки поэтов, которых только к праздникам и печатают. Так сказать, на злобу дня.

— На злобу дня?.. А я — на чего? На злобу жизни? На злобу жизни... Да, чёрт возьми, на злобу жизни!

Он помолодел, повеселел, выпрямился, глаза засверкали.

Но у меня каким-то образом давно зрели в голове мысли выспросить его о Пушкине. И я начал, как мне казалось, издавдалека.

— Вот ты мечтал «Тютчева и Фета продолжить книгою Рубцова»...

— Грандиозно! Ты-то как додумался?

— До чего?

— Да до того, что через такое столетие продолжить что-то можно только в основе, в принципе, в качестве. В качестве поэзии.

— Превзойти?! — он недоумённо съежился, лицом и фигурой выражая крайнее сомнение.

— А знаешь, как старые поэты легко продолжали друг друга? Даже Пушкина?

— Как?

— Помнишь Майкова «Старый дож»?

*Ночь светла, в небесном поле
Ходит Веспер золотой;
Старый дож плывёт в гондоле
С догарессой молодой...—*

с вопросительной интонацией прочитал я.

— Эти четыре строчки найдены в бумагах Пушкина как начало чего-то. Да простит мне тень великого поэта попытку угадать: что же было дальше? — подхватил он словами Майкова. — Четыре строчки, а всё есть: и обстановка, и основа для конфликта. Дождь — старый, догаресса — молодая.

*Занимает догарессу
Умной речью дож седой...
Слово каждое по весу —
Что червонец золотой...—*

Убей — не отличи от Пушкина. Он ей про мощну и влияние Венеции, а она слушает пение любимого. Наконец дошло и до него:

*Дождь рванул усы седые...
Мысль за мыслью, целый ад.
Словно молний стрелы злые,
Душу мрачную браздят...
А она так ровно дышит.
На плече его лежит...
Что же?.. Слышит иль не слышит?
Спит она — или не спит?!*

Изящно, драматично... Блестяще! Вот что такое примерно равный уровень воспитания и культуры.

- Значит, Майков и Пушкин чуть ли не однозначны?
- Именно: чуть ли. Майков — поэт, да! Но Пушкин, — он произнёс это с протяжным восторгом, — символ нации! Её духовный вождь!
- Прости за лесть, но мне кажется, ты лучше всех сказал о Пушкине:

*Словно зеркало русской стихии,
Отстояв назначенье своё,
Отразил ты всю душу России
И погиб, отражая её.*

— По Пушкину можно всю жизнь сверить. Хоть общества, хоть человека. От и до... Понял?

Я добросовестно пытался понять. Наверно, это отражалось на лице.

— Теперь поэты помельчали. Я ведь знаю, что ты говорил у меня на могиле.

- Что? — спросил я, хотя всегда помнил, что именно говорил.
- Что Рубцов выдал десятка три стихотворений мирового класса. Моя бы воля, я бы половину теперь не печатал. Но что такое «мировой класс»? Ты не замечал, тебя не заносит, — он повибрировал пальцами, — иногда, а? — ехидно спросил он.

Мне было стыдно.

— У всякого времени свои диспропорции. Век всеобщего образования. Но... опять один поручик в ногу: образованность есть, а воспитанности, культуры чувства, отношений не хватает. Как в худом войске: любое ружьё соберу, а пальну мимо. Так что Россию отразит всяк из нас по-своему. И даже в гибели своей не каждому дано подняться до Пушкина!

СНОВИДЬ

*Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь напролёт до зари
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт!*

Когда в пятьдесят втором году девятиклассником я впервые открыл Есенина именно на этих строчках, они надолго отвратили меня от его поэзии.

С Рубцовым получилось иначе. Первое же прочитанное стихотворение «Элегия» («Стукнул по карману — не звенит?») своей лёгкостью, игривостью, задорной иронией, драматичностью, зримой образностью навсегда соединило с автором. Поэтому до сих пор тянет меня послушать его стихи, песни на его слова, кто бы ни был исполнителем.

Так случилось и в тот сухой и холодный апрельский вечер... В афише сообщалось, что с литературной композицией по Рубцову выступит дипломант какого-то огогойски высокого конкурса.

Вечер состоялся в большом уютном зале областной филармонии. Народу собралось много. Дипломант вёл себя прилично. Одет он был скромно, со вкусом. Представили его тоже со вкусом.

Я совершенно убеждён, что потрясти человеческую душу, вызвать глубокие чувства, тем более нарисовать картину можно, сказав лишь несколько слов: «Стою один среди равнины голой, а журавлей относит ветер вдаль» (Есенин). Или «Седьмые сутки дождь не умолкает» (Рубцов). Или «Высокий дуб. Глубокая вода. Спокойные кругом ложатся тени» (Рубцов). Всё настолько зримо, хоть Левитана вызывай!

Дипломант пошёл по другому пути. Он решил стихами поэта изобразить его жизненный путь. И каждое слово так густо окрашивал эмоциями, как будто обливал ими. А поскольку голос у него оказался невелик, диапазон его простирался от шёпота до визга и хрипа. Когда он на весь зал заорал: «И все кричали: Гитлеру капут!», зал отшатнулся. Заскрипели стулья, слышались комментарии.

Однако дипломант не смутился. Очень расхристанно прочитал «Фиалки», со вкусом про «чью-то равнобедренную дочку», слишком мистически окрасил «Вечернее происшествие» («Мне лошадь встретила в кустах...») и даже «Русский огонёк» чуть не задушил истерикой.

Я с тревогой осматривался кругом. И заметил, что многие тоже пытались незаметно оглядеться и потихоньку уйти.

Но опасался я напрасно: Рубцова в зале не было. С тех пор я стал с насторожённой ревностью встречать всё, что связано с его именем. Нарочито удлинённые музыкальные фразы композиторов, сверхпечальные голоса певцов и певцов стали модой.

Мне уже начинало казаться, что это я не понимаю Рубцова... И вдруг! Хорошо, что существует «и вдруг!» Творческий отчёт вологодских писателей в зале областной библиотеки кончался, и вдруг ведущий объявил, что хочет выступить артист из Горького Вячеслав Широков.

Деваться было некуда. Пока он настраивал свою громоздкую электроаппаратуру, пробовал голос, мы развлекались, иронизируя по поводу огогойского дипломанта, боясь обмануться и на сей раз.

— «Взбегу на холм и упаду в траву», — ясно и значительно сказал горьковчанин. Что-то заставило нас подобраться и выпрямиться.

— «И древностью повеет вдруг из дола». —

Мурашки побежали по коже. Мы оказались в его власти.

— «Россия, Русь! Храни себя, храни!» — открыто призвал чтец и, указав на опасность, несколькими словами вернул в действительность, рисуя картину пасущихся коней.

*Заржут они — и где-то у осин
Подхватит эхо медленное ржанье,
И надо мной — бессмертных звёзд Руси,
Спокойных звёзд безбрежное мерцанье, —*

державно произнёс он и вселил в нас покой и гордость.

Вот были аплодисменты!

А горьковчанин уже ударил по струнам и со вздохом произнёс: «Я вырос в хорошей деревне...» Он вспомнил про скрип телег, намекнул о деревенской царевне, которой нравился «как человек», свободно и широко запел про деревенские ночи, про то, что «в этой деревне огни не погашены», про чистые мысли в светлой горнице, про старого коня, акцентируя поступь — ритм под звук медного колокола.

Певец стоял без напряжения, высокий, красивый, с вьющимися волосами, он излучал тепло и доброту.

Об этом выступлении заговорили. Позднее, когда он стал работать в филармонии, я не упускал возможности послушать его. Последний раз он выступал в Вологде перед отъездом в Москву. Он простудился, грипповал, на ногах боролся с болезнью, похудел, глаза блестели, он часто промокал пот платком.

Его выступление было вдохновенным: «Никола», «Звезда полей», «Ночь на родине», «Привет, Россия», «Поезд», «Журавли», «Уже деревня вся в тени», «Сентябрь» — во всём чувствовалось присутствие Рубцова, его живое дыхание.

*Я уплыву на пароходе.
Потом поеду на подводке,
Потом ещё на чём-то вроде,
Потом верхом, потом пешком
Пройду по волоку с мешком —
И буду жить в своём народе,—*

простодушно сказал Широков, и это было воспринято с благодарностью.

Он запел: «Чудный месяц горит над рекою»,— и будто сам стал светом, а непостижимая тайна бытия хоть на миг стала близкой, доступной. И когда он почти речитативом обещающе произнёс: «С моста идёт дорога в гору», зал приготовился к чему-то большому — и не зря: «а на горе — какая грусть! — лежат развалины собора, как будто спит бывлая Русь». Он пел, и, кажется, всем нам было так хорошо, «тепло и ясно, как в те былые времена».

Певец устал. Его не отпускали. Я чуть оглянулся: слышит ли Рубцов? Мне его не было видно.

А Широков рассказывал уже о том, как он читал рубцовские стихи и пел свои песни в одной из деревень Горьковской области. В клуб собрались все жители — от семи до семидесяти. Деревня называлась Сновидь.

Я почувствовал, как кто-то аккуратно устраивается рядом со мной.

— Когда я кончил выступление,— сказал Широков,— один старик на весь зал вздохнул о Рубцове: «Такой молодой и такой мудрый». Широков умолк. Молчал и зал. Никто не знал, что делать. У меня защипало в носу, я нахмурился, опустил голову, вынул платок.

А сосед подтолкнул под локоть и зашептал голосом Николая Михайловича:

— Сновидь! Поэтичнейшее из названий! Молодцы, новгородцы! Приплыли, осмотрелись: река, луга, леса — как дома: лепота, рай, сновидь! Я бы так домовину свою назвал. Ай да ушкуйники! Сновидь! Гениально!

А я не мог остановить слёз.



М. А. Свистунов



Мария Александровна Свистунова,
в девичестве Серова,
сельская учительница,
мать Мануила Алексеевича



Алексей Михайлович Свистунов,
сельский учитель,
политрук Красной Армии



Бабушка Апполинария Николаевна Серова



Мария Александровна (в белом платье) с сыном Мануилом, окончившим первый класс, и родственницами (1945 г.)



Школьная весна



Студенты ВГПИ, будущие супруги



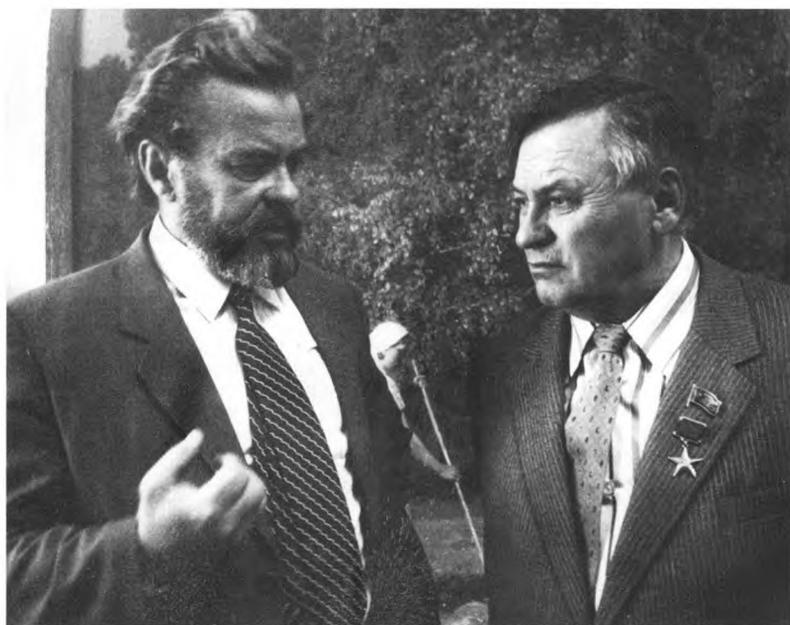
Коллектив Октябрьской восьмилетней школы



Мануил Алексеевич с женой, детьми Алёшей, Андреем, Леночкой
и мамой Марией Александровной



В гостях у семьи Свистуновых любимый учитель, наставник, друг – Борис Васильевич Шапин – учитель русского языка и литературы Шуйской средней школы



Мануил Алексеевич беседует с известным советским писателем М. Алексеевым



На 60-лети Мануила Алексеевича в Вологодской областной писательской организации. Слева направо: писатель А. А. Грязев, М. А. и О. Д. Свистуновы, редактор районной газеты «Междуречье» А. Н. Каберов, заведующий отделом культуры администрации Междуреченского района В. В. Фокин



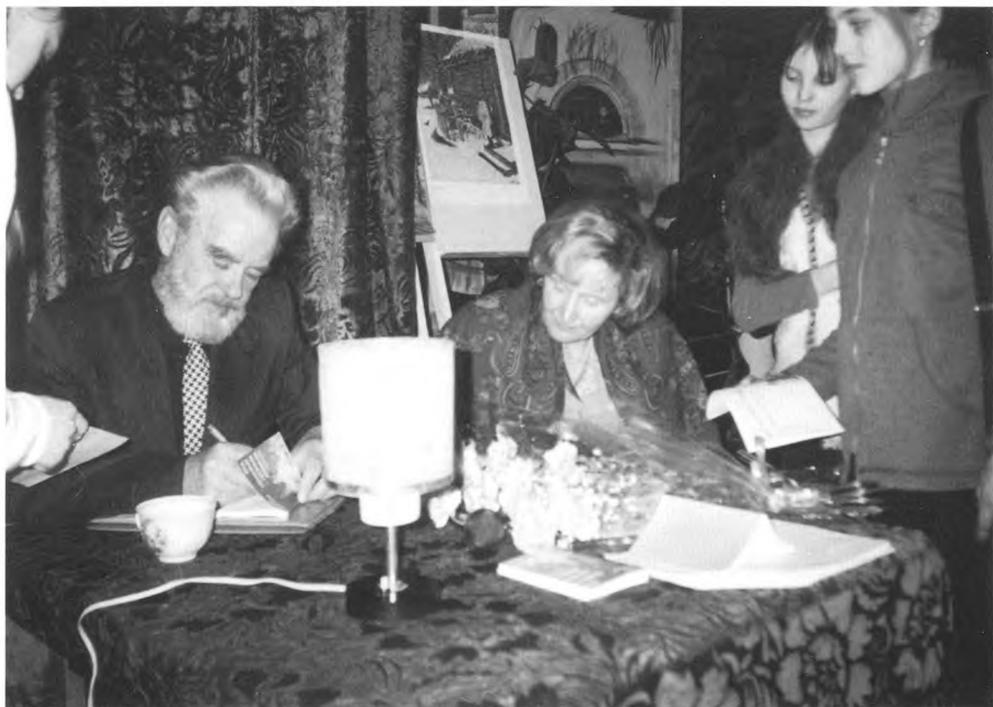
На выставке в Центре традиционной народной культуры. Шуйское



Литературная встреча в с. Игумницево. Ведущий — М. А. Свистунов.
С гармонью — Н. Рачков, с гитарой — В. Громов. 1980-е годы



Литературный вечер в с. Шуйское. Слева направо: А. К. Ехалов,
М. А. Свистунов, Е. А. Кулакова, В. В. Кудрявцев, А. В. Торопов.
Январь 1988 г.



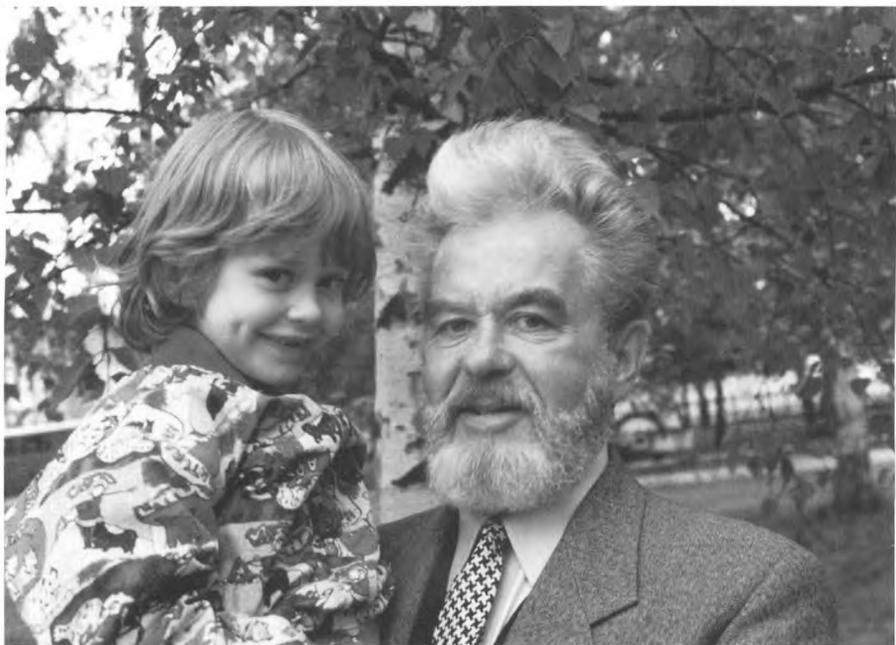
С Т. Г. Коротковой после выступления в средней школе села Непотягово
Вологодского района



После презентации книги «Любовь и нежность»
в Вологодской областной филармонии им. Гаврилина



Там же с друзьями, единомышленниками, земляками



С внучкой Лизой



На берегу Сухоны в окрестностях Великого Устюга. Опоки



У памятника Н. Рубцову в Тотъме, Осень 2004 г.



Манул Алексеевич с мамой. Последнее фото



На «Святой горе»

Посвящено учителю и другу

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

Жил-был человек. По имени в наше время редкому — Мануил, по отчеству Алексеевич, по фамилии — Свистунов.

Для него, жившего рядом с нами, всё было значимо и важно — и фамилия, и отчество, и имя. Он, как никто из нас, обладал чувством рода и, не красуясь, гордился своей сопричастностью к роду Свистуновых.

Он за него отвечал — перед памятью отца и матери и перед всеми, кто жил и трудился на земле междуреченской до него. Перед теми, кому он обязан именем, отчеством и фамилией.

Я не знаю подробностей его биографии.

Знаю только, что по образованию Мануил Алексеевич — учитель. Учительствовал он на своей родине — земле междуреченской. Он ей, земле своей, даже переехав в Вологду, никогда не изменял.

Он до конца жизни служил ей по правде и совести.

Я сам не раз по его приглашению ездил по шуйским деревням и сёлам и представлял вместе с друзьями-единомышленниками книги, написанные им о родном крае.

Он так хотел, чтобы земляки знали историю своей благословенной земли, гордились ею, были её достойны и никогда о ней не забывали. Даже вдали от родовых и разорённых временем и людьми гнёзд.

Я держал в руках книги, написанные им по велению души и сделанные с надеждой, что они когда-то будут земляками изданы и прочитаны.

Он был красивым человеком.

Он и по судьбе был русским, и по духу. Таких людей, к сожалению, становится всё меньше и меньше даже на великих российских просторах.

А жаль. Их так нам сегодня не хватает. Не хватает патриотов, живущих в ладу с миром и природой и по жизни идущих с добрым сердцем и высоко поднятой головой.

Даже борода у Мануила Алексеевича была какая-то особенная, будто посебрённая небесной мукой божественного помола.

Как сейчас вижу его глаза — добрые и светлые, но с хитринкой. С такой, знаете ли, природной хитринкой, которая, как рентген, просвечивает насквозь, даже не просвечивает, а пронизывает — до мороза по коже! — и в предстоящем разговоре настраивает на исповедальный лад.

Перед ним не схитришь. Его на мякине не проведёшь.

Он фальшь чувствовал на расстоянии.

Я любил с ним беседовать. После разговора с ним, как после очистительной грозы, жизненное пространство расширилось, жить и дышать в нём становилось легче и свободнее.

Он будто заряжал меня своей спасительной энергией и вдохновлял на новые творческие мучения.

Он умел читать и слушать. Он имел и мужество сказать правду — и о жизни, и о стихах.

Я очень благодарен Мануилу Алексеевичу за поддержку, которую он оказывал мне в самые трудные минуты жизни. И только он, щедрый и всё понимающий человек, так тонко и деликатно чувствовал, когда тебе плохо и когда ты ждёшь помощи. И только он, как в сказке, откуда ни возьмись, именно в эти минуты появлялся рядом с тобой и словом своим доверительным по-житейски просто и мудро спасал от хандры и воскрешал к жизни.

Удивительный человек!

Он любил свой род, но не подчёркивал нарочито свою принадлежность к нему. Он всегда достойно и не без гордости являл её людям, с которыми его сводила судьба и жизнь, являл как самое дорогое и самое святое, что ему оставили в наследство предки и родители. Являл через слово, доброе и непорочное, являл и через дело, без которого не мог жить и за которое всегда и с вдохновеньем держался.

Он и нас, своих коллег, заставлял бескорыстно работать на дело, задуманное им, и убеждал поддерживать его даже в заведомо бесперспективных проектах, но выстрадавших щедрой душой и весёлым сердцем окрашенных.

Была в нём какая-то необъяснимая и заразительная сила, увлекающая за собой и нас, его современников.

Мы с ним не переписывались. Мы встречались. Не часто, но встречались. Бывал я и в его гостеприимном доме.

Но одно письмо я ему всё же написал. Всего одно. Так получилось. Написал письмо ещё здравствующему учителю и старшему другу, чтобы опубликовать его на страницах журнала «Пятницкий бульвар» под рубрикой «Письма современникам». Он его прочитать не успел...

Думаю, что уместно будет вернуться к нему и сегодня, но уже как к документу, ставшему таковым после смерти Мануила Алексеевича.

Вот оно — моё письмо, адресованное ему год назад накануне дня Защитников Отечества. И тоже, как думаю теперь, не случайно.

«Уважаемый Мануил Алексеевич!

Пишу как защитнику Отечества, зная тебя, как одного из самых истинных его патриотов. Ты ему, нашему Отечеству, служил вчера как учитель сельской школы в глубинке Вологодской области. Ты ему служишь и сегодня как признанный писатель-публицист.

И служишь не только словом, но и делом. Я в этом убеждался не раз.

Кажется, сколько живу, столько тебя и знаю...

Ты никогда не беспокоишь по пустякам. Спасибо!

В отличие от своих собратьев по перу никогда и не замыкаешься в самом себе. И потому каждая наша встреча всегда связана с каким-то новым проектом, задуманным тобой. Иной раз, прости, проектом авантюрным или неосуществимым, но, самое главное, проектом памятливым — красивым и выстраданным!..

Я не знаю другого такого члена нашего Союза писателей, который бы, не думая о здоровье, шёл к людям и ради людей работал.

Ты работаешь.

Работаешь, замечу, бескорыстно и искренне. Работаешь самозабвенно днём и ночью, чтобы до конца своей жизни успеть в этом жёстком и неблагоприятном мире «за всё добро расплатиться добром и за всю любовь расплатиться любовью...»

Спасибо тебе, уважаемый Мануил Алексеевич!..»

Мануил Алексеевич в общении был немногословен. Может, потому, что, как никто другой, чувствовал энергию слова и знал ему цену. Но уж если он говорил, то каждое слово, как гвоздь, с одного удара забивал по самую шляпку. Уж если что из написанного и оценивал, то всегда бескомпромиссно и точно. Говорил он вкусно и смачно, смакуя каждым словом и смыслом, изначально в нём заложенным.

Он так и писал. Особенно в очерках о людях. А как он писал!

Держу в руках одну из его книг под названием «Как перейти поле» (издана ещё в 1986 году в Северо-Западном книжном издательстве).

Читаю рассказ Александры Евгеньевны Люсковой, знаменитой свинарки, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР, рассказ, записанный с её слов и литературно бережно отредактированный Мануилом Алексеевичем Свистуновым.

Вот маленький из него фрагмент:

«...Отец мой, Евгений Фёдорович, мужик был разный. Лапти смолоду плёл отменные, сапогов до смерти не шивал, в небо выше берёзы не лазивал, глубже могилы ям не капывал. Топором — не плотник, плугом — не пахотник, иглой — не портняжка, не шорник, ружьём — не забавник, — а вот поди ты: дома, да всё чужие, ставил, землю — чужую — пахал, упряжь — чужую — ладил, зверьё — наше — бил. Покряхтывал да похохатывал: «Кому бы на час, а мы, гляди, днём свернём».

Каково!

Как будто о самом себе говорит. С любовью и житейским юмором. И он ведь такой же был «мужик разный».

А сам Мануил Алексеевич смолоду словами, как иглой, вышивал. И рассказы на снегу вымораживал. И стихи на речке чисто выполаскивал и на ветру просушивал. И характер свой у костра выпаривал и в кузне на наковальне с мастерами выковывал.

И сам он, за какое бы дело ни брался, всё за ним «побряхтывал да похохатывал», но дело, за которое брался, всегда доводил до конца и так, чтобы за него перед потомками стыдно и позорно ему не было.

Да и книги он — всё чужие — редактировал и издавал. Он и характеры — чужие — по жизни закаливал. Он и судьбы поэтические — чужие — на крыло ставил, слёзы — не свои — у входящих в жизнь земляков по-отечески смахивал.

Только его слёз никто и никогда не видел, а ведь было и у него немало поводов и погоревать, и поплакать.

Но он умел радоваться жизни и каждому дню, ему в ней отпущенному. Он радовался удачам знакомых и незнакомых ему людей. В людях нынешних это такое редкое качество. Многим он помог поймать в жизни свою волну и обрести на ней удачу и через это дал им возможность почувствовать и понять самих себя.

И неудачи чужих, вроде бы, для него людей, но людей, прирученных им, он тоже переживал искренне, как свои собственные поражения. А их у него по жизни тоже было не так и мало.

Но он умел делать всё по-настоящему — и любить, и ненавидеть.

У него, учителя, к счастью, и ученики выросли благодарные. Они помнят о нём и делают всё для того, чтобы имя их учителя осталось в веках. Они пишут о нём свои воспоминания.

Каждому бы из нас таких благодарных и красивых учеников!

У него они есть! Даст Бог, будут они и у нас...

Ведь были же и у нас такие мудрые и такие светлые учителя.

В. КУДРЯВЦЕВ,
член Союза писателей России, г. Вологда

ПЕСНЯ

Мануилу Свистунову

С каждым годом всё дальше мы от родного и близкого,
Где впервые услышали, как поёт соловей.
Но светлей и настойчивей вспоминается Авнега,
Вспоминается Авнега — край лесов и церквей.

Перелески исхожены там утрами погожими
Деревенским мальчишкой — за верстою верста.
И чужие дороги мне вдруг казались похожими,
Мне казались похожими на родные места.

О беду неизбежную сердце больно уколется,
Лишь припомнится брошенный дом, где зори встречал.
Мать одна-одинёшенька в том доме у околицы,
В том доме у околицы мой последний причал.

Пусть душа неприютная пострадает по-давнему.
Пусть судьба избирательно под себя подомнёт.
Но, как в детстве, уеду я снова в светлую Авнегу.
Только светлая Авнега и простит, и поймёт.

В. СЕРКОВ,
член Союза писателей России, г. Сочи

ПОЭТ

*Свистунову
Мануилу Алексеевичу*

Как снега зимой хранят
Краски будущего лета,
Так поэт на склоне дня
Видит музыку рассвета.
Под луной в ночной тиши
Разговор созвездий слышит,
Родники своей души
Раскрывает, словно дышит.

**В. ГЛУШАНКОВА,
г. Череповец**

* * *

М. А. Свистунову

Вот и его звезда зажглась во мгле,
Чтобы светить друзьям из поднебесья.
Свою любовь к отеческой земле
Он выразил в трудах, стихах и песнях.

О, скольких поддержал он в трудный час,
Как преданно служил родному краю!
Ученики надёжные сейчас
Труды его, я верю, продолжают.

Не так уж много мы за жизнь свою
Встречаем тех, кто Господом отмечен,
И я судьбу свою благодарю
За эту удивительную встречу.

Село Никола в тот январский день
Гостей встречало. Поднялся на сцену
Писатель, краевед, интеллигент,
Поэзии Рубцова знавший цену.

Весь облик, жесты, мимика, слова
Невольно вызывали уважение,
И, как подарок, я восприняла
Нежданной этой встречи продолжение.

Всего лишь год до крайней той черты,
И в письмах не «прощай», а «до свидания».
Тот щедрый дар ума и доброты
Стал и уроком мне, и завещанием.

А самому так трудно было жить
С душой Учителя, Поэта, Гражданина,
Нести свой крест, всю жизнь добро творить,
Всем сердцем Русь любя, а не чужбину.

Я не забуду этот зимний вечер:
В нём было столько света и тепла!
Как жаль: была всего одна лишь встреча.
Я благодарна, что она была.

07.01.2009 г.

В. ЖУКОВА,
Нюксенский район, д. Лесютино

* * *

*Свистунову
Мануилу Алексеевичу*

Как Божий дар — учитель строгий,
Идущий с ветром пилигрим.
Жаль — не свелось в земном чертоге
Скрестить судьбе пути-дороги,
Но, видит Бог, — мы там скрестим.

Весна 2008 года

Л. КОЧНЕВ,
г. Вологда

* * *

*Свистунову
Мануилу Алексеевичу*

Эх, Мануил Алексеевич,
Светлый ты был человек.
Светлые думы рассеючи,
Тени упали на снег.

Тени глаза опечалили,
Замер задумчивый стих.
Знали, но громко не славили
Мы человека, который затих.

Светлые люди не вечные,
Светлые дни коротки.
Сгнули люди сердечные,
Кончились наши деньки.

Сергей ЛАПИН,
г. Вологда

ПАМЯТИ М. А. СВИСТУНОВА

Душа весь день без звука ныла,
Так, что и водкой не унять.
Узнал: не стало Мануила...
Не повстречать уж, не обнять.
Жил он негромко, но красиво,
Умом и сердцем величав.
Терпел обиды молчаливо.
Ушёл, как жил, не закричав.

17 января 2006 г.

Николай СМИРНОВ,
г. Вологда

СТУЖА

*«Я умру в крещенские морозы,
Я умру, когда трещат берёзы...»*

Н. Рубцов

Временами крещенская стужа
К нам приходит средь русской зимы
По размякшему снегу, по лужам,
Словно хочет, чтоб вздрогнули мы.
Чтоб не просто трещали берёзы,
А споткнулся народ на бегу,
Чтоб застыли гвоздики и розы
На колючем январском снегу...
Ей не важно, в стихах или прозе
Мы изложим, бумагой шурша,
Что опять... Что опять на морозе
Леденело не тело — душа.
...А дыхание стужи крепчало,
И нечаянно мысль обожгла:
Пока сердце поэта стучало,
Было больше в природе тепла.
Приоткрылась мне истина эта,
За других говорить — не берусь.
Обнажённое сердце поэта
Согревало Россию и Русь!
Временами крещенская стужа
К нам приходит средь русской зимы
По размякшему снегу, по лужам,
Словно хочет, чтоб вздрогнули мы.

2006, январь.

Алексей ШАМГИН,
с. Сямжа

МОЛИТВА

Мануилу Свистунову

Господи! Дай мне такую власть,
Чтоб в стаю волков не попасть,
Чтоб у ближнего не украсть,
Чтоб в пути своём не пропасть.
И не упасть в пропасть.

Господи! Дай мне душевных сил,
Чтоб обиды людей сносил,
Чтоб даже врагам не мстил,
Чтоб даже князьям не льстил,
А жил на земле, как жил!

Василий МИШЕНЁВ,
член Союза писателей России,
г. Никольск.

«НА ЛАДОНИ ИЗНАЧАЛЬНОЙ...»

Мануил Алексеевич, только что дочитала Вашу будущую книгу — у нас в Междуречье свой! Василий Шукшин, свой! Василий Белов, свои Василии Тёркины есть. Об этом догадывалась, но садонуло вот только сейчас.

Когда рассказала Ольге Донатовне о собирании материала по истории моего посёлка и по «Бабушкиному словарю», она по-матерински радостно и печально ответила: «Вот бы Мануил Алексеевич за тебя порадовался!..»

Да-а, редкостно Вы умели радеть за учеников своих и друзей. Ежели того стоило.

А всё ли я-то сейчас делаю, чтобы Вас и моих родителей не огорчать? — Ох, накопилось грехов неисповеданных...

Вы с Рубцовым только что откровенничали, теперь я — с Вами.

Рано Вы ушли — тем твёрже надо спешить к делам, за которые бы Вы мне улыбнулись и пошутили: «Мо-одец!»

Добрые люди, Добрая книга спешит к вам! Здравствуйте вместе с нею — во спасение души, во славу родной земли.

Татьяна КОРОТКОВА,
член Союза российских писателей, Двиница — Вологда.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Отдельные издания:

1. «Как перейти поле». Рассказы, очерки.— Архангельск: Северо-Западное книжное издательство, 1986 г.
2. «И в погибели нетленны. Сказание об Авнежском Троицком монастыре (легенды и факты)».— Вологда: МИП «Историк», 1991 г.
3. «Спаси и помилуй! или Похвала Трезвости (психологические этюды)».— Вологда, 1992 г.
4. «Междуречье. Очерки и документы местной истории (1137—1990 гг.)», в соавторстве с Л. Л. Трошкиным.— Вологда, 1993 г.
5. «Под северным грозным сияньем». Стихотворения.— Вологда, 1999 г.
6. «Любовь и нежность. Вологодские песни».— Вологда, 2001 г.
7. «Утром в День Победы». Рассказы.— Вологда, 2002 г.

Публикации в сборниках и журналах:

1. «Серый камень», «Труба», рассказы, сб. «Долги наши», СЗКИ, Вологда, 1981 г.
2. «Серый камень», рассказ, ж. «Север» (Архангельск), № 9, 1981 г.
3. «Шуйское», очерк, сб. «Край наш вологодский», СЗКИ, Вологда, 1982 г.
4. «Как поле перейти», очерк, сб. «От земли», СЗКИ, Вологда, 1984, сб. «Вологодские зори», Москва, 1987 г.
5. «Назови её Росиной», рассказ, ж. «Север», № 9, 1985 г.
6. «Плач о чёрном лебеде (К 20-летию со дня смерти Н. М. Рубцова)», ж. «Север», № 2, 1991 г; ж. «Пятницкий бульвар» (Вологда), № 1, 2007 г.
7. «Легенда о Чёрном Шингоре», очерк, ж. «Лад» (Вологда), № 11—12, 1993 г.
8. «Блики на крестах», стихи, ж. «Наш современник» (Москва), № 3, 1999 г.
9. «Что в имени тебе моём?», очерк, ж. «Пятницкий бульвар», № 6, Вологда, 2004 г.
10. «Один день из военного детства», рассказ, ж. «Пятницкий бульвар», № 8, 2004 г.
11. «Если ты родился русским», очерк, ж. «Пятницкий бульвар», № 11, 2005 г.

12. «Вызываем огонь на себя», очерк, ж. «Пятницкий бульвар», № 1, 2006 г.

Со студенческих лет Мануил Алексеевич печатался в областных газетах «Вологодский комсомолец» и «Красный Север», позднее — в районной газете «Междуречье» («Знамя труда»), в газетах других районов Вологодской области.

На стихи М. А. Свистунова написано более тридцати песен. Среди авторов музыки — известные вологодские певцы, музыканты, композиторы: Т. Короткова, Б. Лелюк, К. Линк, А. Хазов, А. Романов, Г. Параничев, Е. Кузнецова, Л. Ковалёва, Н. Сазонов, К. Пирожков.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ МАНУИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА СВИСТУНОВА

23 марта 1937 г. — родился в селце Поповка при церкви Дмитрия Прилуцкого на реке Чёрный Шингарь (Гузарёвский сельсовет, ныне Ботановское сельское поселение, Междуреченского района Вологодской области), в семье учителей Черношингарской начальной школы Алексея Михайловича и Марии Александровны Свистуновых (оба 1915 года рождения).

1943—1951 гг. — учёба в Лаврентьевской и Гузарёвской начальных, Октябрьской семилетней школах.

1954 г. — окончание Шуйской средней школы. Поступление в Вологодский государственный педагогический институт им. В. М. Молотова.

1958 г., 30 декабря — студенческая свадьба Мануила Алексеевича и Ольги Донатовны (Чернавской).

1959 г. — окончание историко-филологического факультета Вологодского педагогического института. Назначение учителем русского языка, литературы, истории, физкультуры Октябрьской семилетней школы. 27 сентября — рождение сына Алексея.

1961 г. — назначение директором Октябрьской семилетней школы.

1964 г., 20 ноября — рождение сына Андрея.

1965 г. — перевод на работу заведующим отделом пропаганды и агитации Междуреченского райкома КПСС.

1969 г., 17 мая — рождение дочери Елены.

1969—1972 гг. — директор Шуйской средней школы.

1973 г. — назначен директором Кубенского СПТУ Вологодской области.

1974 г. — принят на работу старшим торговым инспектором Вологодского облкниготорга.

1976—1987 гг. — работа в Вологодском отделении Северо-Западного книжного издательства (кладовщик, старший редактор, заведующий отделением).

1986 г. — принят в Союз журналистов СССР.

1987—1988 гг. — корреспондент газеты «Вологодский комсомолец».

1988 г. — выход на пенсию по инвалидности в результате обширного инфаркта.

После выхода на пенсию — активная краеведческая, писательская и редакторская работа, общественно-просветительская деятельность.

1995 г. — принят в Союз писателей России.

14 января 2006 г. — кончина.

16 января — похороны на Козицинском кладбище в Вологде.

Песня о Шуйском.

Шуйский город не у моря,
А у Сухова - реки.

Основан с судогом стужит
Кажется митика:

Май, юнны - на приводе,

А в ке неж - у воды,

Шилер неж - в кеконово.

Тверде лесной град.

Ах, какие наши годы,

Бези с нами навегда

В хороводе Сомже видит

Да Понедельная звезда!

Товарово кемало

И татаро - дай бо!

Изначало выучало

К милой Радке любви!

Душ ташаке дитяке

Редко дитяке гоним.

Бези мудо - дитяке воде.

Не свадке дитяке.

Ах, какие наши годы,

Бези с нами навегда

В хороводе Сомже видит

Да Понедельная звезда!

Боронит чужакино

Наши стужакино стужакино,

с рожой гонимости любвино

И до старости митика.

Сохранили родное право

От навязчивого адеи.

Перед Богом судяе право

Боганправиме дитяке!

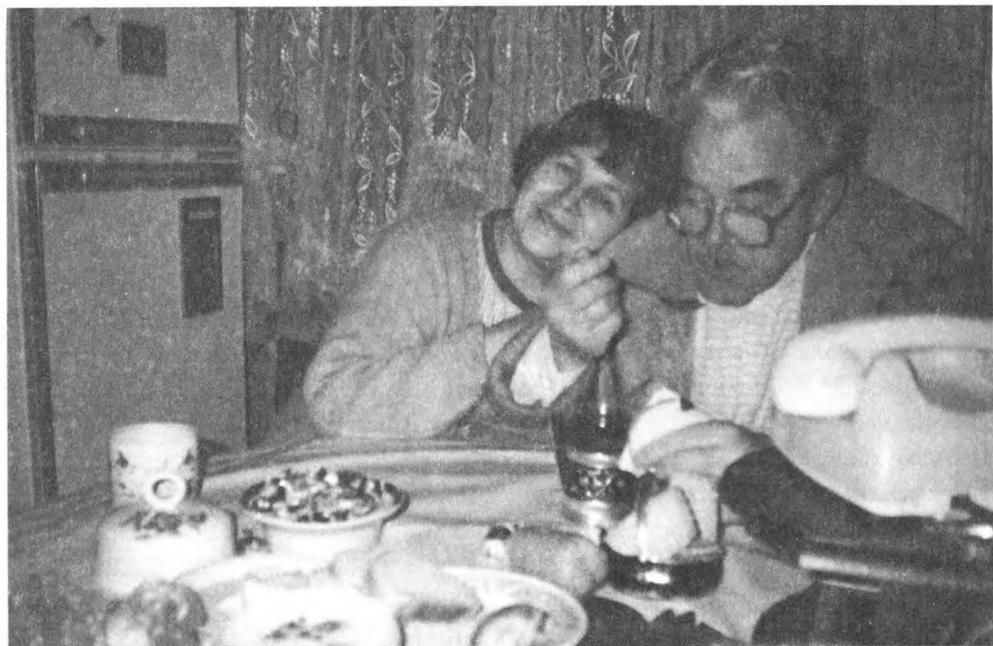
Ах, какие наши годы,

Бези с нами навегда

В хороводе Сомже видит

Да Понедельная звезда!

17-18-18. год



СОДЕРЖАНИЕ

По праву духовного родства. Предисловие. (Исаковская Е. А.)..... 5

ГИМНЫ. ПЕСНИ. СТИХИ

«Когда в толпу с высот верховных...» 13

НА ЛАДОНИ ИЗНАЧАЛЬНОЙ... 14

Гимн России 14

Гимн Вологде 15

Гимн Череповцу 15

Белоозеро 16

Песня о Кадуе 17

Песня об Устьеге Великом 18

Хороводная Деда Мороза 19

Волна набегает на отмель (песня о Тотьме) 20

Песня о Соколе 21

Волна раскачала... (песня об Устье Кубенском) 22

Средь российского величья (песня о Грязовце) 23

Вологжане 24

Бабаево 25

Верховажская меленка 27

Воже 28

Вытегория 29

Кириллов 30

Преподобный Герасим 31

Вологде 32

Святая гора 32

В СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА 36

Сквозняк 36

Процесс? 37

Сроки 39

«Черты лица её размыты...» 40

Капля 40

Колосок 41

Надрыв 42

Обычай 43

Красавица 45

Хозяева.....	45
Выстоим!.....	46
НЕСОМЫЙ СВЕТОМ НЕВЕСОМЫМ...	47
Время.....	47
Млечный путь.....	48
Полярная звезда.....	49
Северное сияние.....	50
Земля.....	51
Комета Галлея.....	52
25 ноября 1998 года.....	53
Вера.....	54
Потому.....	55
Мама.....	56
...Я ЖИВУ СРЕДИ ЗВЁЗД...	57
Вопрос.....	57
Мы.....	58
Очарование.....	58
Июль.....	59
Лиса.....	60
Весна.....	60
Колыбель.....	61
Любовь.....	61
Звездопад.....	63
Секрет.....	64
Свет.....	64
БЕЗ ВСЕБЛАГОГО ОЗАРЕНИЯ...	65
Старик.....	65
Черта.....	66
Изба.....	66
Призрак.....	67
Дно.....	68
Некто.....	70
Мечты сбываются.....	75
Стучу.....	75
Не убий.....	76
ЖЕЛАЮ ВАМ ЖЕЛАЕМОГО ВАМИ...	77
Епископу Максимилиану.....	77
«Судьба сурова к ним была...» (Памяти Железняков).....	78

Фаятон (М. В. Копьёву).....	80
Час призвания (Памяти Сергея Преминина).....	81
На конкурс им. Н. Рубцова.....	82
На открытие памятника Рубцову.....	83
«Общенароден...».....	84
«Ах, Рубцов!...».....	84
«Озяб ты. Да, осень — не лето...».....	85
Дом печника Шишигина (В. Н. Страхову).....	85
Пора! (А. С. Шилову).....	86
Без сожаленья... (В. А. Оботурову).....	87
«Во тьме всегда яснее видны...» (Памяти Светланы Савичевой).....	89
«Твое жильё бедно и чисто...» (Бабушке Апполинарии Николаевне).....	90
«Бреду житейскими межами...» (О. Д.).....	91
Лети! (Маше).....	91
Крылатка (Лизе).....	92
«Ты — мэтр, ты — воин, ты — один...» (Г. И. Соболеву — 60!).....	92
Дом Дворянского собрания (Г. И. Соболеву).....	93
«Язычок на Двинице отточен...» (Т. Г. Коротковой).....	94
«Ну-ка, горькую налей...» (Юбилею 300-летия Российского Флота).....	94
Суть (Новорусам).....	95
Оптимист.....	95
Пожелание.....	96

РАССКАЗЫ

Назови её Росиной.....	97
Серый камень.....	106
Сочинение.....	118
Волосёнок.....	128
История разбитой чернильницы (Памяти Б. В. Шапина).....	131
Командировка по письму.....	136
Обида.....	152
Два Нефёда (Шуточка).....	158
Опять повезло.....	159
Дочка-радуга.....	163
Военное детство.....	164

ОЧЕРКИ

Как перейти поле.....	183
Побратимы (Рассказы разведчиков).....	200

Девятилов, вперёд!	212
Вызываем огонь... на себя...	216
Солдатский рассказ	218
Отступить некуда	220
Легенда о Чёрном Шингоре (<i>Димитрий Прилуцкий на Междуречье</i>)	222
Незабудки на могилу	224
Плач о чёрном лебеде (<i>Сновидь</i>). К 20-летию со дня смерти Н. М. Рубцова	228

ПОСВЯЩЕНО УЧИТЕЛЮ И ДРУГУ

В. Кудрявцев. Слово об учителе	241
В. Серков. Песня	245
В. Глушанкова. Поэт	246
В. Жукова. «Вот и его звезда зажглась во мгле...»	246
Л. Кочнев. «Как Божий дар учитель строгий...»	247
С. Лапин. «Эх, Мануил Алексеевич...»	248
Н. Смирнов. Памяти М. А. Свистунова	248
А. Шамгин. Стужа	249
В. Мишенёв. Молитва	250
Т. Короткова. «На ладони изначальной...»	250
Библиографическая справка	251
Основные даты жизни Мануила Алексеевича Свистунова	252

В оформлении книги использованы фотографии
из семейного альбома М. А. и О. Д. Свистуновых,
из фондов Междуреченского художественно-краеведческого музея.

Издание осуществлено при поддержке администрации Междуреченского
муниципального района и МБУК «Междуреченский районный
художественно-краеведческий музей».

Благодарим за финансовую помощь всех,
бескорыстно откликнувшихся друзей, учеников, земляков М. А. Свистунова.
Первыми из них были Ю. А. Коробов, А. Н. Волков и Н. И. Николаева (Москва
и Московская область), А. А. Шамгин (Сямжа), М. Н. Макридина (Ярославль),
Б. А. Свистунов (Шиченьга – Вологда), Т. Н. Коваленко (Вологда),
Э. А. Дмитриевская, Э. Н. Бубнова, А. Н. Телегина (Шуйское).

Мануил Алексеевич СВИСТУНОВ
НА ЛАДОНИ ИЗНАЧАЛЬНОЙ...
ИЗБРАННОЕ

Подписано в печать 9.04.2012. Формат 70×90/16.
Печать офсетная. Уел. п. л. 18,85. Тираж 500. Заказ 167.

Отпечатано в ООО ПФ «Полиграф-Книга»,
160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

ерковь Воскресения Христова на Святой Горе. Храмовая Ка-
ская икона Божьей Матери была чудотворная, почитаемая по
му Северо-Западу Руси.

*(Картина Свистунова Алексея, сына М. А. Свистунова,
нарисована с чёрно-белой фотографии, 1916 г.)*

.Святая Гора вместе с церковью на ней была роскошным па-
ником творению природы, разума и человеческого духа наших
ляков. До 70-х гг. двадцатого века верующие брали целебную
у, рвали цветы и травы, считавшиеся тоже целебными...
ра и храм взорваны в 1968 году. Вину за это злодейство вправе
нять на себя каждый, в ком сохранилась совесть...»

*(Из книги М. Свистунова и Л. Трошкина
«Междуречье. Очерки и документы местной истории»).*

